

**РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ**

СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

ВЫПУСК 2

СПОРЫ О ПРОШЛОМ КАК ПРОЕКТИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО

**СБОРНИК
НАУЧНЫХ ТРУДОВ**

**Москва
2014**

УДК 32
ББК 66.0
С 37

Серия
«*Политология*»

ИНИОН РАН
Центр социальных научно-информационных исследований

Отдел политической науки

Редакционная коллегия:

О.Ю. Малинова – д-р филос. наук, главный редактор,
Д.В. Ефременко – д-р. полит. наук, *Ефремова В.Н.* –
ответственный секретарь, *М.В. Ильин* – д-р полит. наук,
Е.Ю. Мелешкина – д-р полит. наук, *Ю.С. Пивоваров* – акад. РАН,
С.П. Поцелуев – д-р полит. наук, *И.С. Семенов* – д-р полит.
наук, *Л.А. Фадеева* – д-р ист. наук

Символическая политика: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН.
С 37 Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. полит. науки;
Ред. кол.: Малинова О.Ю., гл. ред., и др., – М., 2014. –
Вып. 2: Споры о прошлом как проектирование будущего. – 382 с. – (Сер.: Политология).
ISBN 978-5-248-00639-7

Рассматриваются теоретические проблемы изучения символической политики как сферы конкуренции различных способов восприятия социальной реальности. Представленные в сборнике статьи и рефераты знакомят с исследованиями отечественных и зарубежных специалистов, посвященными идейно-символической составляющей современных политических процессов. Особое внимание уделяется анализу темпоральной составляющей символической политики – проектированию будущего через интерпретацию прошлого и переписыванию прошлого с позиций настоящего. Публикуются обзоры дискуссий в СМИ по актуальным общественно-политическим проблемам.

Для научных сотрудников, преподавателей высших учебных заведений, аспирантов и студентов.

The issue considers theoretical problems arising in the study of symbolic politics – a sphere of competition of different interpretations of the social reality. It contains articles and reviews devoted to the ideational and symbolic components of modern political processes. Special attention is devoted to analysis of temporal aspects of symbolic politics and projecting of the future by interpretation of the past and re-writing the past from today's perspective. The materials of public discussions of significant social issues are reviewed and analyzed.

For political and social scientists, students and other readers who are interested in political science.

ISBN 978-5-248-00639-7

УДК 32
ББК 66.0
© ИНИОН РАН, 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Темпоральность и другие свойства символического в политике 5

СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА КАК ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

А.В. Бабайцев. Подходы к определению понятия «политический символ»	18
Н.И. Шестов. «Символическая политика»: Парадокс одного из определений научного предмета	25
И.В. Фомин. Категория образа как средство изучения политической действительности (на примере образа Южной Осетии в российском внешнеполитическом дискурсе)	40
В.Н. Ефремова. Государственные праздники как инструменты символической политики: Возможности теоретического описания	66

ТЕМА ВЫПУСКА: ТЕМПОРАЛЬНЫЕ ПРОЕКЦИИ СИМВОЛИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

К.Ф. Завершинский. Символическая политика как социальное конструирование темпоральных структур социальной памяти	80
Т.П. Вязовик. Версия прошлого как государственный миф (к вопросу написания единого учебника отечественной истории)	93
В.М. Капицын. Прошлое, настоящее, будущее в символической политике моногорода	110
Д.Е. Москвин. «Долгая лениниана»: Эволюция образа Ленина в отечественной визуальной культуре	128
О.Ч. Реут, Т.П. Тетеревлева. Репрезентации перестройки в протестном дискурсе российского сегмента Интернета	146

ПЕРЕЧИТЫВАЯ КЛАССИКУ

Р. Козеллек. Прошедшее будущее: К семантике исторического времени	164
М. Эдельман. Символическое использование политики	189

ТЕХНОЛОГИИ СИМВОЛИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Дж. Александер. Новое символическое наполнение: Барак Обама и последняя избирательная кампания.....	202
А.И. Щербинин. Игры с Родиной: К вопросу о технологиях конструирования политической реальности	219

ПОЛИТИКА КАК ПРОИЗВОДСТВО СМЫСЛОВ

Н.М. Мухарямов. «Планетарная вульгата» как политико-лингвистический феномен	232
М.В. Гаврилова. Семантическое развитие понятия «демократия» в русском политическом дискурсе	250
О.В. Попова. Система ценностей сотрудников региональной исполнительной власти в современной России	265
Л.С. Ланда, И.А. Яблоков. Транзит символов в конспирологическом дискурсе постсоветской России: Миф о Хазарском каганате и межэтнические отношения на Северном Кавказе	277
Т.Л. Барандова. История и гендер в символических репрезентациях акторов протеста	288

ОБЩЕСТВЕННАЯ МЫСЛЬ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ «СРЕДНЕГО КЛАССА» В РОССИИ

Я.М. Шукин. Полстеры и средний класс	306
О.Ю. Малинова, В.Н. Ефремова. Политические эксперты и «средний класс»: Анализ публичных дискуссий	326

С КНИЖНОЙ ПОЛКИ

О.Ю. Малинова. В ожидании объединяющего нарратива: Символическое измерение постсоветской трансформации России	344
М.Ю. Мартынов. Интеллигенция и политическая идентичность: Новый взгляд на старую проблему	354
Л.А. Фадеева. Борьба за смыслы в контексте символической политики	361
Ключевые слова и аннотации / Key words and abstracts	365
Сведения об авторах	379

ТЕМПОРАЛЬНОСТЬ И ДРУГИЕ СВОЙСТВА СИМВОЛИЧЕСКОГО В ПОЛИТИКЕ

Прилагательное «символический» широко применяется для описания политических явлений: исследователи рассуждают о «символическом использовании политики» и «политике как символическом действии» [Edelman 1964; 1971; Alexander, Mast, 2006], «символической власти» и «символическом капитале» [Бурдье, 2007], «символической политике» [Brysk, 1995; Поцелуев, 1999; 2012; Малинова, 2013 и др.], «символической деятельности как основе авторитета» [Smith, 2002, p. 6], «символических спорах» [Gamson, Stuart, 1992], «символических конфликтах» [Harrison, 1995], а также о «символизме политики» [Gill, 2013] и «символах в политике» [Мисюров, 2004; Gill, 2011]. Просматриваются ли за этими терминами контуры общего исследовательского поля? Если да, то как определить его предмет? Этими вопросами задаются многие специалисты, в том числе и некоторые авторы этого сборника. Очевидно, что приведенные выше словосочетания призваны отразить некие качества политических явлений и процессов, связав их с понятием «символ» и его производными. Наличие столь широкого набора комбинаций едва ли должно вызывать удивление, если принять во внимание существование разных традиций интерпретации как политического, так и символического. За многообразием подходов к предмету, на которое нередко сетуют исследователи, лежат разные способы понимания не только первого, но и второго.

Многозначность понятий «символ» и «символическое» отчасти является следствием того, как они разрабатывались разными направлениями философии, психологии, антропологии, социологии, семиотики, математики и других областей знания. Как констатирует автор одного из историко-философских обзоров, «суще-

ствующие версии символического невозможно свести к единому понятию в силу многообразия теоретических позиций» [Науменко, 2005] – можно лишь обрисовать сложившиеся интеллектуальные развилки. Думается, что именно по этому пути стоит двигаться, определяя предметное поле символической политики: вряд ли следует рассчитывать на выработку «единого» определения, удовлетворяющего всем исследовательским задачам, но важно понимать, из каких интеллектуальных традиций вырастает тот или иной способ сопряжения символического и политического и как это влияет на соотношение объема и содержания образуемых таким образом понятий. Не претендуя на исчерпывающий анализ всех возможных вариаций, зададимся вопросами: что может означать «символическое» применительно к политике? И какие свойства социальной действительности оно высвечивает?

Как точно подметил Ю.М. Лотман, «выражение “символическое значение”» широко употребляется как простой синоним знаковости. В этих случаях, когда наличествуют некое соотношение выражения и содержания и, что особенно подчеркивается в данном контексте, конвенциональность этого отношения, исследователи часто говорят о символической функции и символах» [Лотман, 2010, с. 293]. Преимущественно в таком значении понятие «символического» было привнесено в политические исследования благодаря концептуальным наработкам философской антропологии, социальной психологии и лингвистики. Это обеспечивает широкий объем понятия в духе концепции Эрнста Кассирера, рассматривавшего символические формы как нечто «всеобщее» – как «проявление некоего “духовного” через чувственные “знаки” и “образы”» [Кассирер, 2000, с. 393]. Подходя к проблеме онтологически, он видел в символическом результат «чуда», разрешающего противоречие между текучим процессом чувственного восприятия бытия, на котором покоится сознание, и способностью последнего «из чистого становления» вырывать «некое всеобщее содержание, некий духовный “смысл”». «Чудо» это связано с работой сознания, оформляющей «чистое содержание ощущения и восприятия в символическое содержание», в котором представление становится «тем, что создается изнутри, чем-то таким, в чем *господствует основной принцип свободного образования* (выделено мной. – О. М.)» [Кассирер, 2000, с. 396]. Символические формы – язык, миф, религию, искусство, науку – Кассирер рассматривал как результат этой работы.

Примерно в том же ключе, но с акцентом на социально-коммуникативную составляющую «символическое» рассматривалось в теории символического интеракционизма Джорджа Герберта Мида, послужившей одним из источников вдохновения для книги *Мюррея Эдельмана* о символическом использовании политики, реферат которой публикуется в этом сборнике. У Мида символическое выступает в качестве функции социальных практик, обеспечивающей согласование человеческого поведения: то, что на низших ступенях человеческой эволюции достигается посредством жестов, на более высоких происходит благодаря «значимым символам (жестам, обладающим смыслом и потому выступающим как нечто большее, нежели просто стимулы)» [Mead, 1956, p. 177]. Стремясь подчеркнуть социальный характер представлений, опосредующих взаимодействие, Мид утверждал, что «интерпретация жестов, в основе своей, не является процессом, происходящим в сознании или непременно включающим сознание; это внешний физический или психологический процесс, протекающий в актуальном поле социального опыта. Смысл может описываться, осознаваться или утверждаться в терминах символов или языка на более высокой и сложной стадии развития... но язык лишь вытягивает (lifts out) из социального процесса ситуацию, которая логически или имплицитно в нем уже присутствовала» [ibid., p. 180–181]. По мысли Мида, именно закрепление складывающихся в социальном поведении смыслов в наборах символов обеспечивает проективный уровень опыта, возможность целеполагания, ориентированную на будущее [ibid., p. 199]¹. Подобно Кассиреру, он понимал слово «символ» предельно широко – как синоним не просто конвенционального знака, но фактически отражения бытия в сознании², с чем едва ли

¹Эдельман несомненно опирался на эти идеи, когда писал, аргументируя необходимость анализа политики как символического действия: «Из всех живых существ только человек реконструирует собственное прошлое, воспринимает условия настоящего и предвидит будущее, основываясь на символах, которые помогают абстрагироваться, отражают, сводят воедино, искажают, нарушают связи и даже творят то, что представляют его вниманию органы чувств». Поэтому адекватное объяснение политического поведения не может не учитывать в качестве вмешивающейся переменной «формирование общих смыслов и их изменение в процессе символического постижения группами людей интересов, бремена обстоятельств, угроз и возможностей» [Edelman, 1971, p. 2].

²«На самом деле наше мышление всегда происходит с помощью символов того или иного рода», – писал Мид [Mead, 1956, p. 223].

согласятся специалисты по культурной антропологии и семиотике, настаивающие на более нюансированном понимании этих феноменов [ср.: Лосев, 1995, с. 26; Лотман, 1995, с. 307–308]. (Наиболее существенные аргументы в пользу разграничения символа и конвенционального знака, образа и иконического знака приведены в статьях *А.В. Бабайцева* и *И.В. Фомина* в этом сборнике.)

Именно в такой расширительной трактовке понятие «символическое» используется в большинстве словосочетаний, приведенных выше: оно связывается с социально разделяемыми смыслами, опосредующими восприятие и поведение участников политических (в разных значениях этого понятия) отношений. Лишь немногие авторы предпочитают говорить о «символах», имея в виду более строгую трактовку данного понятия; при этом нередко «символ» понимается совсем узко, и фактически дело сводится к изучению государственной символики. Несмотря на данное обстоятельство, анализ свойств, связываемых с этим понятием, может быть полезен для определения точек пересечения символического и политического и тем самым – уточнения конфигурации предметного поля символической политики. Особенно если учесть, что некоторые из этих свойств присущи и символу, и знаку, т.е. релевантны как для широких, так и для узких интерпретаций «символического». По определению А.Ф. Лосева, «символ есть развернутый знак, но знак тоже является неразвернутым символом, его зародышем», ибо и тот и другой «есть модель определенной предметности», однако «моделирующая структура символа гораздо значительнее, заметнее, гораздо больше бросается в глаза...» [Лосев, 1995, с. 106–108].

Вслед за Ю.М. Лотманом, который в одной из своих статей описывает «символ» как универсальную функцию семиотических систем, обобщая представления, «интуитивно данные нам нашим культурным опытом» [Лотман, 2010, с. 294], попытаемся выделить наиболее существенные свойства данного понятия и, пользуясь формулировкой Бурдые, наметить те «архимедовы точки опоры, которые объективно оказываются в распоряжении для действий чисто политического характера» [Бурдые, 2007, с. 23].

По словам Лотмана, «наиболее привычное представление о символе связано с идеей некоторого содержания, которое... служит планом выражения для другого, как правило, культурно более ценного содержания» [Лотман, 2010, с. 294]. Этим обусловлена роль символов в политической коммуникации: они помогают усваивать сложную информацию за счет ее редукции, причем про-

цесс формирования «спрессованных» в них смыслов имеет не только социальный, но и политический характер. Как заметил еще М. Эдельман, люди реагируют на политические сигналы, которые получают «благодаря обмену совместно порождаемыми символами»; последние «возникают на фоне других возможных значений, которые остаются неупорядоченным и неопределенным “шумом”». Те или иные смыслы становятся общепринятыми не потому, что они подсказаны объективной ситуацией; они учреждаются в процессе выработки взаимного согласия относительно значимых символов». А поскольку этот процесс имеет селективный характер, для исследователей политики принципиальным оказывается вопрос: что определяет выбор зрителей и участников, результатом которого является организация информации в «структуры смыслов», т.е. символы [Edelman, 1971, p. 33–34]? Другими словами, предмет изучения могут быть отношения власти и доминирования либо взаимодействие групп, результатом которых является наличная система символов. Однако не менее важную информацию может дать изучение самих символов, которые «составляют форму языка, позволяющую через образы и аллегории просто и эффективно выразить очень сложные принципы, допущения, концепции и идеи» [Gill, 2013, p. 1]. В силу этого комплексный анализ символов помогает лучше понять структуру и функционирование политической системы. Таким образом, для объяснения политики могут быть полезны оба ракурса: от отношений и процессов – к системе символов и от символов – к анализу системы отношений.

В качестве свойства, «особенно существенного для способности “быть символом”», Лотман выделяет узнаваемость: «Символ... всегда представляет собой некоторый *текст*, т.е. обладает некоторым единым замкнутым в себе значением и отчетливо выраженной границей, позволяющей ясно выделить его из окружающего семиотического контекста» [Лотман, 2010, с. 294–295]. С одной стороны, это свойство предопределяет возможность целенаправленного использования символов, в том числе, и в политических целях: как писал Дж.Г. Мид, «мы всегда предполагаем, что употребляемый нами символ вызовет у другого человека известную реакцию – при условии, что он является частью механизма его поведения» [Mead, 1956, p. 224]. Политики прибегают к «магии» символов в расчете на определенную эмоциональную и поведенческую реакцию публики. С другой стороны, символ не может быть «сконструирован» из ничего – он должен быть укоренен в культурном контексте. В силу этого репертуар пригодных для

политического использования символических ресурсов всегда ограничен. Этим, в частности, определяются риски, возникающие при трансформации политического режима: поскольку этот процесс влечет за собой «изменение символической программы», трудно предсказать заранее, сможет ли новый режим сформировать систему символов, способную поддерживать эмоциональную приверженность граждан [Smith, 2002; Gill, 2013]¹.

Вместе с тем Лотман подчеркивает двойственную природу символов: «С одной стороны, пронизывая толщу культуры, символ реализуется в своей инвариантной сущности. В этом аспекте мы можем наблюдать его повторяемость... С другой стороны, символ активно коррелирует с культурным контекстом, трансформируется под его влиянием и сам его трансформирует. Его инвариантная сущность реализуется в вариантах» [Лотман, 2010, с. 296]. Это не только открывает перспективу «творческого использования» доступных символических ресурсов, но и делает символы инструментом трансформации самого социального контекста. Не случайно некоторые исследователи связывают свой интерес к символической политике с ее способностью служить инструментом изменения сложившегося порядка [Brysk, 1995].

Впрочем, это не единственное следствие способности символов вариативно воплощать свою «инвариантную сущность». По словам Лотмана, «смысловые потенции символа всегда шире их данной реализации: связи, в которые вступает символ с помощью своего выражения с тем или иным семиотическим окружением, не исчерпывают всех его смысловых валентностей. Это и образует тот смысловой резерв, с помощью которого символ может вступать в неожиданные связи, меняя свою сущность и деформируя непредвиденным образом текстовое окружение» [Лотман, 2010, с. 297]. Данное обстоятельство открывает широкую перспективу борьбы за смыслы, закрепленные в символах. Согласно формулировке П. Бурдьё, «познание социального мира, точнее, категории, которые делают его возможным, суть главная задача политической борьбы... за возможность сохранить или трансформировать социальный мир, сохраняя или трансформируя категории восприятия этого мира» [Бурдьё, 2007, с. 23]. Эта борьба имеет политический характер не только потому, что ее целью является гегемония, подкрепляющая власть авторитетом, но и в силу того,

¹ См. рецензию на книгу Г. Гилла в этом сборнике.

что поле символического производства отражает существующие отношения господства и доминирования, и «в борьбе за навязывание легитимного видения социального мира... агенты располагают властью, пропорциональной их символическому капиталу, т.е. получаемому ими от группы признанию» [Бурдьё, 2007, с. 27]. Таким образом, объектом внимания исследователей политики должны стать не только символы-категории, закрепляющие те или иные способы видения социального мира, но и деятельность групп, участвующих в их конструировании и продвижении.

Вместе с тем способность символов, сохраняя связь с отображаемым содержанием, представлять ее в многообразных вариациях, допускает элемент относительной произвольности в обращении с символическими ресурсами. Данное обстоятельство побуждает некоторых исследователей рассматривать символическое как не совпадающее с реальным. При таком подходе (его критикует в статье, публикуемой в этом сборнике, *Н.И. Шестов*) внимание оказывается сосредоточено на деятельности акторов, стремящихся сформировать *ложное* представление о социальной действительности, а также на результатах их усилий. Наш анализ свойств символов указывает на очевидные ограничения такого подхода: поскольку использование термина «символический» в дискурсе политической науки связано с онтологической традицией его интерпретации, которая предполагает реальность умопостигаемого¹, участвующие в политической коммуникации субъекты – не демиурги, но коллективные пользователи символических ресурсов. Свойства последних (в том числе – наличие вполне определенных связей между обозначающим и обозначаемым) полагают некоторые пределы произвольному обращению – впрочем, достаточно широкие, чтобы указанный подход мог быть применен для анализа конкретных типов коммуникации.

Наконец, Лотман отмечает, что в силу своей «смысловой и структурной самостоятельности» символы всегда диахронны. Он пишет: «...Символ никогда не принадлежит какому-либо одному синхронному срезу культуры – он всегда пронзает этот срез по вертикали, приходя из прошлого и уходя в будущее» [Лотман, 2010,

¹ Как писал А.Ф. Лосев, «если действительность есть, то возможны и символы; а если ее нет, то невозможны и никакие символы действительности» [Лосев, 1995, с. 23].

с. 296, 295]. Это свойство символов и символического является определяющим для восприятия временного измерения политики.

Главным ориентиром современной политики безусловно является будущее: не случайно его образ оказывается сквозной темой многих политических дискурсов. Значение ожиданий, связанных с будущим, особенно подчеркивали авторы, рассуждавшие в логике бихевиоралистского подхода. По определению Эдельмана, «круг представлений, объясняющих поведение, в конечном счете сводится к тому, чего людей можно убедить ожидать в будущем». И здесь огромную роль играют действия правительства, которые для массы политических зрителей являются важным источником сигналов, связанных с групповым статусом и безопасностью; они «могут создавать зримые (perceived) миры, которые в свою очередь формируют восприятие и интерпретацию текущих событий и таким образом поведение, которое является реакцией на них» [Edelman, 1971, p. 8–9; ср.: Mead, 1956, p. 196–199]. Такой подход побуждает фиксировать внимание на отношениях, связанных с борьбой за воображение будущего.

Однако не меньшее значение для современной политики имеют образы прошлого – не только в качестве источника «мнемонической» легитимации [Müller, 2004, p. 26], но и как ресурс для проектирования будущего. Дело не только в том, что политический дискурс до сих пор строится так, будто история и извлеченный из нее опыт могут служить руководством для действий в настоящем (хотя лежащее в основе такой установки представление о будущем как повторении прошлого было разрушено еще в раннем Модерне, что хорошо показано в книге *Р. Козеллека* «Прошедшее будущее», реферат которой публикуется в этом сборнике). Дело еще и в том, что будущее – это проект, который может строиться исключительно за счет уже существующих символических ресурсов. Однако и настоящее, в свою очередь, наделяется смыслом через соотнесение с прошлым и будущим. Одним из оснований неопределенности, порождающей символическую борьбу, по Бурдьё, является непреложность «когнитивных стратегий *восполнения*, которые продуцируют смысл объектов социального мира, выходя за рамки непосредственно видимых атрибутов и отсылая к *будущему или прошлому* (выделено мной. – *О. М.*)» [Бурдьё, 2007, с. 21–22]. Этим объясняются повсеместно наблюдаемые практики репрезентации времени в политических контекстах: «К прошлому (ретроспективно реконструируемому сообразно потребностям настоящего) и в особенности к будущему (творчески предвидимо-

му) беспрестанно вызывают, чтобы детерминировать, разграничить, определять всегда открытый смысл настоящего» [Бурдые, 2007, с. 22]. Символы благодаря своей способности «пронзать» срез культуры «по вертикали» оказываются основной несущей конструкцией темпоральных векторов политических репрезентаций: от настоящего – к прошлому и от прошлого – через настоящее – к будущему.

Выделенные Лотманом свойства символов – способность служить планом выражения для «чего-то иного», узнаваемость и «самостоятельность» по отношению к контексту, вариативность в проявлении «инвариантной сущности» и семантическая многовалентность, принадлежность к разновременным пластам культуры – помогают увидеть связи, значимые для понимания отношений власти и доминирования в современных обществах. И хотя намеченные таким образом точки пересечения не задают однозначных границ «символической политики», они помогают уточнить конфигурацию связанного с ней предметного поля, охватывающего широкий спектр отношений по поводу социально разделяемых способов интерпретации действительности.

Предлагаемый вашему вниманию второй выпуск продолжающегося издания «Символическая политика» освещает различные разделы этого предметного поля. В рубрике «*Теория и методология анализа символической политики*» публикуются три статьи, посвященные его ключевым категориям: *А.В. Бабайцев* рассматривает основные подходы к интерпретации понятия «политический символ» и уточняет его значение; *Н.И. Шестов* предлагает собственное определение «символической политики»; *И.В. Фомин* исследует содержание категории «образ» и представляет аналитическую модель, возможности которой апробирует на примере образа Южной Осетии в российском внешнеполитическом дискурсе. Дополняет теоретико-методологическую рубрику статья *В.Е. Ефремовой*, посвященная политико-символическим аспектам государственных праздников.

Развивая тему темпоральных векторов, начатую в первом выпуске «Символической политики» обсуждением проблем, связанных с «мнемонической легитимацией» власти, во втором выпуске мы публикуем целый ряд материалов, связанных с проектированием будущего через интерпретацию прошлого и переписыванием прошлого с позиций настоящего. Рубрику, посвященную основной теме выпуска – *спорам о прошлом как проектировании будущего*, – открывает статья *К.Ф. Завершинского*, оценивающая методологиче-

ский потенциал концепции «социальной памяти» для исследования семантических структур символической политики. Опираясь на идеи Тёна А. ван Дейка, он предлагает рассматривать социально-политическую память как процесс конструирования на основе «знаний, позиций, идеологий и норм, когнитивных моделей». Т.П. Вязовик анализирует реализацию недавней инициативы президента В.В. Путина по разработке «единого» учебника для средней школы. Рассматривая эту меру как очередной этап конструирования общегосударственной идентичности, автор статьи демонстрирует проблемы, с которыми сталкиваются создатели Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, пытаясь выработать «единый» подход к изложению прошлого, отвечающий запросам заказчика. В статье В.М. Капицына на примере Магнитогорска рассматриваются сложные взаимосвязи между прошлыми и нынешними образами будущего и оценивается их роль в формировании городской идентичности. Работа Д.Е. Москвина посвящена «долгой лениниане» – эволюции образа Ленина в визуальной культуре СССР и постсоветской России. На материале многочисленных изображений и текстов автор показывает, как образ вождя мировой революции внедрялся в повседневную жизнь советских людей и какие метаморфозы он претерпевал в фотографии, кинематографе и скульптуре. О.Ч. Реут и Т.П. Тетеревлева исследуют современный интернет-дискурс о перестройке, рассматривая его как основной источник представлений об этих событиях для поколения тех, кто родился в 1985–1990 гг.

Тему темпоральных векторов символической политики продолжают некоторые материалы других разделов сборника. В новой рубрике «*Перечитывая классику*» публикуется реферат известной книги Р. Козеллека «Прошедшее будущее: К семантике исторического времени», в которой на основе методологии *Begriffsgeschichte* (истории понятий) исследуется формирование представлений о времени как «происходящем» и топоса «прогресса» в Европе XVIII–XIX вв. Там же представлен реферат пионерской работы М. Эдельмана «Символическое использование политики», о которой шла речь выше.

В рубрику «*Технологии символической политики*» помещен доклад известного американского социолога Дж. Александера на XI Ежегодной конференции Сообщества профессиональных социологов в Москве, в котором проанализирован процесс изменения стиля исполнения политической роли президента США Барака Обамы после неудачных для демократов промежуточных выборов в

Конгресс в ноябре 2010 г. Тему технологий продолжает статья *А.И. Щербинина*, рассматривающая игру как средство конструирования политической реальности и демонстрирующая потенциал этого инструмента социализации на примерах патриотических игр в СССР.

Под шапкой «*Политика как производство смыслов*» собраны статьи, отражающие результаты исследований идейно-символической составляющей современных политических процессов в России и за рубежом. Работа *Н.М. Мухарьмова* посвящена анализу лексических изменений в современных языках, происходящих под влиянием глобализации. В центре его внимания – феномен «планетарной вульгаты» (термин П. Бурдые и Л. Вокана) – идеологические сдвиги, произошедшие на рубеже XX–XXI вв. под покровом «модернизации» и выразившиеся во все более широком использовании специфического политико-управленческого языка, избоблюющего англицизмами. *М.В. Гаврилова* анализирует семантическое развитие понятия «демократия» в русском политическом дискурсе; на примерах речей президентов и партийных программ она показывает, как изменялись ценностные и аксиологические компоненты данного понятия, а также концептуальные ряды, в которые оно включено. В статье *О.В. Поповой* отражены результаты социологического исследования «Рекрутирование политических лидеров муниципального и регионального уровней в современной России: Проблемы оптимизации и повышения общественно-политической эффективности», выполненного в 2012 г. Автор обосновывает причины отсутствия значительных идеологических расколов в сознании представителей элиты и неизбежность межпоколенных различий смысло-жизненных ценностей представителей субфедеральной политической элиты. В работе *Л.С. Ланды* и *И.А. Яблокова* исследуется антиеврейская концепция заговора хазар, пользующаяся популярностью в националистических дискурсах народов Северного Кавказа. *Т.В. Барандова* анализирует дискурсы активистов протестного движения 2011–2012 гг. с целью выявить в них отсылки к символам советской и постсоветской истории, а также проследить особенности представленных в них гендерных ролей.

В рубрике «Общественная мысль» публикуются статьи *Я.М. Щукина*, а также *О.Ю. Малиновой* и *В.Н. Ефремовой*, посвященные анализу представлений о «среднем классе», внедряемых в российский общественный дискурс усилиями социологов и политических экспертов. Анализируя материалы СМИ, авторы этих статей демонстрируют роль экспертно-аналитических сообществ

в конструировании новых социальных категорий, задающих язык для интерпретации действительности.

Выпуск завершает раздел «*Книжная полка*», в котором собраны рецензии на три книги, посвященные проблематике символической политики. *О.Ю. Малинова* рекомендует вниманию читателей книгу австралийского политолога Г. Гилла о символизме постсоветской российской политики. *М.Ю. Мартынов* знакомит с монографией Л.А. Фадеевой, в которой судьба отечественной интеллигенции и ее роль в конструировании политической идентичности рассматриваются в широком компаративном контексте. *Л.А. Фадеева* рассказывает о книге «Конструирование смыслов», обобщающей результаты десятилетних исследований символической политики в современной России *О.Ю. Малиновой*.

Каждый из этих материалов на свой лад включает читателя в диалог о символическом измерении современной политики и значении ее темпоральных проекций.

Литература

- Бурдые П. Социология социального пространства / Пер. с фр.; Отв. ред. перевода Н.А. Шматко. – М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2007. – 288 с.
- Кассирер Э. Понятие символической формы в структуре наук о духе // Кассирер Э. Избранное: Индивид и космос. – М.: Университетская книга, 2000. – С. 391–412.
- Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. – М.: Искусство, 1995. – 320 с.
- Лотман Ю.М. Символ в системе культуры // Лотман Ю.М. Чему учатся люди. Статьи и заметки. – М.: Центр книги ВГБИЛ им. М.И. Рудомино, 2010. – С. 293–308.
- Малинова О.Ю. Конструирование смыслов: Исследование символической политики в современной России: Монография / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отдел полит. науки. – М., 2013. – 421 с.
- Мисюров Д.А. Политика и символы в России. – М.: МАКС Пресс, 2004. – 144 с.
- Поцелуев С.П. Символическая политика: констелляция понятий для подхода к проблеме // Полис. – М., 1999. – № 5. – С. 62–76.
- Поцелуев С.П. «Символическая политика»: К истории концепта // Символическая политика: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. полит. науки; Отв. ред.: Малинова О.Ю. – М., 2012. – Вып. 1: Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс. – С. 17–53.
- Науменко Н.В. Символическое в философской традиции и его современная актуализация в институте литературы // Credo new. – СПб., 2005. – № 4. – Режим доступа: <http://credonew.ru/content/view/513/57/> (Дата посещения: 20.01.2014.)

- Alexander J.C., Mast J.L. Introduction: Symbolic action in theory and practice: The cultural pragmatics of symbolic action. – Cambridge etc.: Cambridge univ. press, 2006. – P. 1–28.
- Brysk A. «Hearts and minds»: Bringing symbolic politics back in // Polity. – Basingstoke, 1995. – Vol. 27, N 4. – P. 559–585.
- Edelman M. The symbolic uses of politics. – Urbana: Univ. of Illinois press, 1964. – 201 p.
- Edelman M. Politics as symbolic action: Mass arousal and quiescence. – Chicago: Markham publishing company, 1971. – 188 p.
- Gamson W.A., Stuart D. Media discourse as a symbolic contest: the bomb in political cartoons // Sociological forum. – N.Y., 1992. – Vol. 7, N 1. – P. 55–86.
- Gill G. Symbols and legitimacy in Soviet politics. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2011. – VI, 356 p.
- Gill G. Symbolism and regime change in Russia. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2013. – VIII, 246 p.
- Harrison S. Four types of symbolic conflict // The journal of Royal anthropological institute. – Chichester etc., 1995. – Vol. 1, N 2. – P. 255–272.
- Mead G.H. The social psychology of George Herbert Mead / Ed. and with an introd. by A. Strauss. – Chicago: Univ. of Chicago press, 1956. – XVI, 298 p.
- Müller J.-W. Introduction: The power of memory, the memory of power and the power over memory // Memory and power in post-war Europe: Studies in the presence of the past / Ed. by J.-W. Müller. – 2nd ed. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2004. – P. 1–35.
- Smith K.E. Mythmaking in the new Russia: Politics and memory during the Yeltsin era. – Ithaca etc.: Cornell univ. press, 2002. – XI, 223 p.
- Wertsch J.V. Voices of collective remembering. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2002. – 202 p.

О.Ю. Малинова

СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА КАК ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

А.В. Бабайцев

ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ «ПОЛИТИЧЕСКИЙ СИМВОЛ»

Элементами символической политики являются политические символы. В философской, социологической и политологической литературе практически отсутствуют определения политического символа. Это связано с тем, что из-за наличия в символе иррациональной, «идеальной» составляющей социологическая и политологическая традиции очень редко обращаются к исследованиям подобного рода [см. об этом: Даниленко, 2000, с. 793; Малинова, 2009], а философская литература практически никогда не подвергает анализу «политический символ», считая его исключительно социологическим и политологическим понятием. Рассмотрим те подходы и трактовки политической символики, которые все-таки встречаются в научной, учебной и энциклопедической литературе.

Ряд авторов определяют политические символы как особого рода знаки, которые связаны с политической или государственной властью. Так, Г. Морис-Георгица утверждает, что «...политическим символом следует называть любой знак, связанный с отношением власти, который признается таковым на основании социальной конвенции» [Морис-Георгица, 1991, с. 353]. Похожее определение дается и в учебнике для вузов «Политология» под редакцией М.А. Василика: «Политический символ – это знак, выполняющий коммуникативную функцию между личностью и властью» [Политология, 1999, с. 369].

В первом определении не учитывается то, что функционирование политических символов регламентируется не только социаль-

ными конвенциями, но и юридическими нормами. Во втором делается акцент на роли политических символов как средства коммуникации между личностью и властью. Однако они могут выполнять подобную функцию и применительно к политическим партиям, общественным организациям, движениям, этническим группам, а также государствам, являющимся акторами в международных отношениях, т.е. любым субъектам политического процесса.

Кроме того, и в первом случае, и во втором знак и символ отождествляются, хотя это – разные понятия: знак – родовое, а символ – видовое, при этом символ, безусловно, включает в себя знаковую составляющую, но к самому знаку не сводится. Об этом пишет А.Ф. Лосев: «Символ вещи есть ее знак, однако не мертвый и неподвижный, а рождающий собою многочисленные, а может быть, и бесчисленные закономерные и единичные структуры, обозначенные им в общем виде как отвлеченно данная идейная образность» [Лосев, 1991, с. 273]. Знак становится символом, когда у человека возникает потребность воспринимать знак не только как «собственно знак» (обнаруживая лишь поверхностное единичное значение), а эмоционально *пережить* глубинные пласты значений. Необходимо также, чтобы первое – конкретное, понятное каждому значение соприкоснулось, слилось с теми значениями, которые находятся в «глубине» знака (или образа), превратившись в конечном итоге в нечто новое – собственно символическое значение. Именно поэтому политические символы имеют, по меньшей мере, три отличия от знака. *Во-первых*, связь в политическом символе между его «телом» и смыслом мотивирована аналогией или сходством, в то время как знаки – это искусственные образования, их форма весьма произвольна. *Во-вторых*, символ неизменно активизирует эмоции. *И в-третьих*, символ всегда полисемантичен.

Другие авторы определяют политический символ как нечто «проявляющее», «идеализирующее» политическую жизнь. Так, Э.Я. Баталов считает, что политические символы – это «...знаковые средства, имеющие чувственно-наглядную или абстрактную форму и репрезентирующие элементы политического мира, а именно нацию, политическую систему в целом, конкретные политические режимы и институты, отношения, убеждения, позиции» [Баталов, 1990, с. 161]. А.И. Демидов и А.А. Федосеев понимают политический символ как «условный образ важнейших политических идеалов, важнейшее средство их пропаганды и утверждения, зримое выражение приверженности их носителя к определенной позиции в политике» [Демидова, Федосеев, 1995, с. 171]. Схожее определение

дается в учебнике «Политология» под редакцией А.А. Радугина, где под политическими символами понимается «...совокупность символов, в образно-процессуальной форме отражающих либо идеализирующих мир политики» [Политология, 1996, с. 251]. Эти трактовки политического символа основаны на теоретических разработках А.Ф. Лосева, который утверждает, что символ – это «идейная, образная или идейно-образная структура, содержащая в себе указание на те или иные, отличные от нее предметы» [Лосев, 1970, с. 10]. Он приводит следующий пример выражения трансцендентного, иррационального в конкретном материальном объекте: окружность круга можно вычислить по формуле $2\pi R$, где R – величина радиуса, а π – особого рода число, «не выразимое в конечных арифметических знаках» [Лосев, 1995, с. 10]. Площадь круга равняется πR^2 . Мы, конечно же, говорит он, видим своими «физическими глазами» эту окружность круга и эту площадь круга, но, по сути дела, «все это» есть что-то иррациональное и трансцендентное, «точно так же и символ вполне видим и вполне осязаем, хотя в него входят иррациональные и трансцендентные величины» [Лосев, 1995, с. 11].

Часто авторы обращают внимание на двойственность политической символики. Так, в первом российском политологическом словаре, вышедшем в 1993 г., политическая символика понимается как «совокупность выразительных средств, придающих политической жизни, политическому действию, различным формам материализации политики явный, особенно очевидный, подчеркнутый либо, напротив, скрытый смысл» [Политология, 1993, с. 272]. Д.А. Мисюров, определяя политическую символику как «символы, существующие и используемые в политической жизни» [Мисюров, 1999, с. 44], также обращает внимание на то, что «в сфере политики символ соединяет идеальные понятия власти и общественной деятельности с материальными вещами, создаваемыми человеком» [Мисюров, 1999, с. 45–46].

Действительно, политический символ устанавливает *живое* единство между реальным и идеальным планами политического бытия. При этом символ отличается крайней неустойчивостью: с одной стороны, он может «соскользнуть» в беспредметность, «развеществовать» конкретный политический мир, перевесив «идею» над «вещью», и растворить единичное в абсолютном (в таком случае появляются или «обыкновенная расплывчатость», или «дурная бесконечность»); с другой – в символе присутствует сугубо предметный план [Косиков, 1993, с. 34–35].

Ряд авторов обращают внимание на семантическую свернутость общественных отношений, которые концентрируются в политическом символе. Так, К.С. Гаджиев определяет политический символ как идейно-образную структуру, содержащую в себе в скрытой форме все возможные проявления и приобретающую значение как средства выдвигания и выражения связи с обществом или действиями людей в политической сфере [Гаджиев, 1994, с. 341–345]. В.А. Парамонова трактует политический символ как выражение определенного общественного строя, какого-либо политически значимого действия, события или отношения к нему индивида, данного в простой форме, иначе говоря, «символ, участвующий в “игре” под названием “политика”, называется “политический символ”» [Парамонова, 2002, с. 43]. Д.А. Роговцов считает, что политический символ является «образным знаком, в идеальности которого скрывается свернутый общественно значимый смысл, значение или картина мира. Он есть смысловое и образное построение социально-политической действительности» [Роговцов, 2003, с. 9].

Таким образом, трудность концептуализации политического символа обусловлена тем, что определение должно учитывать множество свойств и атрибутов:

- связь символа с политикой, которая понимается достаточно широко (как совокупность всего, что относится к государству и власти);

- смысловая развернутость политического символа, его способность воплощать определенные идеи посредством «идейной образности» или «образной идейности»;

- семантическая специфика политического символа, который одновременно устанавливает связь означаемого и означающего по условному соглашению и в то же время предполагает употребление своего основного первоначального значения в качестве другого, более общего содержания;

- две крайности политического символа: первая – конвенциональные и устойчивые, неизменные значения, однозначные ассоциации и интерпретации, которые активизируют однотипные эмоции и психофизиологические реакции, а вторая – свобода в интерпретации и дешифровке, независимые от конвенции и социального опыта толкования;

- концентрированное выражение в семантически свернутом виде общественных отношений, господствующих в обществе, государстве, социальной группе и т.д.;

– диалектическое соединение различных противоположностей и противоречий, а также взаимоисключающих, многочисленных, расплывчатых и потенциально неисчерпаемых (но при этом равноправных) значений и смыслов, которые одновременно как создают «тайну» политического бытия, так ее и приоткрывают;

– активизация политическим символом эмоций: к нему нельзя относиться равнодушно, причем он каждый раз представляет собой что-то новое, неожиданное, удивительное, символ затрагивает такие «душевные струны», о существовании которых человек даже не подозревает;

– способность не только скрывать или искажать политическую реальность, но и приближать ее, *делать* более близкой и понятной именно через свою экспрессивно-эмоциональную составляющую.

Можно предложить следующее определение политического символа. *Политический символ – это развернутый по содержанию знак, который вызывает сильные эмоциональные ассоциации и используется политическими субъектами при осуществлении, изменении или удержании власти в качестве медиатора – особенно посредника между человеком, группой людей и социально-политической реальностью.*

Понимание символической политики зависит от того, каким образом будет определен политический символ – самая важная ее составная часть. Если политический символ трактовать как обычный условный знак, «безразличный» демаркатор, устанавливающий или обозначающий границы идентичности, символическая политика предстанет в виде потока простой семиотической информации (знаков, признаков, сигналов, указателей и т.д.), которая лишь структурирует и упорядочивает политическое. Если же определить политический символ сверхрациональным объектом, «вырывающим» политическое из контекста обыденности (эстетизировать и романтизировать его), мобилизуя при этом людей, социальные группы на реализацию высоких целей, то в таком случае символическая политика будет видаться истинной бытийностью, соизмеряемой с жизненными мирами: через символы человек способен овладеть высшими смыслами, без которых невозможны политическая коммуникация, политическое сотрудничество и борьба, политика вообще. Когда политический символ понимается особым семиотическим объектом, придающим политике явный или скрытый смысл, символическую политику можно интерпретировать или как воплощение абстрактных идей в конкретных мате-

риальных носителях, или как подделку, которая выдает политический рационализм и прагматизм за «высокий стиль». В случае, если политический символ определять «сгустком» социальных отношений, появляется возможность представлять символическую политику совокупностью символов, содержащих (в «сжатом» виде) правила благоразумного политического поведения, способных устранять различные «недоразумения» между властью и обществом, правящей элитой и массой, гражданским обществом и государством. И все-таки трудности в определении политического символа остаются. Это связано со сложностью рассматриваемого феномена. Поэтому любой, изучающий символическую политику, будет вынужден обращаться к определению такого основополагающего ее элемента, как политический символ.

Литература

- Баталов Э.Я. Политическая культура современного американского общества / Отв. ред. Ю.А. Замошкин / АН СССР. Ин-т США и Канады. – М.: Наука, 1990. – 254 с.
- Гаджиев К.С. Политическая наука. – М.: Сорос – Междунар. отношения, 1994. – 397 с.
- Демидов А.И., Федосеев А.А. Основы политологии. – М.: Высш. шк., 1995. – 271 с.
- Косиков Г.К. Два пути французского постромантизма: символисты и Лотреамон // Поэзия французского символизма. Лотреамон. Песни Мальдорора / Под ред. Г.К. Косикова. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1993. – С. 5–62.
- Лосев А.Ф. Логика символа // Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. – М.: Политиздат, 1991. – С. 247–274.
- Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. – 2-е изд., испр. – М.: Искусство, 1995. – 320 с.
- Лосев А.Ф. Символ // Философская энциклопедия: В 5 т. / Гл. ред. Ф.В. Константинов. – М.: Сов. энцикл., 1970. – Т. 5. – С. 10–11.
- Малинова О.Ю. Почему идеи имеют значение? Современные дискуссии о роли «идеальных» факторов в политических исследованиях // Политическая наука / РАН. ИНИОН. – М., 2009. – № 4. – С. 5–24.
- Мисюров Д.А. Политическая символика: структура и функции // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 12: Политические науки. – М., 1999. – № 1. – С. 43–57.
- Морис-Георгица Г. Политические символы // Элементы теории политики / Пер. с пол.; Под ред. К. Опалка. – Ростов-на-Дону: Изд-во Рост. ун-та, 1991. – С. 343–354.
- Парамонова В.А. Политический символ как средство легитимации социального пространства: Дис. ... канд. социол. наук. – Волгоград, 2002. – 164 с.
- Политическая символика // Политология: Энцикл. словарь / Общ. ред. и сост. Ю.И. Аверьянов. – М.: Изд-во «PUBLISHERS», 1993. – С. 272–273.

- Политология: Учеб. пособие для вузов / Сост. и отв. ред. А.А. Радугин. – М.: Изд-во «Центр», 1996. – 288 с.
- Политология: Учебник для вузов / Под ред. М.А. Василика. – М.: Юристъ, 1999. – 600 с.
- Роговцов Д.А. Политическая символика как способ организации политического пространства переходного общества: Автореф. дис. ... канд. полит. наук. – Минск, 2003. – 21 с.
- Символ // Даниленко В.И. Современный политологический словарь. – М.: NOTABENE, 2000. – С. 791–793.

Н.И. Шестов

**«СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА»:
ПАРАДОКС ОДНОГО ИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЙ
НАУЧНОГО ПРЕДМЕТА**

В тех объяснениях, которые российская политическая наука дает политической реальности, много парадоксального. Исследователи, например, пишут о системных трудностях либеральной модели становления гражданских институтов и практик в России, о рискогенности и невысокой эффективности соответствующих практик и институтов. Но не пытаются в поиске научного решения задачи выйти за границы, установленные либеральной парадигмой. Пишут, например, о том, что мобилизационная стратегия либеральных реформ, осуществленных российским государством в 90-е годы прошлого столетия, привела само государство и общество в упадок, но все надежды на возрождение связывают с очередной активизацией мобилизационных стратегий государственной политики [см.: Федотов, 2013, с. 59–63]. Или сокрушаются, что «ослабление общенациональной солидарности, утрата интеграционного единства политического сообщества... вызывает немалое беспокойство в переходных обществах, включая российское», и тут же оптимистически утверждают: «Исторический генезис политики демонстрирует путь постепенного приучения конкурирующих социальных аудиторий, государств и сообществ к взаимному существованию» [см.: Кашаф, 2012, с. 226]. Ситуация, о которой далее пойдет речь, в сущности, не уникальна. Скорее, она типична для политических исследований. Для исследований по символической политике в том числе.

Происхождение такой парадоксальности мышления отечественных специалистов может быть объяснено с разных позиций.

Самым простым объяснением было бы то, что становление политической науки в России пришлось на сложный период масштабных изменений в политической, экономической, правовой и культурной системах страны. Жизнь задавала исследователям вопросы, в формулировках ответов на которые они не могли (а отчасти и не хотели) опереться на советский теоретический опыт политических исследований и тем соблюсти некую логику методологической и предметной преемственности. Более логичным и соответствующим «духу времени» выглядело воспроизводство в методологии и предметном поле становящейся политической науки зарубежных политических теорий (преимущественно либеральной и неолиберальной направленности). Активизировалось также обращение к отечественной политико-философской классике (консервативной или либерально-консервативной, по преимуществу), дающей, соответственно, хороший теоретический материал для критики советского политического опыта и обоснования необходимости сохранения лидирующей роли государства в либеральных реформах.

Возникли естественные условия для того, чтобы внутренние противоречия и нестыковки в логике построения научных рассуждений о российской политике в прошлом, настоящем и будущем воспринимались специалистами как нечто вполне естественное и даже прогрессивное, вытекающее из пересечения в политологическом дискурсе разных, порой противоположных, линий его развития [см.: Ефременко, 2012, с. 10–32; Глазова, 2012, с. 227–236]. Например, Н.Г. Щербинина пишет со ссылкой на концепцию А. Щюца: «Между реальностями – мирами значений – невозможна коммуникация, и они представляют собой тотальные миры, т.е. значения мира работы не преобразуются в значения мира мифа, для связи миров и существует особый универсальный символ – героический политический лидер» [см.: Щербинина, 2008, с. 311]. Данные противоречия как бы обозначали тенденцию к выходу отечественной науки на «методологический простор», на «человека» как центр политического мироздания.

Неплохо, когда у исследователя существует свобода методологического выбора, но наряду с этим для логики научного процесса больше свойственна тенденция к поиску способов снятия внутренних противоречий в предмете и методе. А здесь тенденция противоположного свойства, тенденция к фиксации неустойчивости и нечеткости предмета и метода как нормы. К настоящему времени, заметим, она, скорее, выглядит уже не как тенденция, а как достаточно устойчивая интеллектуальная традиция, к сосуще-

ствованию с которой российское научное сообщество политологов более-менее приспособилось и даже (судя по большому количеству публикаций и диссертаций с очень противоречивыми характеристиками авторской методологии и неопределенными формулировками авторского предмета исследования) не испытывает в этом плане большого дискомфорта.

Частным случаем этого парадокса является то, как сегодня выглядит теоретическая база исследований по символической политике. Достаточно распространенное представление о сути символической политики, которое сложилось у современных российских специалистов, с готовностью переносится ими и на «символические продукты» этой политики, а вместе с ними и на весь достаточно широкий спектр политических практик, в которые этот «символический продукт» обычно органически включен.

Один из саратовских коллег, известный в России философ и политолог, недавно обратился ко мне с предложением высказаться на научной конференции по теме «Гражданская нация в России: Миф или реальность». Иначе говоря, от меня ждали, вероятно, однозначной оценки: является ли гражданская нация в России продуктом реальной и конструктивной политики, тем реальным предметом, которым может и должна заниматься политическая наука, или же она есть продукт политики символической и в этом своем качестве может восприниматься уже как предмет, достойный внимания не столько профессиональных политологов, сколько публицистов?

На мой взгляд, постановка вопроса требует принципиального уточнения, поскольку исходит из не вполне правильного представления о связи политического мифа с политической реальностью. Социально-политические мифы – это один из наиболее значимых для политической практики «продуктов» символической политики. Если мы противопоставляем «мифы» политической «реальности», то тем самым допускаем, что есть какая-то «настоящая» политика, в результате которой происходят масштабные перемены в структуре и качестве политического процесса и формируются, например, «гражданские нации» и «гражданские политические культуры»; и есть «не настоящая политика», политика не того качества, которое могло бы быть интересно политологу. В действительности же речь должна идти о той реально единственной символической политике, по ходу которой мифологизируется и обращается в символический продукт не что иное, как сама политическая реальность.

К этому можно добавить, что если речь идет о проблеме становления «гражданской нации», да еще в такой специфической в отношении политического опыта и современного политического состояния стране, какой является Россия, то надо вместо «или» между понятиями «реальность» и «миф» поставить именно соединительный союз «и». Ибо реальна та «гражданская» нация (или не совсем «гражданская», но развивающаяся в этом направлении), которая в своем культурном качестве есть становящийся и устойчиво функционирующий социально-политический миф, разделяемый большинством субъектов процесса национального развития. В этом смысле российская политическая история и современность просто более ярко высвечивают некую общую тенденцию национализации в большинстве «цивилизованных» социально-политических систем Старого и Нового Света.

Нация реальна именно в качестве определенного политического, экономического, правового и культурного механизмов реализации государством и обществом той символической политики, в ходе которой создаются и апробируются мифы, консолидирующие политическое пространство и вводящие это пространство в границы времени «национальной истории» и «исторической памяти». Для исследователя, стремящегося понять, что произошло с элитами и обществом такого, что они не были нацией и вдруг себя ею осознали, приобрели новое качество политичности, ключевыми будут не показатели экономического роста, не успехи внутренней или внешней политики и не развитость правовых институтов. Ключевым показателем будет наличие «национального мифа», разделяемого субъектами политической жизни настолько, что они не могут помыслить своего собственного существования и взаимодействия между собой вне границ политического пространства и времени, различным образом маркированных этим мифом, или, точнее, всем более или менее сложным комплексом «национальной» политической мифологии.

В сущности, именно приверженность в сознании и в действиях новому мифу «национального интереса» заставляет подданных, обладающих исконной «подданнической» политической культурой, становиться гражданами и приобщаться к другой системе политических идей и ценностей, нежели их традиционная система. Иногда даже (как это произошло со многими социумами и элитами постсоветского пространства, осознавшими себя единой гражданской нацией в 1990-е годы после многих десятилетий «растворенности» в «советском народе» и в советской управленче-

ской «номенклатуре») такая трансформация в «граждан» происходит вопреки их прежнему опыту политического существования. «Национальный интерес» и «гражданственность» как ориентиры политической жизни здесь выводятся не из собственного исторического опыта, а из совместных надежд элиты и ее подданных на возможность быстрее примкнуть к «прогрессивному мировому сообществу». Это надежда, которая консолидирует элиты и общество в «нацию», хотя и с очень формальными атрибутами гражданственности.

Происходит все это преимущественно в формате межчеловеческих и властно-общественных коммуникаций, которые обозначаются понятием «символическая политика». Именно символическая политика творит ту наиболее существенную реальность, которая определяет свойство и направленность развития всего демократического процесса, – гражданское самосознание человека и его гражданское поведение. Так имеет ли для политической науки практический и теоретический смысл лишать символическую политику «реальности», коль скоро она формирует самое существенное в определении направления и состояния политического процесса? Уточним, что помимо мифов к числу «продуктов» символической политики нужно отнести символы счастливого будущего государства и общества, входящие в состав различных идеологических конструкций, а также символы справедливости и несправедливости тех или иных правовых норм и принципов. В последнее время символика «справедливости» и «несправедливости» правовых норм активно расширяется за счет постоянно мелькающих в медийном пространстве фигур «несправедливо» (или «справедливо») осужденных «олигархов» и «кошунцов», «несправедливо» не привлекаемых к ответственности чиновников высшего ранга. Без всего этого невозможно развитие «реальной» демократической правовой политики и, тем более, понимание ее логики. Иными словами, желание «очистить реальную политику» от «символических» примесей может поставить исследователя в сложное методологическое положение: не будет ли слишком примитивна в качестве предмета политического анализа остаточная «реальность»?

Тем не менее противопоставление «реальной» и «символической» политики имеет место довольно часто. Символическая политика в глазах исследователя вроде бы и существует объективно, в виде разного рода коммуникаций между субъектами, в виде «символического продукта», включенного в такие коммуникации.

Но стоит исследователю озаботиться поиском теоретических инструментов для ее изучения, как к его услугам целый массив «классических» и основанных на популяризации «классики» зарубежных и отечественных исследований по политической мифологии, по политической семиотике и по философским аспектам символической политики, авторы которых, за редкими исключениями, убедительно настаивают на архетипичности, иррациональности, трансцендентности мифа, символа, ритуала и всего остального, на чем зиждется символическая политика [см.: Матутите, 2007; Егорова, 2007; Филатова, 2007; Клюкина, 2008; Лукин А.В., Лукин П.В., 2009; Корниенко, 2009; Корыстов, 2012], на познаваемости всего этого только на уровне «тонкого вчувствования» в предмет. «При ближайшем рассмотрении и сравнении различных подходов к символической политике, с одной стороны, оказывается, что очевидные различия между ними обусловлены чисто аналитическими причинами. Возможно, было бы разумнее в этом случае говорить не столько о различных *подходах* (моделях, теориях), сколько о дополняющих друг друга методологических *акцентах* при анализе политико-символических стратегий. Однако, с другой стороны... (дискуссии о сущности символической политики. – *Н. Ш.*) обнаруживают и глубокие основания для принципиальных различий в современных концептах символической политики. Эти различия уходят корнями в существенность дисциплинарных и методологических границ, а также идейно-политических разногласий авторов, занимающихся данной проблематикой. Правда, на чисто функциональном уровне, отвлекаясь от упомянутых различий, единство подходов к символической политике можно установить, принимая во внимание три измерения любого политико-символического акта: утилитаристское, художественно-эстетическое и сакральное. Все формы символической политики обнаруживают эти измерения, правда, в разной степени, с разными акцентами и в разных конstellациях» [см.: Поцелуев, 2012, с. 49–50]. На чисто функциональном уровне остается определить, какая именно аналитическая или техническая процедура скрывается за определением «принимать во внимание» и что делать, если исследователь самокритичен в отношении своих художественно-эстетических способностей и способностей проникновения в мир сакрального.

Миф «маркирует» границу, отделяющую политику-«реальность» от политики-«домысла» [Флад, 2004]. И символическая политика со всем остальным набором ее продуктов и атрибу-

тов остается только по одну сторону этой культурной границы. По другую сторону границы, по логике вещей, должен располагаться «демифологизированный критически чистый разум» в качестве основы современного политического процесса. К сожалению, пока в реальной политике его почти не заметно.

Естественно, что прагматично настроенный исследователь фактической стороны символической политики, ориентированный на получение конкретного конечного результата своих научных усилий и не обладающий «тонкостью вчувствования», да и просто не склонный к философской рефлексии, поступает просто. Он следует в русле методологической традиции и тем самым порождает методологический парадокс: рассуждая о целом, о политике вообще, он на первое место ставит объективные и рациональные ее моменты, а рассуждая о части этого целого, о политике символической, выводит на первый план субъективные мотивации ее участников и иррациональное восприятие ими предпосылок, условий, ресурсов, процедур и результатов своего политического участия.

Большинство отечественных исследователей-гуманитариев – люди добросовестные и склонные к тому, чтобы находить оправдание своему теоретическому выбору. И оправдание находят: символическая политика сама «виновата» в том, что ее невозможно изучать, как любой другой предмет политической науки. У нее особые проявления, по которым мы опознаем ее сущность, у нее противоречивые функции (в том числе и деструктивные) и неконтролируемые критическим человеческим разумом механизмы. Поэтому надо «принимать во внимание» ее связь с процессом «реальной политики», но никак не объединять в предметном поле с другими политическими проблемами.

Наиболее распространенные определения сути символической политики, принадлежащие отечественным и зарубежным специалистам, собственно, и выглядят как обоснование такой ее «вины». Остановимся на одном таком определении, принадлежащем известному и авторитетному специалисту в этой области С.П. Поцелуеву. Сразу оговорюсь, что выбрал для анализа это определение символической политики как предмета научного исследования не потому, что оно чем-то хуже других определений. И совсем не потому, что считаю его неправомерным. Напротив, оно абсолютно правомерно, поскольку отражает определенную научную традицию, и хорошо уже тем, что отражает ее максимально четко и концентрированно. Потому, возможно, оно и ти-

ражируется в Интернете и печатных публикациях достаточно широко и с некоторыми вариациями в формулировках.

Изложим его относительно подробно, поскольку речь идет о своем роде «классике» современной теории символической политики: «Под *символической политикой* мы понимаем, – пишет автор, – особый род политической коммуникации, нацеленной не на рациональное осмысление, а на внушение устойчивых смыслов посредством инсценирования визуальных эффектов. Символическая политика – это не просто действие с применением символов, а действие, само выступающее как символ... *символическая политика* есть не безличный и стихийный способ массовой коммуникации, но сознательное использование эстетически-символических ресурсов власти для ее легитимации и упрочения посредством создания символических “эрзацев” (суррогатов) политических действий и решений. Значит, символическая политика специфическим образом эксплуатирует сущность символа как такой образной конструкции, которая может указывать на любые области бытия, придавая последним качества безграничных феноменов. В данном случае власть символически инсценирует то, чего реально нет, чего она не может или не хочет делать, но что ожидает получить от нее публика... В целом сущность современной символической политики обусловлена связью массово-демократических способов легитимации с визуально-коммуникативными технологиями и производством политических “звезд” по аналогии с шоу-бизнесом. На “выходе” мы получаем символическую политику в виде тактико-стратегической формы политической коммуникации, которая очень часто нацелена не на просвещение и взаимопонимание, а на искусный обман чувств – и посредством этого – на получение массовой поддержки политики властей» [Поцелуев, 1999].

На память приходит дискуссия о сущности политики дипломата графа Альмавива с Фигаро из известной комедии Пьера-Огюстена Карона де Бомарше «Безумный день, или Женидьба Фигаро». Аналогия литературного образа с научным суждением, по определению, условна, но что-то в тирадах главного персонажа этой пьесы неуловимо напоминает научное определение, приведенное выше. Фигаро определяет суть политики так, как ее может и должен определять человек, наблюдающий за происходящим со стороны и не стремящийся вникнуть в суть вещей: «Прикидываться, что не знаешь того, что известно всем, и что тебе известно то, чего никто не знает; прикидываться, что слышишь то, что никому непонятно, и не прислушиваться к тому, что слышно всем; глав-

ное, прикидываться, что ты можешь превзойти самого себя; часто делать великую тайну из того, что никакой тайны не составляет; запирается у себя в кабинете только для того, чтобы очинить перья, и казаться глубокомысленным, когда в голове у тебя, что называется, ветер гуляет; худо ли, хорошо ли разыгрывать персону, плодить наушников и прикармливать изменников, растапливать сургучные печати, перехватывать письма и стараться важностью цели оправдать убожество средств. Вот вам и вся политика, не сойти мне с этого места». На такую легкомысленную тираду граф, человек, знающий политику изнутри, ему резонно возражает: «Э, да это интрига, а не политика!» [Бомарше, 2005].

По поводу определения, приведенного выше, можно сказать, перефразируя слова графа: «Э, да это все околуполитические махинации и интриги части политической элиты, а не символическая политика!». Поведению политических элит, наряду с положительной отзывчивостью на политические интересы общества и отдельных подданных и граждан, всегда было свойственно стремление манипулировать этими интересами, извлекать из этого собственную выгоду и даже паразитировать на этих интересах. Какая в этом случае разница, имеет ли место паразитирование части политической элиты на тех нормах и формах политики, которые имеют развернутое логическое обоснование в массовом сознании, или же на тех, которые имеют символическое выражение.

Приверженцы такого определения символической политики говорят о действительно широко распространенной в политике в разное время и в разных частях света практике паразитирования одной (деструктивной) части политических элит на «теле» конструктивных символических взаимодействий между властью и обществом, выстроенных совместными усилиями всего общества и другой (конструктивной) части элит. При этом речь идет о символических практиках, которые входят непременной частью в структуру идеологических взаимодействий, электоральных процедур и правовых отношений, – о практиках, без которых немислимо современное политическое лидерство в обществе, где хотя бы часть граждан способна здраво анализировать политическую реальность и не попадаться на политехнологические уловки.

Отнюдь не эти практики определяют суть символической политики. Заметим, что современные элиты точно так же, как и в былые времена, склонны паразитировать на социальной и экономической политике государства, имитировать ее, вводить граждан в заблуждение относительно своих скрытых, часто далеких от

политики и просто корыстных интересов. Симулякры можно обнаружить и в политике международной, и в геополитике. Самый заметный пример последних лет – это постоянно меняющиеся фигуры тех «авторитарных диктаторов», на праведную борьбу с которыми «мировое сообщество» должно непременно бросать все свои силы вместо борьбы с нищетой, инфляцией, коррупцией в собственных странах. Правда о том, что стояло в действительности за «большой политикой» и за всеми этими симулируемыми образами «врагов рода человеческого», обычно всплывает через годы и десятилетия. Но это не рассматривается исследователями как повод для сомнений в реальности («немифологичности») всех этих сфер политических отношений (и международной политики, и геополитики), в реальности и рациональности тех процессов, которые в этих сферах протекают, равно как и возможности изучать их как внутренне целостную научную проблему, как устойчивый научный предмет.

Символическая политика, отчужденная от «нормальной политики» клеймом преднамеренной властной «диверсии против разума», выглядит, образно говоря, «мерцающим предметом исследования». То ли она есть значимый фактор, без которого не понять логики политического процесса, то ли она есть фактор искажения этой логики. Фактор, достойный только того, чтобы его «принять во внимание», а само понимание логики должно происходить где-то за пределами символической политики. Не совсем понятно, на каких ее свойствах, рационально объяснимых или иррационально ощущаемых ее участниками и наблюдателями, исследователь должен сделать решающий акцент. Тот, который будет структурообразующим для формирования научного предмета и который определит его методологический выбор. Который, в сущности, определит и общую оценку исследователем логики процессов, которые он анализирует. В таких очертаниях научного предмета недостает сбалансированности. Можно возразить: а что мешает сбалансировать? Ничего, собственно, кроме того, что определение символической политики, о котором идет речь, настаивает на абсолютном доминировании в символической политике только одного рода ее свойств, ее иррациональных и политически-деструктивных «начал».

В «нормальной» символической политике, как и в политике вообще, естественным образом сочетаются объективные и субъективные начала и следствия. Определение С.П. Поцелуева этот баланс игнорирует. Происходит абсолютизация фактора субъек-

тивных (деструктивных по большей части) намерений политической власти выдать в политике мнимое за действительное и тем оправдать собственную некомпетентность. Получается так, что кроме желания выдать или принять мнимое за действительное у элит и социума нет никакой объективной потребности в том, чтобы наполнять пространство своих политических коммуникаций символами, чтобы решать реальные проблемы и задачи.

Но это далеко не так. Без концентрации интересов, сил и ресурсов субъектов политики вокруг символов невозможно решение многих задач общества и государства. Достаточно посмотреть, какую значимую и совсем не симулятивную роль играет нынешний президент Российской Федерации. И не только как человек, но и как символ политической стратегии, которая реализуется в нашей стране и на международной арене на практике. Некоторые ключевые проблемы современной политики просто недешифруемы вне символического их сопровождения. Примером может послужить история усилий государственной власти в России по стимулированию процесса становления в стране институтов гражданского общества. Функциональность этих институтов далека от требуемой, некоторые из них формальны, но они существуют и самим фактом своего существования на протяжении многих лет символизируют стратегическую приверженность общества и политической элиты определенной системе демократических идей и ценностей.

Исследователю трудно работать с таким «мерцающим» предметом. Он постоянно вынужден сомневаться в том, изучает ли он действительно нечто значимое для понимания сути политики или тратит силы и время на фикции. Он может встать на почву фактов и исходить в своем анализе из того, что символическая политика, в современной России например, есть самая настоящая реальность из всех политических реальностей. Он может себя уверить, что субъекты этой политики в символическом мышлении и поведении как раз и реализуют наиболее последовательно свою субъектность. Таким образом, он придет в противоречие с той методологической тенденцией, которая представлена в определении С.П. Поцелуева.

Исследователь может исходить из этого определения и представлять себе символическую политику некоей аномальной формой политических коммуникаций между властью и обществом. Но при работе с фактурой он столкнется с тем, что все пространство политики, все ее уровни и направления насыщены символами и

многие из этих символов объективно необходимы конструктивной политике. Следовательно, он придет к выводу, что с теорией не все в порядке. Он поймет, что характеристика символической политики как «символической инсценировки властью того, чего реально нет, чего она не может или не хочет делать, но что ожидает получить от нее публика», является слишком узкой и недостаточно функциональной в приложении к реальному масштабу активности политических символов.

Разумеется, исследователь может закрыть глаза на нестыковки между теорией и фактами, подменить анализ причин, структуры, динамики и последствий функционирования символа простым описанием порядка его актуализации в политическом процессе. Это, однако, не решит проблемы «мерцания предмета». Предмет научного исследования формирует сам исследователь из того ряда вопросов, которые он намерен адресовать политической реальности, и того ряда предположительных ответов на эти вопросы, которые он способен сначала гипотетически сформулировать, чтобы потом проверять правильность или неправильность своих предположений. Вопросы эти надо формулировать предельно четко, опираясь на логику и факты в первую очередь и лишь во вторую очередь – на «ощущения». Четкость формулировок обеспечивают теория и понятные всем «прозрачные» методологические основания исследования. Если исследователь делает вид, что теория не существенна для его научного труда, что она может существовать сама по себе вне зависимости от той реальности, которую он в данный момент изучает, то и научный предмет не формируется. Нельзя сказать, что описательный подход не нужен научной практике. Привести фактуру в определенный порядок, облегчающий ее использование в политическом анализе, – тоже большое дело. Но устойчивый полноценный предмет исследования по символической политике таким способом не сформируешь.

Попробую предложить другое, не бесспорное, конечно, но более, как мне кажется, «предметное» определение символической политики, позволяющее исследователю как минимум видеть ее органическую связь с политическим процессом в целом, не противопоставлять другим сферам политической практики. *Символическая политика – это взаимно коррелирующие на уровне общих ценностей, смыслов и форм, институтов культурного процесса усилия политической элиты и общества по оптимизации системы и процедур маркировки ключевых сегментов политического пространства при помощи визуально и мысленно распознаваемых*

символов в соответствии с меняющимся состоянием этого пространства и политической культуры общества и элиты.

Определение, безусловно, несовершенно, и над его формулировками можно и нужно работать. Возможно, с учетом того, что в реальности существует некая-то одна, макроисторическая «нормальная» или «аномальная» символическая политика, обладающая универсальными характеристиками. И даже не обе они параллельно. А имеет место более сложный процесс одновременного или циклически последовательного осуществления значительно большего числа микроисторических «символических политик» на уровне личности, социальной группы, социума в целом. Каждая из них по-своему уникальна, и именно обнаружение перехода от одной уникальности к другой может дать исследователю не меньше информации о динамике процесса символической политики, чем обнаружение общих ее характеристик. Такое в принципе тоже можно теоретически предположить и научно проверить. Но возвращаясь к предложенному мною определению, хотелось бы обратить внимание вот на что. Оно позволяет политологу при проведении прикладного исследования избежать парадоксальности восприятия символической политики, «мерцания» ее как предмета своего научного интереса. Символическая политика посредством такого определения предстает в том единстве объективных и субъективных оснований, которое, собственно, и позволяет именовать ее именно политикой. То есть видеть в ней сферу органичного взаимодействия объективных условий и субъективных намерений, из которых формируется спектр реальных возможностей субъекта символической политики. А будет ли этот потенциал реализован в направлении придания этой политике свойств симуляции или свойств реального механизма решения общественных и государственных проблем – это уже вопрос морального выбора того, кто этим «инструментом» практически пользуется.

В таком определении, подчеркнем еще раз, символическая политика выглядит органичной частью всего политического процесса. И исследователю нет необходимости прибегать к мистификации свойств символической политики для того, чтобы объяснить причину, по которой символы и все механизмы и процедуры, связанные с их воспроизводством и распределением в политическом пространстве, обычно находятся на авансцене политики. Символическая политика делает политические идеи, ценности, практики более понятными и близкими участникам политической жизни, и это придает политике общую конструктивную направленность.

Литература

- Бомарше П.-О.К. де. «Безумный день, или Женитьба Фигаро». – СПб., 2005. – Режим доступа: http://vtuz.narod.ru/other/arhiv/Bomarshe_Figaro.htm (Дата посещения 20.12.2013.)
- Вандышева Е.А. Взаимодействие органов государственной власти с институтами гражданского общества при реализации антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге // VI Всероссийский конгресс политологов «Россия в глобальном мире: Институты и стратегии политического взаимодействия»: Материалы. Москва, 22–24 ноября 2012 г. – М.: РАПН, 2012. – С. 93.
- Глазова Е.С. Развитие как открытый проект // Политическая наука / РАН. ИНИОН. – М., 2012. – № 2: Идеи модернизации в политической науке и политической практике. – С. 227–236.
- Егорова И. Архетип вождя и героя // Вестник аналитики. – М., 2007. – № 4 (30). – С. 132–138.
- Ефременко Д.В. В поисках модернизационных ориентиров в эпоху междуцарствия модерна // Политическая наука / РАН. ИНИОН. – М., 2012. – № 2: Идеи модернизации в политической науке и политической практике. – С. 10–32.
- Кашаф Ш.Р. Эволюция политического сообщества: «Polity» – «political community» – «policy communities» // VI Всероссийский конгресс политологов «Россия в глобальном мире: Институты и стратегии политического взаимодействия»: Материалы. Москва, 22–24 ноября 2012 г. – М.: РАПН, 2012. – С. 226.
- Клюкина Л.А. Проблема мифа в контексте современной метафизики // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6: Философия, культурология, политология, право, международные отношения. – СПб., 2008. – Вып. 3. – С. 142–152.
- Корниенко Т. Сущность и структура политического мифа // Власть. – М., 2009. – № 10. – С. 49–53.
- Корыстов Ю.Н. Мифология и наука как унифицированные модели причинно-следственных связей реального мира // Философия и общество. – Волгоград, 2012. – № 1. – С. 133–137.
- Лукин А.В., Лукин П.В. Мифы о российской политической культуре и российская история: Часть 2 // Полис. – М., 2009. – № 2. – С. 147–162.
- Матугите К. Мифы наших дней // Вестник аналитики. – М., 2007. – № 4 (30). – С. 129–132.
- Поцелуев С.П. Символическая политика: констелляция понятий для подхода к проблеме // Полис. – М., 1999. – № 5. – С. 62–75.
- Поцелуев С.П. «Символическая политика»: К истории концепта // Символическая политика: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. полит. науки; Отв. ред.: Малинова О.Ю. – М., 2012. – Вып. 1: Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс. – С. 17–53.
- Соколов А.В. Особенности проявления протеста в современной России // VI Всероссийский конгресс политологов «Россия в глобальном мире: Институты и стратегии политического взаимодействия»: Материалы. Москва, 22–24 ноября 2012 г. – М.: РАПН, 2012. – С. 435.
- Универсальные ценности в мировой и внешней политике / Под. ред. П.А. Цыганкова. – М.: Изд-во МГУ, 2012. – 224 с.

- Федотов А.С. Факторы мобилизационной модернизации России // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Социология. Политология. – Саратов, 2013. – Т. 13. Вып. 2. – С 59–63.
- Филатова А. Политическая патопсихология // Вестник аналитики. – М., 2007. – № 4(30). – С. 138–142.
- Флад К. Политический миф: Теоретическое исследование. – М.: Прогресс – Традиция, 2004. – 264 с.
- Щербинина Н.Г. Коммуникационная роль современного политического мифа // Политическая психология, культура и коммуникация / Под ред. Е.Б. Шестопал. – М.: РАПН: РОСПЭН, 2008. – С. 306–316.
- Юдаев В.В. Новая социальная политика в контексте модернизации России // VI Всероссийский конгресс политологов «Россия в глобальном мире: Институты и стратегии политического взаимодействия»: Материалы. Москва, 22–24 ноября 2012 г. – М.: РАПН, 2012. – С. 524–525.

И.В. Фомин

**КАТЕГОРИЯ ОБРАЗА
КАК СРЕДСТВО ИЗУЧЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ОБРАЗА
ЮЖНОЙ ОСЕТИИ В РОССИЙСКОМ
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ)¹**

В современной семиотике и коммуникативных исследованиях любые осмысленные наборы знаков принято называть текстами. Так именуются не только письменные или устные отрезки речи на естественном языке (тексты в узком смысле слова), но и вообще любые знаково оформленные фрагменты действительности. В этом смысле текстами являются, например, и массовые демонстрации, и заседания парламента, и вообще любые общественные события.

При этом любой текст как средство передачи информации имеет свойство исчерпывать количество неопределенности (энтропии) в мире. Именно этим все то, что существует в тексте, отличается от существующего в физической реальности. Мир в его физическом измерении состоит из объектов, которые изменяются во времени в сторону нарастания энтропии. Мир, реализующийся в тексте, по мере своего развертывания, напротив, накапливает определенность (негэнтропию) [подробнее см., например: Шрёдингер, 2002, с. 75; Parsons, 1966, р. 28; Ильин, 2009, с. 186–189;

¹ Работа выполнена в рамках проекта «Разработка интеграционных методов и методик фундаментальных социально-гуманитарных исследований» (грант РФФИ № 13-06-00789 А).

Руднев, 2000, с. 9–22]. При этом человек оказывается существом, принадлежащим одновременно к двум универсумам: и к физической *реальности* материальных объектов, и к информационной *действительности* текстов.

С точки зрения этих наблюдений изучение человека в информационном аспекте его существования (в действительности) может быть оформлено как исследование осмысленного им мира с позиций семиотики, т.е. с позиций методов, ориентированных на изучение мира в его знаковом аспекте. Такого рода оптика может обеспечить получение как гуманитарного знания (знания о бытии-в-тексте), так и знания социального (знания о бытии-в-тексте-для-Другого). Всю совокупность методов, ориентированных на изучение текстов и знаков, можно назвать *семиотическим органом*.

На сегодняшний день пока, пожалуй, рано говорить о семиотическом органе как о чем-то, что уже в полной мере сформировалось и реализовало свой потенциал, однако для развития семиотического инструментария в обществоведении можно усмотреть весьма богатые перспективы [Ильин 2013; Круглый стол... 2013; Фомин, 2014 с]. При этом возможности развития семиотически ориентированных методов исследования связаны не только с высоким аналитическим потенциалом семиотического органа, но и с тем, что в перспективе он может сыграть роль интегратора в отношении разделенных дисциплинарными границами областей социально-гуманитарного знания. В частности, такая перспектива была намечена для семиотики американским ученым Ч.У. Моррисом, который в своей работе 1938 г. «Основания теории знаков» пишет: «Понятие знака может оказаться важным для объединения социальных, психологических и гуманитарных наук, когда их отграничивают от наук физических и биологических» [Моррис, 1983, с. 38]¹.

В своей максималистской версии намеченная Моррисом программа для семиотики на сегодня еще далека от реализации, и задача систематической выработки и внедрения семиотически ориентированных исследовательских инструментов в обществоведении остается одной из самых насущных. В частности, для такого рода методов есть очень широкое потенциальное поле применения в политической науке. В данной статье предлагается обсудить

¹Подробнее об интегративном потенциале семиотики и о других органах-интеграторах см.: [МЕТОД, 2014].

одну из частных методологических проблем, находящихся именно в рамках этой повестки. Представлена попытка выработки теоретически обоснованного и целостного семиотического аналитического инструмента, ориентированного на изучение дискурсивно конструируемых образов.

Как отмечают ряд авторов [Берендеев, 2012, с. 131; Семенов, 2008, с. 10 и др.], в политической науке число исследовательских работ, ориентированных на анализ образов, сегодня весьма велико, однако вопросы теоретического и методологического характера подробно изучаются лишь в немногих из них, да и то выборочно. Можно надеяться, что предлагаемая здесь к обсуждению аналитическая схема поможет отчасти решить эту проблему.

В рамках статьи предлагается рассмотреть понятие образа и обсудить некоторые теоретико-методологические аспекты его анализа, необходимые для выработки адекватного исследовательского инструментария. Для иллюстрации возможностей применения обсуждаемой аналитической модели в заключительной части статьи представлен в качестве примера разбор образа Южной Осетии в российском внешнеполитическом дискурсе¹.

Образ: От метафоры к модели

Часто в нашем языке можно столкнуться с метафорическим перенесением на слова, так или иначе связанные с визуальным восприятием, значений, имеющих отношение к получению и обработке информации вообще. И такого рода перенос происходит не только в быденной речи (например, англ. *I see* – я понимаю), но и в научном и философском дискурсах.

При внимательном рассмотрении набора используемых в науке понятий можно обнаружить целый ряд концептов, имеющих метафору визуального в своей основе. Слово «идея», например, происходит от др.-греч. *ἰδέα* «вид, образ», а «теория» – от др.-греч. *θεωρία* «смотрение, наблюдение». В таких словах, будучи метафорически обогащена когнитивными смыслами, визуальность приобретает различные оттенки, которые можно проследить, сравнив, например, «непосредственную видимость» *образа* [Лотман, 1998, с. 65–66], «усматриваемую видимость» *теории* [Хайдеггер, 1993, с. 243; Аристотель, 2012; Аристотель, 2004, с. 47; Ильин, 2012,

¹ См. также сравнение образов Южной Осетии и Косова: [Фомин, 2014 b].

с. 6], «открытую лишь уму, “незримую” видимость» *идеи* [Платон, 2007, 52 b] и «созидающее видение» *воображения* [Appadurai, 1996, p. 31; Castoriadis, 1998; Taylor, 2004; Касториадис, 2003; Тейлор, 2010; Фомин, 2012]. Понятие образа в этом ряду представляется одним из самых зыбких.

Образ относится к числу тех понятий, которые могут представляться обманчиво ясными на интуитивном уровне. И вероятно, по этой причине оно находит широкое распространение в дискурсе общественных наук без должной предшествующей теоретической проработки.

Круг публикаций, посвященных изучению конкретных образов (и *имиджей*), в рамках политических исследований довольно разнообразен. Однако попытка вывести определение образа из всего набора случаев употребления данного понятия в рамках научного дискурса едва ли даст какой-то вразумительный результат. Тому есть две причины. Во-первых, практика использования понятия *образ* зачастую отличается небрежностью. Во-вторых, даже в тех случаях, когда авторы стремятся дать более или менее строгое определение, они обычно вырабатывают или заимствуют его *ad hoc* для целей конкретного исследования, не пытаясь укоренить его в теории.

В итоге имеется довольно обширный корпус научных текстов, в которых так или иначе ведут речь об образах, однако не просматривается устоявшихся и теоретически фундированных подходов к их исследованию даже в рамках отдельных дисциплин. Дополнительные трудности возникают в связи с тем, что существует ряд понятий, омонимичных и синонимичных понятию *образ*, – например, *имидж*, *бренд*, *миф*, *символ*, [*визуальный*] *образ* (изображение), *иконический знак*, *метафора* и т.п.

Чтобы несколько прояснить содержание категории образа, предлагается начать не со специфических дискурсологических или политологических построений, а с обращения к некоторым более общим концептуальным наработкам. Как уже отмечалось выше, понятие *образ* в широком смысле слова возникает вследствие метафорического насыщения «когнитивными» смыслами более узкого понятия *визуального образа* (изображения). О таком образе-изображении С.С. Аверинцев рассуждает, сопоставляя его с понятиями символа, знака и мифа. В частности, Аверинцев пишет: «[Художественный символ] – универсальная категория эстетики, лучше всего поддающаяся раскрытию через сопоставление со смежными категориями образа, с одной стороны, и знака – с дру-

гой. Беря слова расширительно, можно сказать, что символ есть образ, взятый в аспекте своей знаковости, и что он есть знак, надежный всей органичностью мифа и неисчерпаемой многозначностью образа. Всякий символ есть образ (и всякий образ есть, хотя бы в некоторой мере, символ); но если *категория образа предполагает предметное тождество самому себе*, то категория символа делает акцент на другой стороне той же сути – на выходе образа за собственные пределы, на присутствии некоего смысла, интимно слитого с образом, но ему не тождественного» [Аверинцев, 2006, с. 386; курсив мой. – И. Ф.].

Несмотря на то что Аверинцев в приведенной цитате рассуждает лишь о визуальном образе-изображении¹, уже здесь можно обнаружить указание на одно из ключевых свойств образа вообще. Это свойство – его самотождественность, т.е. произвольность. В образе, в отличие от конвенциональных (условных) языковых знаков, планы содержания и выражения оказываются взаимно обусловлены. И потому образ оказывается по своему устройству близок к *иконическому знаку*. (По Ч. Пирсу, иконический знак – знак, который обладает рядом свойств, присущих обозначаемому им объекту. Отношения между иконическим знаком и объектом, на который он указывает, – это отношения подобия; иконический знак оказывается знаком просто в силу того, что ему «случилось быть похожим» на свой объект [Усманова, 2001, с. 290].)

Ю.М. Лотман также отмечает сходство образа с иконическим знаком: «Словесное искусство, – пишет он, – начинается с попыток преодолеть коренное свойство слова как языкового знака – необусловленность связи планов выражения и содержания – и построить словесную художественную модель, как в изобразительных искусствах, по иконическому принципу. <...> Из материала естественного языка – системы знаков, условных, но понятных всему коллективу настолько, что условность эта на фоне других, более специальных “языков” перестает ощущаться, – возникает вторичный знак изобразительного типа (возможно, его следует соотносить с “образом” традиционной теории литературы). Этот вторичный изобразительный знак обладает свойствами иконических знаков: непосредственным сходством с объектом, наглядностью, производит впечатление меньшей кодовой обусловленности...» [Лотман, 1998, с. 65–66].

¹ О структурном семиотическом анализе образов-изображений см.: [Барт, 1989].

Действительное преодоление языковым знаком своей произвольности принципиальным образом расходится с одним из фундаментальных принципов структуралистского понимания природы языкового знака, в соответствии с которым связь между означающим и означаемым в знаке имеет произвольный характер [Соссюр, 1977, с. 100]. То есть при рассмотрении естественного языка, взятого во всей его целостности, объяснения произвольности знака-образа обнаружить нельзя. Однако данный эффект все же может быть объяснен. Для этого необходимо обратиться не к тому, как знак функционирует в языке в целом, а к тому, как он задействуется в том или ином *дискурсе*, т.е. в социально суженной речевой деятельности – в языке и речи, рассмотренных с точки зрения их погруженности в социальное.

Социальная суженность дискурса предполагает наличие в нем ряда дополнительных конвенций (правил), которые отсутствуют в языке, рассмотренном независимо от социального контекста. Один из способов описания этих дополнительных конвенций – выделение их в дополнительную семиологическую систему, надстраиваемую над традиционной семиотической триадой «означающее – означающее – знак», как это было сделано Бартом в случае с его моделью мифа [Барт, 1989 а, с. 78]. Обратившись еще раз к приведенным выше рассуждениям Ю.М. Лотмана об образе как «вторичном изобразительном знаке», предпримем попытку схематически представить такую двухуровневую конструкцию для образа (рис. 1).

Означающее	Означаемое	
Знак =		
Образное означающее		Образное означаемое
Образ		

Рис. 1. Образ как элемент вторичной семиологической системы

Рассмотренный с такой точки зрения образ действительно оказывается иконичен, ведь образное означаемое обладает непосредственным сходством с образным означающим (с языковым знаком, над которым образное означаемое надстроено). Указания на это можно найти, например, и у Р. Барта, который отмечает, что

вторая семиологическая система «есть идеографическая система в чистом виде, в ней формы еще мотивированы тем концептом, который они репрезентируют» [Барт, 1989 в, с. 93].

Важно отметить, что первая и вторая знаковые системы не изолированы друг от друга и выступают друг для друга в роли порождающих и отражающих структур: в образе «конденсируется» опыт использования знака, а практика использования знака, в свою очередь, ограничивается опытом, сконденсированным в образе.

Индукцируемая на языковой знак роль образного означающего накладывает ряд дополнительных ограничений на его использование, обусловленных конвенциями, характеризующими тот или иной дискурс. Суть последних может быть уяснена только в том случае, если при исследовании образов мы выйдем за пределы узколингвистических уровней описания и дополним их уровнями дискурсологических, т.е. уровнями, позволяющими описывать текстовые объекты, более протяженные, чем одно предложение [Барт, 2000, с. 199–200]. Однако речь идет не просто о количестве слов в рассматриваемых фрагментах и не об определенных знаках препинания, обозначающих их границы. Говоря об объектах, больших, чем одно предложение, мы имеем здесь в виду не размер объекта, а масштаб его рассмотрения. Можно представить себе и дискурс, состоящий лишь из одного предложения, но и для него рассмотрение возможно будет в двух различных масштабах. С одной стороны, оно может быть описано узколингвистически – как отрезок речи на определенном языке, в котором реализуются определенные законы, этому языку присущие. С другой стороны, о нем возможно будет рассуждать, например, как о повествовательном тексте, состоящем из определенных сюжетных элементов, присущих тому или иному жанру и актуальных для определенной коммуникативной ситуации.

При узколингвистическом описании исследователь ставит перед собой задачу выявления законов, которым подчиняется язык в целом, а при описании дискурсологическом – анализирует конвенции, действующие лишь в определенных социальных обстоятельствах. В этом и состоит разница между масштабами описания.

Образы, как уже отмечалось выше, накапливают в себе именно смыслы, специфические для тех или иных дискурсов, а не для языка в целом. По этой причине посредством образов проявляют себя всевозможные социальные контексты. В случае политики и политических дискурс-исследований такие контексты, например, создаются моделями политического (взаимо) действия.

И именно по этой причине исследование дискурсов, и в частности исследование образов, им присущих, имеет не узколингвистическое, но обществоведческое содержание.

Уровни семиотического анализа

Выше уже отмечалось, что идея о междисциплинарных возможностях семиотики была впервые сформулирована американским ученым Ч.У. Моррисом. Одним из главных элементов моррисовской теории была предложенная им триада уровней семиотического анализа:

- 1) семантика,
- 2) синтактика,
- 3) прагматика.

Согласно этой схеме, к сфере семантики предлагается относить отношения между знаками и означаемыми ими объектам, к синтактике – отношения знаков между собой, а к прагматике – отношения знаков к интерпретаторам [Моррис, 1983, с. 42]. Для каждого из уровней анализа характерен собственный набор единиц и правил их сочетания [Бенвенист, 1974, с. 132; Барт, 2000, с. 201]

Именно с точки зрения этих трех аспектов семиотического описания – семантического, синтактического и прагматического – предлагается анализировать образы¹ в рамках предложенной ниже схемы, которая представляет собой модель для разбора образов через семиотическое исследование повествовательных текстов.

Семантический аспект анализа образа

В качестве единиц описания образов на уровне семантики предлагается рассматривать элементарные единицы сюжета (функции), на которые можно разложить любое повествование². При этом такого рода элементарные функции охватывают функциональный класс, определяемый понятием «делать» [Барт, 2000, с. 206]. То есть семантическое описание образа указывает на то, что изображаемое действующее лицо «делает» в том или ином дискурсе.

¹ Подробнее о семиотике образа см.: [Фомин, 2012, с. 237–250].

² О семиотике повествований см.: [Барт, 2000; Тодоров, 1975; Цымбурский, 2013; Фомин, 2013].

Важно понимать, что функция «существует актор N» – это тоже один из вариантов элементарной семантической единицы (т.е. один из вариантов ответа на вопрос «что делает?»). Поэтому к сфере семантики относятся также и вопросы о том, в каких более частных проявлениях воплощается в дискурсе тот или иной актор. Ведь далеко не всегда, например, государство представлено в дискурсе как единый актор. Зачастую это набор из нескольких акторов, в который может входить собственно государство (например, *Россия*), государственные органы (*правительство России, президент России*), официальные лица государства (*президент Путин*), вся нация (*народ России*) и т.д.¹

Таким образом, при анализе семантического аспекта дискурсивных образов перед исследователем встает задача установить, в виде каких связанных отношениями корреляции функций представлен в дискурсе изображаемый актор. При этом данная задача обычно распадается на два подвопроса.

1. В виде каких функций-персонажей представлен изучаемый актор («что существует?»).

2. С какими функциями-событиями он связан в повествовании («что делает?»).

Синтаксический аспект анализа образа

Если описание образа через элементарные семантические функции можно назвать *функциональным* его аспектом, то описание на уровне синтактики можно считать его *качественной* характеристикой. То есть если на уровне семантики описание образа выстраивается по принципу «что делает?», то на уровне синтактики основным вопросом оказывается вопрос «чем является? (какую роль выполняет?)».

Суть качественного (синтаксического) анализа образа заключается в определении изображаемого персонажа через круг его действий. Иными словами, на этом уровне задается распределение ролей-действий («качеств») персонажей, формирующих их образы.

Существуют разные подходы к описанию дискурсивной синтактики. Один из них был предложен В.Я. Проппом в его

¹ При этом у выделения нескольких акторов для одного и того же государства на уровне семантики может быть и прагматическое измерение. Так, например, зачастую в случаях конфликтов могут дискурсивно дифференцироваться агрессивное правительство противника и мирный народ, лишь выполняющий его указания.

Поясним роли, характерные для каждого из актантов:

- Субъект направлен на Объект, стремится к установлению связи с ним (желает или ищет его)¹;
- Помощник способствует установлению связи между Субъектом и Объектом;
- Противник препятствует установлению связи между Субъектом и Объектом;
- Адресант запрашивает установление связи между Субъектом и Объектом;
- Адресат выигрывает от установления связи между Субъектом и Объектом (Адресант и Адресат часто совпадают).

Важно понимать, что определенный актант включает целый класс персонажей и может воплощаться в самых различных «актерах», в том числе и в нескольких, а также может опускаться.

Вероятно, в общем случае удобнее использовать при анализе образов именно актантную модель А.-Ж. Греймаса, которая, несмотря на известные ограничения, все же имеет универсальный характер, что является ее несомненным достоинством. Кроме того, схема Греймаса достаточно проста в освоении в качестве аналитического инструмента. Это, как можно надеяться, позволит пользоваться ею не только специалистам-дискурсологам, но и более широкому кругу ученых-обществоведов.

Анализ текста на уровне действий важен для изучения образов, поскольку образ можно определить как знак, нагруженный дополнительным образным означаемым, возникающим, в частности, из практики задействования данного знака в качестве актера для того или иного набора актантов. При этом «качественному» описанию образа соответствует его описание на уровне актантов, которое может быть развернуто в функциональное описание через набор парадигматических корреляций между единицами уровня действий и уровня функций.

Преимущества качественного описания образов наиболее очевидны при работе с большими массивами текстов, поскольку описание образа через элементарные функции в таком случае может оказываться слишком громоздким. А понимание того, что качественное описание есть свернутый вариант описания функционального, является важным теоретико-методологическим

¹ Также возможны сюжеты, в которых Субъект испытывает фобию в отношении Объекта, стремится избавиться от него, разорвать связь с ним.

моментом, необходимым для адекватного понимания и использования категории образа как аналитического инструмента в дискурс-исследованиях.

Прагматический аспект анализа образа

Третий уровень описания образов в представляемой аналитической схеме – это уровень прагматики. При осуществлении анализа на этом уровне в фокусе внимания исследователя оказываются отношения между текстом и ситуацией его порождения, в частности отношения «автор – текст», «адресат – текст», «автор – адресат», «автор – ситуация коммуникации», «адресат – ситуация коммуникации» и т.п.

Прагматическое измерение исследования дискурса, и в частности исследования образов, могло бы принести весомые результаты. Однако на сегодняшний день, к сожалению, еще не разработан инструментарий, позволяющий формально описывать отношения на данном уровне. Кроме того, сфера прагматического зачастую интерпретируется весьма широко и теряет четкость очертаний, вбирая в себя любые рассуждения по поводу языка, которые мало похожи на семантику или синтактику [Баранов, 1990, с. 27]. Впрочем, это не должно быть основанием для исключения уровня прагматики из круга внимания исследователя. Описание образов на уровне прагматики позволяет делать важные заключения, касающиеся всевозможных оценок и эмоциональных окрасок образов.

При этом необходимо отметить, что, поскольку исследования на уровне прагматики тесно связаны с анализом конкретных ситуаций коммуникации, наборы категорий, используемых при анализе, могут варьироваться в зависимости от изучаемой социальной проблематики и продиктованных ею задач.

Так, например, достаточно продуктивные методологические схемы прагматического анализа на материале социальной проблематики были выработаны в рамках критического дискурс-анализа (КДА), где, в частности, предлагают выстраивать прагматический анализ как исследование дискурсивных стратегий. При этом такого рода стратегии понимаются как более или менее намеренно и последовательно реализуемые планы по систематическому использованию языка, направленные на достижение определенных социальных, политических, психологических и тому подобных целей [Reisigl, Wodak, 2001, p. 44]. Таким образом, делается по-

пытка связать уровень повествовательной прагматики как последний уровень анализа, укладываемый в пределах текста [Барт, 2000, с. 224], с другими системами (социальными, политическими, экономическими и т.п.)¹.

Пример анализа образа: Южная Осетия в российском внешнеполитическом дискурсе

Продемонстрируем возможности дискурсивного анализа образа в политических исследованиях на примере образа Южной Осетии, конструируемого в российском внешнеполитическом дискурсе с 26 августа 2008 г. по 7 мая 2012 г., – в период, когда решалась сложная задача конструирования и закрепления образа республики, только что признанной в качестве нового государства. В основу данного исследования положен анализ 26 текстов президента Российской Федерации, в которых упоминается Южная Осетия. Для каждого текста был осуществлен семантический, синтаксический и прагматический анализ по представленной выше схеме.

Семантический аспект образа Южной Осетии

С точки зрения семантики образ Южной Осетии в российском внешнеполитическом дискурсе, как было установлено, складывается из образов двух разных акторов – *народа Южной Осетии* и *собственно Республики Южная Осетия*.

При этом для каждого из этих акторов очерчивается фиксированный набор приписываемых ему действий. Причем действия народа Южной Осетии редко совпадают с действиями, приписываемыми Республике Южная Осетия.

Иногда в российском внешнеполитическом дискурсе упоминаются также руководители республики [см., например: Медведев, 2008 с]. Однако их упоминания слишком редки, чтобы вести речь о том, что их образы составляют какую-то значимую часть образа республики.

Упоминания конкретных государственных органов Южной Осетии также несколько раз встречаются в проанализированном массиве текстов, но недостаточно часто, чтобы можно было вести речь об

¹ Подробнее о дискурсивных стратегиях репрезентации государств см.: [Фомин, 2015 а, с. 129–131].

их вкладе в образ. По сути единственным текстом, в котором отдельные органы (президент Южной Осетии и парламент Южной Осетии) фигурируют в качестве значимых акторов, оказывается заявление президента России о признании Абхазии и Южной Осетии [Медведев, 2008 b]. При этом единственным упоминаемым действием главы республики оказывается обращение к России с просьбой о признании. А единственным действием республиканского парламента – принятие решения, на котором такое обращение основывается [там же].

Кроме того, в исследованных текстах можно отметить ряд эпизодов, когда о Южной Осетии речь ведется не как о государстве или нации, но как о *случае, проблеме* или *конflikте*. Впрочем, такие эпизоды в проанализированных текстах встречались не особенно часто.

Что касается действий, предсказуемых двум основным акторам – *Южной Осетии* и *народу Южной Осетии*, – то они, хотя и формулируются по-разному в каждом конкретном тексте, могут быть аналитически сведены к следующим событиям (указаны пропозиции, встречающиеся более, чем в одном тексте):

Народ Южной Осетии:

- стремится к самостоятельности, боролся за независимость, высказывался за независимость республики на референдуме;
- подвергся опасности истребления, геноцида;
- является тем, чье возможное истребление стало причиной признания Южной Осетии Россией, а также тем, чье сохранение и защита стали целью признания Южной Осетии;
- пережил страдания, преодолел испытания;
- получил защиту в лице России, спасен Россией;
- является тем, чье сосуществование с грузинским народом в одном государстве стало невозможным после агрессии Саакашвили.

Южная Осетия:

- объявила о суверенитете;
- является предметом агрессии со стороны Грузии, которую остановила Россия;
- является предметом агрессии, которая привела к гибели людей;
- является предметом агрессии, которая стала угрозой для международного правопорядка, показала несовершенство системы европейской безопасности;
- является тем, чью независимость признала Россия;

- является отдельным субъектом международного права, независимым государством, новым государством;
- нуждается в поддержке;
- связана с Россией несколькими договорами;
- стремится восстановить экономику и социальную сферу;
- является государством, с которым Россия строит партнерские, дружеские отношения;
- установила дипотношения с Россией;
- стремится к миру, безопасности, развитию и стабильности вместе с Россией;
- является государством, которое Россия защищает от новой агрессии, которому Россия обеспечивает безопасность;
- имеет много проблем;
- стремится строить институты;
- стремится защищать свои границы;
- получает помощь от России.

Таким образом, можно отметить, что в официальном российском политическом дискурсе народ Южной Осетии представлен, прежде всего, как актер, стремящийся к созданию независимого государства, и как актер, подвергающийся опасности и нуждающийся в защите. Один из способов обеспечения такой защиты – это признание государственности Южной Осетии.

Что касается *Южной Осетии как государства*, то ее образ оказывается тесно связан с эпизодом признания ее независимости. Кроме того, важной частью образа оказываются сюжеты, связанные с установлением отношений с Россией и послевоенным развитием. При этом, как и в случае с *народом Южной Осетии*, значительной частью образа оказывается та его часть, что связана с пребыванием в роли объекта агрессии.

Синтаксический аспект образа Южной Осетии

Вторым исследуемым аспектом в анализе образа Южной Осетии в российском внешнеполитическом дискурсе стал разбор этого образа с точки зрения повествовательной синтактики. При этом в качестве базового материала использовались как сами анализируемые тексты, так и уже выявленные на этапе семантического анализа наборы эпизодов.

Для каждого из текстов, вошедших в анализируемый корпус, было произведено построение актантной схемы по модели А.Ж. Греймаса, в которую были вписаны основные фигурирующие в

повествовании акторы и события. После проведения анализа и построения схемы для каждого отдельного текста появилась возможность выявить тексты, сходные с точки зрения схемы распределения актантных ролей, а также определить такого рода схемы, общие не только для конкретных текстов, но и для всего дискурса. Таким образом были выявлены четыре актантные схемы, с помощью которых можно в основном описать образ Южной Осетии в исследуемом дискурсе. Ниже приведем каждую из них с кратким описанием.

Первый сюжет, который будет рассмотрен, разворачивается вокруг отношений между Грузией (или лично президентом Саакашвили) и Южной Осетией, выстраивающимися по оси желаний. При этом тематические силы в разных текстах, где такого рода структура реализуется, разнятся. В одних речь идет о желании Грузии обладать Южной Осетией [см., например: Медведев, 2008 б], в других – о желании уничтожить ее (или ее народ) [см., например: Медведев, 2008 а]. Впрочем, как отмечает сам Греймас, тематические силы на оси желаний могут быть как «желанием воссоединиться, обрести», так и «фобией» (желанием избавиться) [Греймас, 2000, с. 165]. На общую схему сюжета такого рода различия в нашем случае не повлияли.

В обобщенном виде схема с позитивной тематической силой (желание присоединить) может быть представлена в следующем виде (табл. 1).

Таблица 1

Актантная схема, характеризующая образ Южной Осетии (1)

Адресант	Объект	Адресат
	<ul style="list-style-type: none"> • Южная Осетия • Абхазия 	<ul style="list-style-type: none"> • Гибель людей • Гуманитарные проблемы • Угроза мировому правопорядку
Помощник	Субъект	Противник
<ul style="list-style-type: none"> • Россия пытается сохранить территориальную целостность Грузии • Война • Геноцид народа Южной Осетии 	<ul style="list-style-type: none"> • Грузия 	<ul style="list-style-type: none"> • Россия вмешивается в конфликт в Южной Осетии • Россия признает независимость Южной Осетии • Признание Южной Осетии Россией • Народ Южной Осетии • Южная Осетия • Здравый смысл • Международное право

Таким образом, Южная Осетия в этой схеме оказывается в трех актантных ролях. Во-первых, она напрямую задействована в позициях Объекта и Противника. Во-вторых, косвенным (пассивным) образом представлена как элемент пропозиции, задействованной в актантах Помощник и Противник: *геноцид югоосетинского народа – одно из средств, способствующих присоединению республики к Грузии, признание Южной Осетии Россией – способ остановить силовую попытку присоединения Южной Осетии к Грузии.*

Несколько иначе сконфигурированы повествовательные роли в другом типе сюжетов (табл. 2), который был также выявлен при анализе исследуемого дискурса.

Таблица 2

Актантная схема, характеризующая образ Южной Осетии (2)

Адресант	Объект	Адресат
	<ul style="list-style-type: none"> • Независимость • Государственность • Суверенитет 	
Помощник	Субъект	Противник
<ul style="list-style-type: none"> • Право на самоопределение • Референдумы в Южной Осетии и Абхазии • Российское признание 	<ul style="list-style-type: none"> • Народ Южной Осетии • Народ Абхазии 	

Подобная схема распределения актантных ролей встречается в корпусе исследованных текстов несколько реже [см., например: Медведев, 2008 е], чем та, что была представлена в табл. 1. Однако ее также можно назвать одной из доминирующих в российском политическом дискурсе. Эта схема описывает набор событий, схожий с тем, что охватывается схемой первого типа, но с точки зрения повествовательной синтактики она выстроена иначе.

В этой схеме *народ Южной Осетии* представлен в качестве Субъекта, устремленного к обретению государственности, независимости, самостоятельности и т.п. И установлению этой связи способствует, в частности, признание Южной Осетии Россией. При этом в качестве средств обретения независимости иногда указываются проведенный в Южной Осетии референдум по вопросу о независимости республики, а также право югоосетинского народа на самоопределение.

Интересно отметить, что в сюжетах данного типа обычно вообще никак не представлены действия Грузии.

Наконец, еще один тип актантной конфигурации, который был выделен на проанализированном материале, предполагает нахождение России в роли Субъекта, который ориентирован на противоречивый набор Объектов: сохранение территориальной целостности Грузии и соблюдение прав жителей Южной Осетии (табл. 3) [см., например: Медведев, 2008 d].

Таблица 3

Актантная схема, характеризующая образ Южной Осетии (3)

Адресант	Объект	Адресат
	<ul style="list-style-type: none"> • Территориальная целостность Грузии • Защита интересов осетин и абхазов • Защита жизней жителей Южной Осетии 	
Помощник	Субъект	Противник
<ul style="list-style-type: none"> • Российские миротворцы • Международные усилия • Признание Южной Осетии Россией 	<ul style="list-style-type: none"> • Россия 	<ul style="list-style-type: none"> • Грузия

В данной схеме Южная Осетия оказывается представлена лишь в пассивной роли и косвенным образом – в контексте признания республики Россией (Помощник) и в виде указания на интересы осетинского народа (Объект).

Следует отметить, что приведенные выше сюжетные схемы описывают преимущественно события, происходившие до признания Южной Осетии Россией или сразу после этого события. Если же говорить о текстах, описывающих более поздний период [см., например: Медведев, 2008 с], то для них характерны иные актантные конфигурации. Наиболее распространенная из них такова (табл. 4).

Актантная схема, характеризующая образ Южной Осетии (4)

Адресант	Объект	Адресат
<ul style="list-style-type: none"> • Международное право 	<ul style="list-style-type: none"> • Мир • Стабильность • Развитие абхазского и югоосетинского народов • Безопасность • Партнерство • Независимость Южной Осетии и Абхазии 	
Помощник	Субъект	Противник
<ul style="list-style-type: none"> • Договоры Южной Осетии с Россией • Признание со стороны России 	<ul style="list-style-type: none"> • Южная Осетия • Абхазия • Россия 	

В этом типе повествования также присутствуют эпизоды, связанные с признанием Южной Осетии Россией, однако дополнена обсуждаемая проблематика темами, связанными с послевоенным развитием Южной Осетии и с выстраиванием отношений между Южной Осетией и Россией.

Зачастую в этих сюжетах и Южная Осетия и Россия представлены в позициях Субъектов, устремленных к обеспечению развития, безопасности и восстановления Южной Осетии.

При этом очень важным смысловым узлом оказывается эпизод, связанный с заключением договоров о сотрудничестве между Россией и Южной Осетией. В целом ряде текстов этот момент представлен в позиции Помощника при соответствующих Субъекте и Объекте.

Прагматический аспект образа Южной Осетии

На этапе обсуждения прагматического аспекта образа Южной Осетии, формируемого в рамках официального российского внешнеполитического дискурса, будут рассмотрены основные дискурсивные стратегии, о реализации которых можно судить по некоторым систематическим языковым приемам, используемым в анализируемом дискурсе для создания образа, заряженного оцен-

ками и политически ориентированного на продвижение определенной версии социальной реальности.

На первом этапе прагматического анализа образа Южной Осетии были исследованы способы референции, используемые в анализируемом дискурсе при указании на республику. При этом по результатам рассмотрения всех случаев указания на Южную Осетию в текстах можно заключить, что доминирующей стратегией при конструировании соответствующего образа в российском внешнеполитическом дискурсе является стратегия этатизации, т.е. стратегия, ориентированная на то, чтобы представить репрезентуемое образование именно как полноценное государство.

При реализации стратегии этатизации в случае Южной Осетии использовались разные способы указания на соответствующее государственное образование. Применялись как более мягкий способ именованья, допускающий двойственные трактовки статуса – *Южная Осетия*, так и жесткий вариант, предполагающий целенаправленное подчеркивание признания полноценного государственного статуса республики – *Республика Южная Осетия, суверенная Южная Осетия, суверенное государство, независимое государство, субъект международного права, новая страна, молодое югоосетинское государство* и т.п.

Необходимо сказать несколько слов о тех референциальных стратегиях, которые можно зафиксировать при анализе способов репрезентации населения Южной Осетии. Как уже указывалось выше, *народ Южной Осетии* широко представлен в дискурсе и является одним из основных акторов, составляющих часть широкого образа Южной Осетии. При этом, однако, важно отметить, что в проанализированном дискурсе обозначения *народ Южной Осетии, население Южной Осетии, граждане Южной Осетии, югоосетины* и *осетины* используются без какой-либо очевидной дифференциации. Но если соотнести это обстоятельство с соответствующим политическим контекстом, нетрудно обнаружить его политическую подоплеку: отнюдь не все население Южной Осетии можно с очевидностью отнести к осетинам или югоосетинскому народу.

Точные данные о современном этническом составе населения Южной Осетии отсутствуют, однако известно, что до августа 2008 г. на территории республики существовали анклавные с грузинским населением. После войны августа 2008 г. эти анклавы были уничтожены: все постройки в грузинских селах были разрушены, а грузинское население вынуждено было покинуть территорию Южной Осетии без возможности вернуться [Эдуард Кокойты...

2008]. Таким образом, дискурсивная редукция населения Южной Осетии до его осетинского компонента с очевидностью может рассматриваться как целенаправленная политическая стратегия, реализуемая через дискурс.

Еще один важный прагматический момент, связанный с образом Южной Осетии и смежный с проблемой репрезентации населения республики, заключается в том, что в российском внешнеполитическом дискурсе прослеживается дискурсивная стратегия радикального исключения в отношении грузинских беженцев, покинувших Южную Осетию с момента начала югоосетинского конфликта. По данным Временной администрации Южной Осетии¹, численность грузин, покинувших территорию Южной Осетии, насчитывает по состоянию на 2013 г. 25 тыс. человек [Абхазия и Южная Осетия... 2013, с. 35]. И хотя эти конкретные цифры можно подвергнуть сомнению, очевидно, что полное исключение проблемы беженцев из рассмотрения является одним из целенаправленных дискурсивных ходов, ориентированных на политически ангажированное формирование образа республики.

Если перейти от вопросов референции к вопросам предикации, то ориентированность российского дискурса на конструирование образа Южной Осетии как полноценного и самостоятельного международного субъекта оказывается несколько размытой. В текстах, которые ориентированы на описание ситуации, предшествующей признанию республики Россией, можно обнаружить, что народу Южной Осетии приписывается стремление к обретению независимости, выражающееся в соответствующих действиях. Однако к Южной Осетии такая «активирующая» стратегия не применяется.

При анализе набора действий, предсказуемых Республике Южная Осетия в исследуемом дискурсе, можно обнаружить, что новому государственному образованию стратегическим образом предписывается пассивная роль получателя государственного признания. При этом субъектность Южной Осетии выражена слабо (пассивация). И хотя в целом ряде случаев можно обнаружить Южную Осетию в актантной роли Субъекта (см. выше), ее задействованность в повествовании зачастую ограничивается констатацией ее желания обрести нечто (государственность, экономику,

¹ Временная администрация Южной Осетии – альтернативное правительство Южной Осетии, созданное по инициативе грузинских властей, лояльное им и признаваемое ими в качестве легитимного.

институты и т.п.) при отсутствии пропозиций, которые отражали бы какие-либо усилия в этом направлении. Такого рода усилия повсеместно оказываются предписаны России – либо так или иначе ею опосредованы (договоры о сотрудничестве, помощь, партнерство и т.п.).

Дополнительным фактором пассивации образа Южной Осетии оказывается ее дискурсивная виктимизация. Одним из доминирующих эпизодов, связанных с Южной Осетией, оказывается ситуация, когда она выступает в роли жертвы (предмет агрессии, жертва геноцида, объект нападения и т.п.).

Можно было бы ожидать, что при широко представленной в дискурсе теме сотрудничества между Россией и Южной Осетией для образа новопровозглашенной республики будет характерна стратегия позитивной оценочной референции и предикации, однако в действительности на материале такого рода гипотеза своего подтверждения не нашла: образ Южной Осетии оказался выстроен скорее в нейтральных тонах.

Тем не менее, хотя оценочная позиция говорящего в текстах и не проявлялась, нам удалось зафиксировать явную тенденцию к ассоциации между говорящим (адресантом) и Южной Осетией. В целом ряде текстов были зафиксированы многочисленные случаи использования личных местоимений первого лица множественного числа, когда речь шла о Южной Осетии и России, о президентах России и Южной Осетии и т.п.

Преимущественно такого рода ассоциация фиксировалась в текстах, построенных в соответствии с актантажной конфигурацией, представленной выше в табл. 4.

Заключение

Результаты, которые удалось получить, проведя анализ образа Южной Осетии по предложенной схеме, позволяют предположить, что применение такой схемы может быть продуктивным в целом ряде дескриптивных и компаративных исследований, когда требуется детально и систематически описать образы тех или иных политических акторов. При решении такого рода задач образы, как было показано выше, могут исследоваться как знаки, нагруженные дополнительным образным означаемым, придаваемым им в рамках каждого конкретного дискурса.

При осуществлении анализа семантический, синтаксический и прагматический аспекты образов могут исследоваться посредством выявления семиотических единиц, специфических для каждого из этих трех уровней описания. На уровне семантики – из текстового материала вычлняются элементарные содержательные единицы повествований, характеризующие основные действия изображаемого актора. На уровне синтактики – для каждого входящего в исследуемый дискурс текста составляется схема распределения актантных ролей и выясняется место, занимаемое в ней изучаемым актором. На уровне прагматики – выявляются дискурсивные стратегии, реализуемые в дискурсе в отношении того или иного репрезентуемого актора.

Такая модель образа может быть использована в целом ряде обществоведческих дисциплин, и в частности, в политических исследованиях. Объекты анализа при этом могут избираться самые разные: программные политические тексты, медийные тексты, официальные внутри- и внешнеполитические документы, устные заявления политиков и т.д. Иными словами, есть основания предполагать, что образы, формирующиеся в политических дискурсах, могут быть предметом последовательного анализа, несмотря на то что – при всей своей очевидности – сегодня они обычно от систематического рассмотрения уклоняются.

В качестве одного из достоинств предложенной схемы анализа можно отметить тот факт, что в проводимых с ее использованием исследованиях кодированные описания образов могут быть составлены на самом равном материале. При этом «язык», на котором такого рода описания составляются, оказывается независим от дисциплинарных границ, продиктованных тематикой текстов или дисциплинарной принадлежностью исследователя. Впрочем, это следует отнести не столько к числу преимуществ данного конкретного метода, сколько в целом ко множеству возможных семиотически ориентированных методов анализа социальной действительности.

Через призму семиотики становится возможным изучение объектов социальной действительности (семантика) и связей между ними (синтактика), а также исследование идентитарных, аксиологических и социально-критических вопросов (прагматика). При этом семиотически ориентированные методы обычно могут применяться трансдисциплинарным образом, что создает предпосылки для методологической интеграции социального знания по мере их развития и внедрения.

Литература

- Абхазия и Южная Осетия / [Кавказский узел]. – М.: ИП Матушкина И.И., 2013. – 52 с.
- Аверинцев С. Символ художественный // Аверинцев С. Собрание сочинений. – Киев: Дух и Литера, 2006. – С. 386–394.
- Аристотель. Протрептик // Аристотель. Протрептик. О чувственном восприятии. О памяти / Пер. на рус. Е.В. Алымовой. – СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2004. – С. 19–58.
- Аристотель. Протрептик [фрагмент] // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. – М., 2012. – Вып. 3. – С. 10.
- Баранов А.Н. Аргументация в процессе принятия решений (к типологии метаязыков описания аргументативного диалога) // Когнитивные исследования за рубежом. Методы искусственного интеллекта в моделировании политического мышления / Отв. ред. В.М. Сергеев; АН СССР. Ин-т США и Канады. – М., 1990. – С. 19–33.
- Барт Р. Введение в структурный анализ повествовательных текстов // Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму. – М.: Прогресс, 2000. – С. 196–238.
- Барт Р. Миф сегодня // Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика. – М.: Прогресс, 1989 а. – С. 72–130.
- Барт Р. Риторика образа // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. – М.: Прогресс, 1989 в. – С. 297–318.
- Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского // Бахтин М.М. Собрание сочинений. – М.: Русские словари: Языки славянской культуры, 2002. – Т. 6. – С. 6–300.
- Бенвенист Э. Общая лингвистика. – М.: Прогресс, 1974. – 448 с.
- Берендеев М.В. «Образ» как эпистемологическая категория в дискурсивных практиках // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. – М., 2012. – Вып. 3: Возможное и действительное в социальной практике и научных исследованиях. – С. 131–137.
- Греймас А.-Ж. Размышления об актантных моделях // Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму / Пер. с франц., сост., вступ. ст. Г.К. Косикова. – М.: Прогресс, 2000. – С. 153–170.
- Докинз Р. Эгоистичный ген / Пер. с англ. Н. Фоминой. – М.: АСТ: CORPUS, 2013. – 512 с.
- Ильин М.В. Методологический вызов. Научная критика социальной воображаемости // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. – М., 2012. – Вып. 3. – С. 5–10.
- Ильин М.В. Методологический вызов. Что делает науку единой? Как соединить разведенные сферы познания? // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. – М., 2014. – Вып. 4. – В печати.
- Ильин М.В. Существуют ли общие принципы эволюции? // Полис. – М., 2009. – № 2. – С. 186–189.
- Касториadis К. Воображаемое установление общества. – Москва: Гнозис, 2003. – 480 с.
- Лотман Ю.М. Структура художественного текста // Об искусстве. – СПб.: Искусство–СПб., 1998. – С. 14–285.

- «Математика и семиотика: две отдельные познавательные способности или два полюса единого органа научного знания?» Круглый стол // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. – М., 2014. – Вып. 4. – В печати.
- Медведев Д.А. Вступительное слово на заседании Государственного совета, посвященном ситуации вокруг Южной Осетии и Абхазии // Президент России. – М., 2008 а. – 6 сентября. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/transcripts/1314> (Дата посещения: 15.09.2012.)
- Медведев Д.А. Заявление Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева // Президент России. – М., 2008 б. – 26 августа. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/transcripts/1222> (Дата посещения: 15.09.12.)
- Медведев Д.А. Заявления после подписания договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с республиками Абхазия и Южная Осетия // Президент России. – 2008 с. – 17 сентября. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/transcripts/1436> (Дата посещения: 15.09.2012.)
- Медведев Д.А. Интервью Дмитрия Медведева российским телеканалам // Президент России. – 2008 д. – 31 августа. – URL: <http://kremlin.ru/news/1276> (Дата посещения: 15.09.2012.)
- Медведев Д.А. Интервью телекомпании Си-эн-эн // Президент России. – М., 2008 е. – 26 августа. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/transcripts/1227> (Дата посещения: 15.09.2012.)
- МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. – М., 2014. – Вып. 4: Поверх методологических границ. – В печати.
- Моррис Ч.У. Основания теории знаков // Семиотика / Под ред. Ю.С. Степанова. – М.: Радуга, 1983. – С. 37–89.
- Платон. Тимей / Пер. С.С. Аверинцева // Платон. Сочинения в четырех томах / Под общ. ред. А.Ф. Лосева и В.Ф. Асмуса; Пер. с древнегреч. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та; Изд-во Олега Абышко, 2007. – Т. 3, Ч. 1. – С. 495–589.
- Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. – М.: Лабиринт, 2001. – 192 с.
- Руднев В.П. Прочь от реальности. – М.: Аграф, 2000. – 432 с.
- Семенов И.С. Образы и имиджи в дискурсе национальной идентичности // Полис. – М., 2008. – № 5. – С. 7–18.
- Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики // Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию / Пер. с франц. под ред. А.А. Холодовича. – М.: Прогресс, 1977. – С. 31–273.
- Тейлор Ч. Что такое социальное воображаемое? // Неприкосновенный запас: дебаты о политике и культуре. – М., 2010. – № 1 (69). – С. 19–26.
- Тодоров Ц. Поэтика // Структурализм: «за» и «против». – М.: Прогресс, 1975. – С. 37–113.
- Усманова А.Р. Знак иконический // Постмодернизм: Энциклопедия / Сост. и научн. ред.: А.А. Грицанов, М.А. Можейко; Отв. секретарь и ред. А.И. Мерцалова. – Минск: Интерпрессервис, 2001. – С. 289–292.
- Фомин И.В. Возможности структурного исследования образов в политических дискурсах // Политическая наука / РАН. ИНИОН. – М., 2012. – № 2. – С. 237–250.
- Фомин И.В. Категория социальной воображаемости // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. – М., 2012. – Вып. 3. – С. 115–130.

- Фомин И.В. Образ государства: возможности политического дискурс-анализа (на примере образа Косова) // Полис. – М., 2014 а. – № 2. – С. 124–137.
- Фомин И.В. Образы Южной Осетии и Косова в российском внешнеполитическом дискурсе // Политика. – М., 2014 б. – № 2. – С. 128–143.
- Фомин И.В. Элементы семиотического органа для обществоведения: анализ повествований // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. – М., 2014 с. – Вып. 4. – В печати.
- Хайдеггер М. Наука и осмысление // Время и бытие. – М.: Республика, 1993. – С. 238–253.
- Цымбурский В.Л. Макроструктура повествования и механизмы его социального воздействия // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. – М., 2014. – Вып. 4. – В печати.
- Шрёдингер Э. Что такое жизнь? Физический аспект живой клетки. – М.; Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2002. – 92 с.
- Эдуард Кокойты: мы там практически выровняли все // Коммерсант. – М., 2008. – 15 августа. – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc/1011783> (Дата посещения: 15.09.2012.)
- Appadurai A. Modernity at large. – Minneapolis: Univ. of Minnesota press, 1996. – 229 p.
- Castoriadis C. The imaginary institution of society. – Cambridge, Mass.: MIT Press, 1998. – 426 p.
- Parsons T. Societies: evolutionary and comparative perspective. – Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1966. – 120 p.
- Reisigl M., Wodak R. Discourse and discrimination. – L.: Routledge, 2001. – 298 p.
- Taylor C. Modern social imaginaries. – Durham: Duke univ. press, 2004. – 215 p.

В.Н. Ефремова

**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ
КАК ИНСТРУМЕНТЫ СИМВОЛИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ: ВОЗМОЖНОСТИ
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ**

Проблема праздника и праздничности актуальна для современной России как в практическом, так и в теоретическом плане. Не случайно многие исследователи оценивают символическую политику государства по изобретению новых и трансформации старых государственных праздников как неудачную и говорят о «кризисе праздничности» [см., например: Юдин, 2006; Некрылова, 2004]. Правда, большинство работ, посвященных этой теме, носят обзорный характер и, как указывает И. Лаврикова, по большей части посвящены интуитивно-эмпирическому описанию использования праздничных мероприятий как средства воздействия на массовое сознание [Лаврикова, 2013, с. 156]. Теоретические же аспекты проблемы использования праздника в символической политике пока остаются без должного внимания.

Существует ряд подходов и отдельных исследований, посвященных праздничной тематике в отечественной и зарубежной этнографии, социологии и культурологии. Развернутый культурологический анализ идеи праздника представлен в работе М. Бахтина о творчестве Ф. Рабле [Бахтин, 1990], размышлениях Ю.М. Лотмана о русской культуре [Лотман, 2011]. В современной культурологии много внимания празднику уделяется в работах Л.А. Абрамяна, Г.А. Шагояна [Абрамян, Шагоян, 2002], С.С. Аверинцева [Аверинцев, 2004], Д.С. Лихачева [Лихачев, 1987], В.Я. Проппа [Пропп, 2009] и др. Проблемой праздника так или иначе занимались антропологи и философы Ж. Батай [Батай,

2003], Ж. Бодрийяр [Бодрийяр, 2000], К. Леви-Стросс [Леви-Стросс, 2000], М. Мосс [Мосс, 1996], В. Тернер [Тернер, 1983], М. Фуко [Фуко, 2002], Й. Хейзинга [Хейзинга, 1992] и др. Изучение социально-философских аспектов праздника представлено в работах П.С. Гуревича [Гуревич, 1981], М.С. Кагана [Каган, 1997], Н.Л. Юдина [Юдин, 2006]. Отдельный блок литературы посвящен анализу особенностей советских праздников [см., например: Рольф, 2009; Здравомыслова, Темкина, 1993].

Благодаря этим и другим работам накоплен значительный опыт осмысления феномена праздника; тем не менее наши знания о данном предмете остаются очаговыми. Чаще всего внимание исследователей привлекают частные моменты празднования: его ритуализованность, карнавальность или мифологичность. Отсутствие сколько-нибудь полной методологии побуждает сосредоточиться на возможностях его теоретического описания, в частности в исследованиях символической политики. Цель данной статьи – проанализировать некоторые из существующих подходов к изучению феномена праздника и определить, каким образом они могут быть использованы для анализа государственных праздников. Кроме того, мы предполагаем выделить характерные признаки, особенности *государственных* праздников, а также их функции. Наконец, мы попытаемся определить критерии для оценки эффективности праздников в качестве инструментов символической политики.

Очевидно, что государственный праздник является производным от общего понятия «праздник». Как отметил А.И. Мазаев, «праздники существуют во всех общностях и культурах, начиная с глубокой древности» [Мазаев, 1978, с. 9], неудивительно, что данный феномен имеет множество определений. Так, например, в современном словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой содержатся пять толкований праздника [Праздник, 1997], а в издании первой трети XX в. под редакцией Д.Н. Ушакова – семь [Праздник, 1935–1940]. Тем не менее все авторы сходятся в главных характеристиках предмета. Во-первых, праздник – это временной отрезок, который противопоставлен будничным дням («это законченное экстраординарное событие, исключенное из общего хода и правила жизни, его самостоятельность и свобода также сверхобычны и исключительны» [Кудайбергенов, Иванов, Сапронов, 1986, с. 13]; «день, обычно свободный от работы, торжественно отмечаемый вследствие культовых или государственных соображений» [Жигульский, 1985, с. 35]). Это свойство является ключевым и опреде-

ляющим, оно позволяет многим исследователям выделять особые функции праздника. Так, А.В. Бенифанд проанализировал воспитательную и идеологическую функции праздника [Бенифанд, 1986], Д.М. Генкин – зрелищную и коммуникативную [Генкин, 1975]; как правило, они достигаются за счет особого внимания к знаменательным датам. Во-вторых, праздник тесно связан с ритуальностью [Генкин, 1975; Глебкин, 1998; Мазаев, 1978]. В-третьих, к свойствам праздника также часто относят карнавальность и зрелищность, т.е. внешние оформления праздничного действия. В-четвертых, неотъемлемым признаком праздника является его сакральность. Как считает В.Н. Торопов, «связь сакральности и праздника в его архаичной форме настолько обязательна, что в известной степени и в определенном контексте можно сказать, что сакрально то, что связано с сутью праздника, с его ядром» [Торопов, 1980, с. 329]. Семантическое поле праздника в разных вариантах подчеркивает его связь с сакральностью. Так, например, в английском языке holiday («праздник») происходит от holy («святой»), в польском – соответственно *święto* от *święty*. Современный праздник, как и архаичный, соотнесен с сакральными ценностями коллектива, с его историей или с неким значимым событием в истории, который может подвергаться сакрализации.

Указанные выше свойства праздника характерны и для их подвида – государственных праздников. Отличие последних от остальных календарных дат заключается в их особом положении: это официально установленные праздничные дни, признаваемые государством и имеющие статус выходного дня. В России к государственным праздникам относятся нерабочие праздничные дни, перечень которых закреплен в Трудовом кодексе РФ (Новый год и Новогодние каникулы, Рождество, День защитника Отечества, Международный женский день, Праздник весны и труда, День Победы, День России и День народного единства). Разновидностью государственных праздников являются национальные дни¹. В отличие от официально установленных праздничных дней, имеющих статус нерабочих, число которых на протяжении года может быть неограниченно, национальный праздник, как правило, у каждого государства один. Он связан со становлением государственности и суверенитета страны или нации. Примерами таковых

¹Далее, говоря о праздниках, мы будем иметь в виду государственные и национальные праздники как их разновидность.

могут служить День независимости США (4 июля) или День взятия Бастилии во Франции (14 июля). В России национальным праздником можно было бы назвать День России, установленный в честь принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Однако, как показывают различные замеры общественного мнения, отношение к этому празднику в России неоднозначно: многие рассматривают этот день как негативное событие, ускорившее распад СССР.

О значимости выбранных дат говорит то, что часто праздники принято ставить в один ряд с традицией, которая отмечает роль наследуемых из прошлого обычаев и верований. Никем не ставится под сомнение, что государственные праздники изобретаются намеренно. Данная тема затрагивалась в книге «Изобретение традиции», вышедшей под редакцией Эрика Хобсбаума и Теренса Рейнджера в 1983 г. [The invention... 1983]. В этой работе традиция рассматривается как процесс, авторы обращают внимание на политику идентичности и на восприятие «воображаемого» прошлого. Они считают, что прошлое не существует отдельно от его социального конструирования в настоящем. Эрик Хобсбаум определяет изобретенные традиции как «набор практик ритуальной или символической природы, которые ставят своей целью внедрение определенных ценностей и норм поведения посредством повторения, что естественно предполагает связь с прошлым» [The invention... 1983, p. 1]. Изобретение традиции – это процесс формализации и ритуализации, которые характеризуются апелляциями к прошлому. Задача государственного праздника, как подвиды таких традиций, состоит в «социализации – запечатлении в сознании верований, систем ценностей и правил поведения» [ibid, p. 56].

Массовое изобретение традиций прослеживается с начала XX в. Оно стало следствием «кардинальных изменений социальных групп, обстановки и социального контекста, которые потребовали новых механизмов обеспечения и выражения социальной сплоченности и идентичности, а также структурирования социальных отношений» [The invention... 1983, p. 263]. Изобретение политических традиций было сознательным и намеренным; оно предпринималось разного рода социальными институтами в политических целях.

Э. Хобсбаум в главе «Массовое производство традиций: Европа, 1870–1914» анализирует формирование «изобретенных традиций» на примерах французского Дня взятия Бастилии и Дня международной солидарности трудящихся 1 мая. Историка интересует, каким образом складываются практики, какие символы и

смыслы стали общепринятыми. Так, День взятия Бастилии (утвержден в 1880 г.) представляет собой пример изобретения публичных церемоний и традиций, сочетавших официальную и неофициальную демонстрацию национальной состоятельности Франции как нации. Как утверждает на официальном сайте посольства Франции в России, «этот день был призван не только возродить чувство единства и гордости за родину у французов, но и напомнить о празднике Федерации, состоявшемся 14 июля 1790 г. и символизировавшем национальное примирение» [14 июля, 2013]. Как отмечает Э. Хобсбаум, идея праздника заключалась в том, чтобы «превратить наследие революции в комбинированное выражение государственного размаха и довольствия граждан» [The invention... 1983, p. 271]. Для того чтобы все французы, включая женщин и детей, могли принять участие в торжественных мероприятиях, предстояло кардинальным образом трансформировать революционные практики, дистанцировавшись от кровавых сцен, и в то же время, сохранив участие армии в праздничных мероприятиях, предполагалось привлечь внимание тех, кто сочувствовал потере Эльзаса и Лотарингии. Частью этих изобретенных традиций стали торжественный военный парад на Елисейских полях, фейерверки, уличные гуляния и танцы. Некоторые другие «изобретенные традиции» времен Великой Французской революции Э. Хобсбаум отмечает мимоходом: «Марсельеза», триколор и Марианна (аллегорическое изображение Французской республики, символа свободы и освобождения). Таким образом, существуя с 1880 г., праздник сегодня утратил свое революционное значение и стал символом общих воспоминаний и надежд, истории.

В отличие от Дня взятия Бастилии, традиции празднования которого пришлось намеренно переформатировать, учитывая историческую значимость, День международной солидарности трудящихся – 1 Мая стал праздником спонтанно и в короткий период. Вначале праздник был задуман как одновременная однодневная забастовка и демонстрация в поддержку требования восьмичасового рабочего дня в память о кровопролитных столкновениях рабочих Чикаго с полицией в 1886 г. Фиксированная дата появилась спустя несколько лет, после того как в июле 1889 г. Парижский конгресс II Интернационала принял решение о проведении 1 Мая ежегодных демонстраций. Для празднования Дня трудящихся, который часто совпадал с католической, православной или иудейской Пасхой, были заимствованы некоторые элементы религиозных праздничных практик. Во Франции, как отмечают авторы

книги, антиклерикализм рабочего движения, однако, сопротивлялся включению традиционных фольклорных практик. Единственным единым символом рабочего движения с самого начала был красный цвет – цвет пролитой крови рабочих, убитых в ходе выступлений в 1886 г. Вначале это были флаги, затем в некоторых европейских государствах символами стали цветы: гвоздика в Австрии, красная роза в Германии, сладкий шиповник и мак во Франции. Постепенное проникновение живых цветов в символическую коммуникацию изменило смысл 1 Мая: вместо кровавой борьбы праздник стал восприниматься как «день обновления, роста, надежды и радости».

Э. Хобсбаум приходит к выводу, что изобретенные традиции требуют постоянного изменения и обновления со стороны класса или общности, для которых они созданы. В противном случае традиции обречены на забвение, а их носители утратят политическую и социальную востребованность.

Книга «Изобретенные традиции» – это в первую очередь анализ исторического опыта, частными случаями которого являются мифы, ритуалы, зрелища, а также массовые праздники, появившиеся на рубеже XX в. Хобсбаум и его коллеги не ставили перед собой задачу разработать концепцию «современного» праздника, но они провели значительную работу по анализу причин возникновения новых праздников, обнаружению их роли в социализации и формировании чувства идентичности. Используя понятие «изобретенная традиция», авторский коллектив хотел подчеркнуть устойчивость практик и направленные усилия по их сохранению. Поэтому в книге уделяется особое внимание не только сущности, но и внешним формам проявления практик. Однако работа не снабжает исследователя методологическим руководством для анализа эмпирического материала. Отдельные случаи празднеств, представленные в книге «Изобретение традиции», интересуют лишь как носители тех или иных признаков, отношения и логику которых можно исследовать.

Перевести информацию об отдельных событиях в общие закономерности и признаки, выработать стандартизированные правила позволяет теория социального конструктивизма. Она исходит из коллективного конструирования реальности как осмысленного социального мира. Как отмечают П. Бергер и Т. Лукман, авторы известного трактата «Социальное конструирование реальности», определяющую роль в формировании систем представлений играет *язык*. Он может не только «конструировать крайне абстрагиро-

ванные от повседневного опыта символы», но и «превращать» их в объективно существующие элементы повседневной жизни [Бергер, Лукман, 1995, с. 70–71]. Источником коллективных представлений выступают социальные коммуникации. Символические объекты (такие, как фетиши и военные эмблемы) и символические действия (религиозный или военный ритуал) [там же, с. 119] являются вспомогательными средствами в процедуре контроля и легитимации институциональных значений, которыми наделяется реальность. Иными словами, церемонии и праздники – это **практики**, символические способы поддержания легитимации власти, «структурирующие обыденные интерпретации и поведение в рамках институциональной сферы» [там же, с. 225].

Инструменталистское понимание праздников подчеркивает П. Бурдьё. Для него праздник – социальные практики, делающие возможным «консенсус по поводу смысла социального мира» [Бурдьё, 2007, с. 92], т.е. **инструмент** социальной интеграции. Праздничные практики заключают в себе как потенциал перемен, так и ресурсы для сохранения исторически сложившихся образцов поведения, традиций и правил. Происходит это благодаря «системе устойчивых и переносимых диспозиций, структурированных структур», лежащих в основе любого восприятия и оценивания, т.е. *габитуса* [Бурдьё, 2001, с. 102]. Габитус – это центральное понятие в социологии П. Бурдьё, оно обозначает «принципы, порождающие и организующие практики и представления», «системы устойчивых и переносимых диспозиций, структурированные структуры» [там же, с. 102]. Габитус «производит практики как индивидуальные, так и коллективные, а следовательно – саму историю в соответствии со схемами, порожденными историей» [там же, с. 105]. Поэтому габитус обеспечивает активное присутствие прошлого опыта, основанного на схемах восприятия, мышления и действия.

Как и авторы трактата о социальном конструировании реальности, Бурдьё отводит значительную роль языку. Подчиняющийся «определенной политической власти, язык, со своей стороны, помогает укреплению той самой власти, которая его насаждает: он обеспечивает между всеми членами “языкового сообщества”... минимум коммуникативных связей, без которого невозможны ни экономическое производство, ни символическое господство» [Бурдьё, 2005]. Французский исследователь отмечает некоторые «магические» свойства языка: последний представляет собой, во-первых, «шифр, позволяющий устанавливать соответст-

вия между звуками и смыслами, а во-вторых, систему норм, регулиующую языковую практику» [Бурдые, 2005]. Это означает, что язык играет политическую роль. «Именно в процессе становления государства создаются условия для становления единого и подчиняющегося официальному языку языкового рынка: этот государственный язык, обязательный в официальных ситуациях и официальных пространствах (в школе, в административных учреждениях, в политических документах и пр.), обретает статус теоретической нормы, которая служит объективным критерием для оценки всех языковых практик». Так и смыслы, декларируемые государственным праздниками, подразумеваются в качестве единственно возможных и законных. Вследствие чего праздники как **символические системы** и собственно **политическое действие**, наделенное идеологическим содержанием, способны производить и навязывать представления о социальном мире. Однако не следует забывать, что символическая политика происходит в публичной сфере и предполагает конкуренцию смыслов.

Система прочных приобретенных предрасположенностей и установок объясняет, почему сложившиеся социальные практики изменяются медленно. Именно поэтому, устанавливая разного рода праздники и ритуалы, власть не должна идти наперекор существующим социальным практикам. Соответственно в случае государственных праздников эффективность символической политики как «деятельности, связанной с производством определенных способов интерпретации социальной реальности и борьбой за их доминирование, не ограничивается социально-инженерным “изобретением” смыслов» [Малинова, 2012, с. 10], зависит от коллективных представлений и диспозиций членов общества.

Таким образом, подход П. Бурдые позволяет рассматривать праздники как социальные практики, выступающие инструментом интеграции. Применение структуралистского конструктивизма к изучению государственных праздников позволяет проанализировать состояние политических структур и агентов, выявить каналы выражения и инструменты разных политических интересов социальных общностей, т.е. соединить объективное (влияние социальной структуры) и субъективное (конструирование личностью объектов) в социальном познании.

Оригинальную теорию, также направленную на интеграцию макро- и микроподходов к исследованию социальной реальности, предложил английский социолог Э. Гидденс. Его теория структуриации, разработанная в русле традиции классической социологии,

позволяет уловить, каким образом возможна институционализация социальных практик, в том числе – практик празднования. Предложенная Э. Гидденсом теория исходит из того, что действия индивида в обществе детерминируются социальными нормами, ценностями, господствующими в обществе, т.е. социальной структурой. По существу, он предлагает взглянуть на социальную реальность, ориентируясь на изучение конкретных социальных практик, которые воспроизводятся благодаря активному характеру действий социальных субъектов.

В своем элементарном значении «структура представляет собой “генеративные” (порождающие) правила (и ресурсы)» [Гидденс, 2005, с. 52], которые в сущности носят трансформирующий характер. Перефразируя Э. Гидденса, можно сказать, что условиями институционализации социальных практик являются (1) становление набора подпадающих артикуляции **правил** и (2) наличие возникающих, структурирующих и воспроизводимых в процессе человеческой деятельности **ресурсов** складывающегося института. Благодаря этим условиям происходит воспроизводство институтов: обеспечивается так называемая связь во времени и пространстве, способствуя сохранению более-менее устойчивого набора практик и норм, придавая им «“систематическую” форму» [там же, с. 59]. В то же время нельзя отдельно рассматривать правила и ресурсы, которые относятся к способам трансформации социальных отношений.

Повторяясь раз за разом, складывающиеся практики сами способны предопределять институционализацию: им свойственна «некая латентная функция – некое непредвиденное последствие или набор последствий, которые помогают поддерживать непрерывное воспроизводство рассматриваемой практики» [Гидденс, 2005, с. 55].

Под таким углом зрения становится очевидным, что социальная деятельность (т.е. постоянные протяженные во времени деятельность или практики), к которой можно отнести воспроизводство праздников, не является иррациональной. Именно на этом основании праздники и церемонии, которые их сопровождают, не следует считать «предрассудками» или «простой инертной традицией»: им отводится функциональная роль, которая позволяет поддерживать идентичность сообщества или группы, собираться вместе и включаться в общую деятельность. Отвечая на вопрос, что мотивирует индивидов на участие в упорядоченных во времени и пространстве социальных практиках, Гидденс указывает на

дуальность самих институтов. Социальные практики обусловлены интеграцией личностной мотивации индивидов, с одной стороны, и «мобилизационной направленности» власти (понимаемой как «способности к преобразованиям» [Гидденс, 2005, с. 56]) – с другой. Однако власть в данном контексте не рассматривается как отношения принуждения, это скорее отношения по шкале «автономии и зависимости», которые срабатывают при взаимодействии индивидов или коллективов между собой. Такое взаимодействие в органическом варианте позволяет создать условия, управляющие преемственностью или преобразованием институтов, следовательно, их воспроизводством.

Итак, выше мы обозначили подходы, задающие описание теоретических моделей праздника. По-видимому, различие между ними кроется в методологических установках. Однако все они повсюду обращаются к социальному конструированию реальности, на котором основывается указанное нами выше понимание символической политики. Праздник, таким образом, может выступать как ментальная схема, способ структурирования коллективных поведений, практики и воспроизводимые традиции, суть которых детерминирована восприятием и оценением (Бурдьё) или же господствующей в обществе структурой (Гидденс). На наш взгляд, эти подходы не противоречат друг другу, а, наоборот, позволяют взглянуть на исследуемый феномен с разных сторон. Государственные праздники, таким образом, – это не просто «изобретенные традиции», задача которых состоит в напоминании прошлого, но и *символический конструкт*. Помимо присущих как и всем другим праздникам функций коммуникации, социализации государственные праздники идеологичны, поскольку несут определенную систему смыслов, которыми они наделяются в процессе учреждения и дальнейшего существования: они способны навязывать определенное видение мира, легитимировать политический режим, а также формулировать планы и актуализировать потребности.

Объединяющим в анализе праздников как инструментов символической политики, на наш взгляд, мог бы быть подход, который представили авторы коллективной монографии «Национальные праздники: конструирование и мобилизация национальной идентичности» [National day's, 2009]. Они определяют национальные праздники как «нестабильные символы» (*unstable signified*). Авторы монографии убедительно показывают, что с течением времени все национальные (государственные) символы становятся предметом редактирования, переписывания, пересмот-

ра и даже сознательного уничтожения (как в случае с памятниками Ленина на постсоветском пространстве) со стороны правящих элит. Однако в отличие от общепринятых национальных символов (таких, как флаг, гимн, валюта, национальная архитектура, юридические процедуры, сказки, фольклор, национальные костюмы) национальные праздники «не предстают перед нами как постоянная эмпирическая реальность» или «повседневные “маркировки”» (the daily «flagging»), которые «стабилизируют наше чувство коллективной идентичности» [Geisler, 2009, p. 16].

Причины «нестабильности» национальных праздников заключаются в том, что: 1) праздники цикличны и имеют место только раз в год; 2) несмотря на то, что праздники вносят в нашу жизнь 24-часовую «паузу», люди могут сознательно их игнорировать, не воспринимая как «нечто особенное»; 3) их смысл со временем может измениться [Geisler, 2009, p. 17].

Тем не менее «стабильные» национальные символы (флаг, валюта, фольклор, архитектура и др.), встречающиеся в повседневной жизни каждый день, составляют лишь то, что Н. Луман определил как «фон социальной реальности» [Луман, 2005] (например, как государственные флаги на правительственных учреждениях). Иными словами, они как бы дополняют представления о национальном самосознании, поддерживают нашу лояльность к различным проявлениям национального нарратива. В отличие от этого, национальный праздник является непосредственным выражением этого нарратива (его «чтением») и потому играет особую роль в ряду символических инструментов, формирующих чувство сопричастности к сообществу [Geisler, 2009, p. 15–16].

Что может дать исследователю понимание государственных и национальных праздников как «нестабильных символов»? Во-первых, такой подход не ограничивает исследователя каким-то определенным теоретическими рамками, а дает возможность комбинировать разные понимания и широко использовать эту категорию при анализе символической политики. Во-вторых, он позволяет смотреть на праздники как на комплексное явление и собственно символ, не расчленяя его на составляющие, как это принято в социальной литературе (ритуал, церемония). В-третьих, разделение на «стабильные» и «нестабильные» символы дает ответ на вопрос, почему одни праздники укореняются в обществе, а другие нет. Так, слабые государственные праздники могут сигнализировать о проблемах с определением национального нарратива.

Существует множество примеров того, как одни праздники остаются значимыми, несмотря на длительность своей истории, а другие так и не приживаются. Как показывает опыт России, Австралии, Германии и Японии, национальные праздники чаще всего относительно слабы и являются нестабильными символами национального самосознания. Это становится очевидно, когда они сравниваются с другими национальными символами. Так, например, история Германии на протяжении последних 100 лет показывает, что немцы не чувствуют необходимости в национальном празднике. Большее значение, несмотря на противоречивость, для них имеет гимн, принятый еще в 1922 г. первым президентом Германской республики Ф. Эбертом.

Указанный подход может быть использован не только при анализе конструирования национальной идентичности, как это сделали авторы монографии, но и при более широком исследовании роли праздников и их функций в символической политике.

Заключение

Приведенный выше обзор касается некоторых подходов, которые могли бы быть использованы для анализа государственных праздников. Их объединяет ориентация на социальное конструирование реальности, базовая посылка которой – это коллективная деятельность по производству смыслов. Праздники, таким образом, могут представлять как «изобретенные традиции», практики, институты, способы структурирования коллективных поведений и т.д. Данные подходы раскрывают различные стороны многообразного феномена, возможности его институционализации и эффективности. В качестве наиболее удобного, интегрирующего разные подходы, могло бы стать определение государственных праздников как «нестабильных символов», подчеркивающее их особый статус среди других государственных (национальных) символов (флага, герба, гимна). Повторяясь из года в год, они способны разыгрывать национальный нарратив. На наш взгляд, такое понимание в существенной мере могло бы объяснить упорное стремление российских властей сохранить ряд советских праздников, поддерживающих нарратив о «великой стране».

Литература

- 14 июля / Посольство Франции в России. – М., 2013. – Режим доступа: <http://www.ambafrance-ru.org/14-ИЮЛЯ> (Дата посещения: 17.01.2014.)
- Абрамян Л.А., Шагоян Г.А. Динамика праздника: структура, антиструктура, гиперструктура // Этнографическое обозрение. – М., 2002. – № 2. – С. 37–47.
- Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. – СПб.: Азбука-классика, 2004. – 480 с.
- Батай Ж. Запрет и трансгрессия / Пер. с фр. Е. Герасимовой. – 2003. – Режим доступа: <http://vispir.narod.ru/bataj2.htm> (Дата посещения: 18.01.2012.)
- Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. – 2-е изд. – М., 1990. – 543 с.
- Бенифанд А.В. Праздник, сущность, история, современность. – Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1986. – 140 с.
- Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания. – М.: Медиум, 1995. – 323 с.
- Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть / Пер. с фр. С.Н. Зенкина. – М.: Добросвет, 2000. – 387 с.
- Бурдьё П. Начала. Choses dites / Пер. с фр. Шматко Н.А. – М.: Socio-Logos, 1994. – 288 с.
- Бурдьё П. О производстве и воспроизводстве легитимного языка. – М., 2005. – Режим доступа: <http://www.strana-oz.ru/?numid=23&article=1040> (Дата посещения: 18.01.2012.)
- Бурдьё П. Практический смысл / Пер. с фр.: А.Т. Бикбитов, К.Д. Вознесенская, С.П. Зенкин, Н.А. Шматко; Отв. ред. пер. и послесл. Н.А. Шматко. – СПб.: Алетейя, 2001. – 562 с.
- Бурдьё П. Социология социального пространства / Пер. с фр., общ. ред. Н.А. Шматко. – СПб.: Алетейя, 2007. – 288 с.
- Генкин Д.М. Массовые праздники: Учеб. пособие для студентов ин-тов культуры. – М.: Просвещение, 1975. – 256 с.
- Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структуризации. – 2-е изд. – М.: Академический Проект, 2005. – 528 с.
- Гуревич А.Я. Проблемы средневековой народной культуры. – М.: Искусство, 1981. – 358 с.
- Жигульский К. Праздник и культура / Пер. с польск. – М.: Прогресс, 1985. – 336 с.
- Здравомыслова Е., Темкина А. Октябрьские демонстрации в России: От государственного праздника к акции протеста // Сфинкс. – СПб., 1994. – № 2. – С. 76–99.
- Каган М.С. Философская теория ценности. – СПб.: Петрополис, 1997. – 205 с.
- Кудайбергенов Б.К., Иванов О.Е., Сапронов П.А. Культура современных праздников и обрядов. – Элиста: Калмыкское книжное изд-во, 1986. – 71 с.
- Лаврикова И.Н. Краткий экскурс в теорию праздника // Вестник Челябинского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Культурология. – Челябинск, 2011. – № 2 (217), Вып. 20. – С. 74–78.
- Лаврикова И.Н. Политический праздник в системе культуры: Науч. монография. – 2-е изд., доп. – Тверь, 2013. – 242 с.
- Лаврикова И.Н. Сфера праздничного – зона идеологического // Свободная мысль. – М., 2012. – № 3–4. – С. 187–194. – Режим доступа: http://www.intelros.ru/pdf/svobodnay_misl/3-4-2012/17.pdf (Дата посещения: 06.12.2013.)

- Леви-Стросс К. Мифологики: в 3 т. – М.; СПб.: Университетская книга. – Т. 3: Происхождение застольных обычаев. – 461 с.
- Лихачев Д.С. Смех в Древней Руси // Лихачев Д.С. Избранные работы: в 3-х т. – Л.: Худож. литература, 1987. – Т. 2. – С. 343–418.
- Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства, (XVIII – начало XIX века). – 2-е изд., доп. – СПб.: Искусство-СПБ, 2011. – 413 с.
- Луман Н. Реальность массмедиа / Пер. с нем. А.Ю. Антоновского. – М.: Практикс, 2005. – 256 с.
- Мазаев А.И. Праздник как социально-художественное явление. – М.: Наука, 1978. – 393 с.
- Малинова О.Ю. Символическая политика: Контуры проблемного поля // Символическая политика: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. полит. науки; Отв. ред.: Малинова О.Ю. – М., 2012. – Вып. 1: Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс. – С. 5–16.
- Мосс М. Общества. Обмен. Личность: Труды по социальной антропологии / Пер. с фр., послесл. и коммент. А.Б. Гофмана. – М.: Наука: Главная редакция восточной литературы, 1996. – 369 с.
- Некрылова А.Ф. Традиции русской культуры в массовых народных праздниках. – М.: МК РФ: ГИВЦ, 1995. – 256 с.
- Некрылова А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища: Конец XVII – начало XX века. – СПб.: Азбука-классика, 2004. – 256 с.
- Праздник // Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка / РАН. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., доп. – М.: Азбуковник, 1997. – С. 578.
- Праздник // Толковый словарь русского языка: в 4 т. / Под ред. проф. Д.Н. Ушакова. – Т. 3. – М., 1935–1940. – С. 699.
- Пропп В.Я. Русские аграрные праздники: Опыт историко-этнографического исследования. – М.: Лабиринт, 2009. – 176 с.
- Рольф М. Советские массовые праздники. – М.: РОССПЭН, 2009. – 440 с.
- Тернер В. Символ и ритуал / Сост. и автор предисл. В.А. Бейлис. – М.: Наука, 1983. – 277 с.
- Топоров В.Н. Праздник // Мифы народов мира: Энциклопедия. – М.: Наука, 1980. – Т. 2. – С. 329–331.
- Фуко М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью / Пер. с фр. С.Ч. Офертаса; Под общ. ред. В.П. Визгина и Б.М. Скуратова. – М.: Практикс, 2002. – 384 с.
- Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. – М.: Прогресс, 1992. – 462 с.
- Юдин Н.Л. Социальный смысл праздника. – М.: Независимый ин-т гражданского общества, 2006. – 154 с.
- Geisler M. The calendar conundrum: National days as unstable signifiers // National day's: Constructing and mobilizing national identity / Ed. by McCrone D., McPherson G. – N.Y.: Palgrave Macmillan, 2009. – P. 10–25.
- National day's: Constructing and mobilizing national identity / Ed. by McCrone D., McPherson G. – N.Y.: Palgrave Macmillan, 2009. – 283 p.
- The invention of tradition / Ed. by Hobsbawm E. and Ranger T. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1983. – 320 p.

ТЕМА ВЫПУСКА: ТЕМПОРАЛЬНЫЕ ПРОЕКЦИИ СИМВОЛИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

К.Ф. Завершинский

СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА КАК СОЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ ТЕМПОРАЛЬНЫХ СТРУКТУР СОЦИАЛЬНОЙ ПАМЯТИ

*Господство легитимируется ретроспективно
и увековечивается проспективно.*
[Ассман Я., Ассман А., 2010]

В научных исследованиях феномена «символической политики» значимость его темпоральных измерений достаточно очевидна. Это отчетливо прослеживается в конструктивистских, наиболее перспективных, на наш взгляд, стратегиях исследования «символической власти». Следуя интеллектуальным интенциям Тёна А. ван Дейка, специфику символической власти и, соответственно, *символической политики* следует связывать с активностью властных элит по управлению и контролю *за доступом к публичному дискурсу* других групп. Подобная власть реализуется на основе имеющегося у подобных групп символического капитала, используемого ими для социального конструирования и поддержания дискурсивных структур, что обеспечивает их политическое доминирование посредством контроля «над сознанием аудитории» [см.: Дейк, 2013, с. 32]. Тем самым, исследование символической политики призвано дать ответы на вопросы: *кто и как осуществляет контроль над публичным дискурсом* во всех его многообразных *семиотических проявлениях, кого и как исключают* из процесса *публичных репрезентаций* на различных уровнях социальных взаимодействий [см.: Dijk, 2010, p. 14]?

Так или иначе, несмотря на нюансы аналитических различий, многие отечественные исследователи символической политики разделяют подобные методологические установки, полагая, что символическая политика связана с производством «способов интерпретации социальной реальности и борьбой за их доминирование», способов символической репрезентации и легитимации многообразных практик политического господства [см.: Малинова, 2012, с. 10; Поцелуев, 2012]. При этом дискурс-анализ и междисциплинарные теории дискурсивного и семиотического исследования рассматриваются как теоретико-методологическое ядро изучения символической политики, а в качестве важных измерений продуцирования символического доминирования выступают «история и культура» [Dijk, 2010, p. 16–17].

Научная актуальность обращения к проблеме темпоральных измерений символической политики обусловлена также тем, что коммуникативная действительность современного мира существенно изменилась и не укладывается более в традиционные способы описания символического конструирования и политической легитимации. Отчасти это является следствием умножения гибридных идентичностей, которые возникают, с одной стороны, под влиянием новых символических кодов и сетевых структур глобализирующегося общества, а с другой – в результате сопротивления их социокультурному влиянию на национальном и локальном уровнях. Это актуализирует проблему описания темпоральной динамики новых социальных «мобильностей» и их символических репрезентаций, которые зависят от «фактора времени», особенностей «различных режимов времени», что делает время «центральным звеном рассуждений» в рамках формирующейся «преобразованной» междисциплинарной социологии [Урри, 2012, с. 154–157].

Вместе с тем вполне очевидно и то, что подобные методологические интенции достаточно далеки от оформления в некую целостную и операционализируемую для прикладных исследований стратегию темпоральных измерений символического доминирования. В основном в темпоральных измерениях символических объектов и форм в прикладной социологии, пусть и в несколько редуцированном виде, так или иначе воспроизводится эпистемологическая дихотомия «культуры» и «социальной структуры», когда символическая составляющая рассматривается как производная так или иначе понимаемой «культуры» или «структуры». Несмотря на наличие работ, подвергающих подобную исследовательскую

установку деконструкции в логике структуралистских и пост-структуралистских подходов, она нередко в снятом виде воспроизводится при описании темпоральной компоненты социально-политических процессов.

Теоретико-методологические проблемы темпоральных измерений символической политики

В работах, нацеленных на многоуровневый дискурс-анализ или эмпирическое обоснование общетеоретических посылок, значимость темпоральных измерений и «временной составляющей» социальных взаимодействий (социальное время) часто рассматривается в качестве общего «культурно-исторического контекста», «опыта» дискурсивного производства. Даже в весьма обстоятельных и содержательных конкретно-исторических дискурсивных исследованиях содержание символических практик политической легитимации остаются когнитивные лакуны при описании темпоральных измерений подобных процессов. Показательна в этом отношении весьма содержательная и академически обстоятельная работа Грема Гилла по исследованию символических практик политической легитимации в советском обществе. Он видит решение проблемы комплексного анализа специфики реализации символической политики на различных уровнях политического дискурса («идеология», «метанарратив», «миф») в исследовании политической эволюции «метанарратива» как методологического «ключа» к пониманию генезиса и развития символической политики «в настоящем» и ее «траектории в будущем». Прделанный им анализ символического содержания политического метанарратива («язык», «визуальное искусство», «символическая оформленность повседневной жизни», «ритуалы») как упрощенного символического основания идеологического дискурса и символического конструирования политического мифа в индустриальных обществах позволил выявить роль символической политики в интеграции и синхронизации политических взаимодействий. Однако утверждая, что метанарратив, мифы и символы меняют политическое пространство и время [Gill, 2011, p. 20], он по сути ограничивается реконструкцией синхронизирующей функции символической политики, вынося за скобки вопрос о единстве синхронизирующей и диахронной функций политического времени в символическом конструировании. В немалой степени это предопределяется тем,

что Г. Гилл (как и многие другие исследователи) рассматривает в качестве важнейшего индикатора эффективности символической политики ценностный консенсус [Gill, 2011, p. 18].

Подобная посылка весьма спорна, особенно при анализе символической политики в реалиях современных коммуникаций. За выстраиванием аксиоматики политических значимостей и иерархии предпочтений при планировании политических действий скрывается стремление различных символических элит к ценностной мотивации политических решений. Это представляется необходимым для предотвращения рисков спонтанного насилия в процессе реализации политических проектов, а также с учетом потребности легитимировать собственную аксиоматику согласия и спрогнозировать возможные коммуникативные сбои. Следует учитывать, что ценности, ценностные обоснования – это «слепые пятна» [Луман, 1991, с. 206], которые хотя и побуждают политических акторов к поиску символов согласия («схем согласия») на основе разграничения «истинных» политических ценностей и антиценностей («политического цинизма»), сами по себе не выступают в качестве основы для символического структурирования политических коммуникаций во времени.

Достаточно распространены в отечественных культурфилософских и политико-культурных исследованиях анализ исторических оснований символических форм власти в связи с особенностями социально-психологического или идеологического восприятия социального времени как «циклического», «линейного», «спиралевидного» или «ковариантного» весьма часто порождает концептуальные натяжки при переходе к прикладным исследованиям символической политики в конкретном «пространственно-временном континууме». Это достаточно ясно прослеживается в поисках «ментальных матриц» и символических кодов «русской власти», обнаруженных в контексте ложной оппозиции универсального циклизма или линейности (их комбинаций) исторического процесса. Результатом использования такого рода конструкций в конкретно-исторических исследованиях оказывается описание политических изменений и возникающих различий с позиций морализирующего «идеолога-наблюдателя», стремящегося отыскать «духовные основания» современного кризиса или «возрождения» солидарной символической политики в частных практиках прошлого.

Вторая тенденция, связанная с трактовкой времени как производной от социальных структур, не исчезает и в «преобразованных социологиях». Упомянутая выше посылка сторонников «мобильных

социологий» о ключевой роли пространственно-временных параметров «распределения людей и поступков» также не вполне пригодна для прикладных исследований темпоральных измерений символической политики. Подобная теоретическая стратегия используется преимущественно для описания и измерения нового качества организации «перемещаемости» в социальном пространстве, а не собственно культурных кодов символического конструирования. Время, по сути, остается «фактором» («ресурсом») «реальной» политики в социальном пространстве, влияющим на темпы, интенсивность и длительность реализации политики вообще и использования символического капитала в многообразных социальных пространствах в частности. Изучение же «телесных», «физических», «воображаемых», «виртуальных» и иных «пространственно-временных модальностей» трансформируется в «мобильную социологию места». Временные рамки сохраняют характер неких внешних дополнительных «скреп», многообразных комплексных мобильных систем («человеческих» и «нечеловеческих») в социальном пространстве [см.: Урри, 2012 а, с. 134–145]. Темпоральность и в этом случае выступает «зависимой переменной», производной от вариативных структур социального пространства.

Вместе с тем, на наш взгляд, существует, пусть не в виде целостной теории, междисциплинарный теоретико-методологический инструментарий, позволяющий обозначить контуры исследовательской программы, способной обеспечить концептуальную «переводимость» и методологическую комплементарность при изучении темпоральной составляющей в прикладных социологических и политологических исследованиях. Представляется перспективным изучение темпоральных измерений символической политики с помощью методологического инструментария описания временных структур социальной памяти, предопределяющих динамику и направленность способов символической оформленности социальной реальности.

Темпоральные измерения социально-политической памяти

Исследования «социальной», «культурной» и «исторической памяти» достаточно широко представлены в дискурсе социологии и исторической науки двух последних десятилетий. Последний, в свою очередь, опирается на достаточно долгую традицию осмысления «памяти» как важнейшего модуса человеческого существования в философии культуры и социальной психологии. Новый

импульс подобного рода исследованиям придали политические и идеологические трансформации постсоветского и постсоциалистического пространства, побудившие сосредоточить внимание на изучении процесса институционализации современных способов символического конструирования социальной памяти: «политики памяти», «политики идентичности», «политизации истории» и «исторической политики»¹. Вместе с тем существующие научные концептуализации феномена «социальная память» и расширение предметного пространства «исследований памяти», политических практик ее социального конструирования сохраняют семантическую и методологическую размытость.

Можно согласиться с Тёном А. ван Дейком, что хотя общая структура социальной памяти до сих пор не известна, исследование социально-политической памяти возможно как изучение процесса конструирования на основе «знаний, позиций, идеологий и норм, когнитивных моделей» [Дейк, 2013, с. 208, 215]. Когнитивные процессы и репрезентации, как отмечает нидерландский ученый, определяются относительно абстрактной ментальной структурой, которую он называет «мемор» и описывает как «кратковременную» и «долговременную память». Долговременную память он, в свою очередь, разделяет на эпизодическую и семантическую (социальную) [см.: Дейк, 2013, с. 197–200]. Информация в социальной памяти организована на основе ментальных репрезентаций (ментальных структур). Субъекты в результате динамики подобных структур порождают модели событий и действий (событийные модели), определяющие содержание значений дискурсов и обеспечивающие связь и синхронизацию кратковременной памяти (личностной) и социальной. Вместе с тем подобные теоретические суждения нуждаются в уточнении, поскольку, как замечает сам нидерландский исследователь, при трактовке структур социальной памяти он отталкивается от категориального аппарата психологии, характеризуя модели действий как субъективно-оценочные репрезентации («субъективные характеристики политического позна-

¹Перспективы исследования феномена «исторической памяти», возможности использования и развития методологического инструментария ее анализа в контексте социологии политического коммуникативного процесса и политической легитимации более подробно представлены в работе автора, вошедшей в первый выпуск сборника научных трудов «Символическая политика» [см.: Завершинский, 2012; и также см.: Завершинский, 2013].

ния»), детерминируемые культурной средой как основой коммуникаций и интеракций в обществе. Выше уже отмечались методологические ограничения исследования темпоральных измерений символической политики как «вторичных» производных от пространственных измерений или субъективно переживаемого опыта реализации политических решений.

На наш взгляд, для социологического и политологического описания «темпоральной составляющей» дискурсивных структур символической политики более продуктивно понимание *времени* как специфического «измерения смысла» *событий политической коммуникации*, где символическое является замещением «множества» этих событий, являясь их «архивированной» презентацией. Определяющую роль в подобном конструировании и структурировании социальных событий (смысловых комплексов) играет символическое конструирование «темпорального режима» политических коммуникаций, где «память социальной системы», как динамическая взаимосвязь символических схем *ретроспекций* и *проекций* политических событий, является своего рода символическим ядром. Темпоральная составляющая символической политики проявляется в семантических практиках создания, поддержания или разрушения подобных проекций и, следовательно, динамики социальных идентичностей и дискурсов их политического доминирования. «Время» в рамках подобной теоретической установки не рассматривается в качестве «вторичной переменной», а выступает конституирующей структурой, «горизонтом смысла» для участников коммуникаций и «наблюдателей» символических практик конструирования социальных идентичностей.

Наиболее перспективными для исследования темпоральных структур символической политики и разработки теории политической памяти как своего рода теории «промежуточного уровня», по нашему мнению, оказываются методологические послылки, представленные в моделях социальной памяти немецких исследователей Яна и Алейды Ассман, а также близких им по научной интенции коллег. Их подход является результатом междисциплинарного синтеза исследования социальной памяти в антропологически ориентированной истории, структурализме и теории социокультурных коммуникаций. Это позволяет связать общесоциологические послылки коммуникативного процесса с теорией дискурсивного анализа и исторической реконструкцией символических практик политического доминирования.

Не следуя строго всем общим теоретическим посылкам Яна и Алейды Ассман, остановимся на тех содержательных аспектах их работ, которые представляются нам наиболее значимыми для разработки методологического инструментария анализа темпоральных измерений социальной памяти и дискурсивного анализа содержания символической политики¹.

В трактовке Я. Ассмана социальная, культурная память – это комплекс обеспечивающего идентичность знания, смыслов, объективированных в символических формах [см.: Ассман Я., 2004, с. 16, 64, 71, 82]. В этой эпистемологии темпоральные рамки социальной памяти рассматриваются в качестве самодостаточного символического параметра культурных коммуникаций. Показательно в связи с этим его суждение, что «*синтез времени и идентичности осуществляется посредством памяти*» [см.: Assmann J., 2010, р. 109]. При этом он замечает, что понятие памяти – это не метафора, а метонимия, нацеливающая на выявление, артикуляцию связи идентичности и времени, где память выступает своего рода темпоральной структурой, предопределяющей специфику отношений идентичности и времени, символической взаимосвязи между «вспоминающим разумом и напоминающими объектами» [см.: Assmann J., 2010, р. 109–110]. Всякое «вспоминание», как постоянно подчеркивает Я. Ассман в своих работах, – это, прежде всего, акт семиотизации и символизации.

Подобную связь времени, идентичности и памяти, следуя теоретической интенции немецких исследователей, можно описать в трех темпоральных измерениях: персональном, социальном и культурном, где «культурная память» – разновидность идеального «института презентации», комплекс «мнемонических институтов»

¹Обобщая и интерпретируя теоретическое наследие немецких исследователей, мы «ослабляем» их методологические акценты при описании функционирования «культурной памяти» как «придания постоянства», «повторяемости» возникающих культурных стереотипов и идентичностей. Поскольку, на наш взгляд, это ограничивает возможности исследования современных форм социальной памяти, которые в своей динамике ближе к концептуализации культуры как исторической формы «мобильной памяти», соединяющей идентичности прошлого с идентичностями настоящего для предвосхищения будущих коммуникаций [см.: Луман, 2005, с. 195–209]. И наоборот, усиливаем присущую их видению временной динамики памяти рефлексии о памяти как символическом «органе диахронии», осуществляющую «расширение во времени» посредством продуцирования различий.

и специфических символических форм их объективации, что обеспечивает ее относительную «долговременность» [см.: Assmann J., 2010; Assmann A., 2010; Ассман Я., Ассман А., 2012]. Подобная объективация обеспечивается символической фиксацией «точек» во времени. Описывая динамику памяти с точки зрения качества ее структурированности как «накапливающую» (менее структурированная и спонтанная) и «функциональную» (обосновывающая настоящее на основе конкретного прошлого), Алейда и Ян Ассман последние рассматривают в качестве основания для оформления политических идентичностей и символической политики. Реализуя функции легитимации или делегитимации через поддержание динамичного баланса в воспоминаниях властвующих и подвластных, функциональная память порождает формы политической памяти, создавая особые идентичности (этнополитические, национальные) и символическую политику сохранения памяти. Национальная память как историческая модификация политической памяти выступает наиболее эффективным способом поддержания и реконструкции семантически значимого прошлого в силу своей временной структуры, обеспечивающей большую «растяжимость во времени», играет ведущую роль в легитимации политических институтов и конструировании политической идентичности посредством символизации событий героического и жертвенного [см.: Assmann A., 2006].

Алейда Ассман, отталкиваясь от теоретических интенций Яна Ассмана о культурной памяти как «мнемонического института», интерпретирует социальную память как культурный, смысловой горизонт, который выступает своего рода «пластичной властью», «фильтром», осуществляющим контроль за отбором того, какие социальные события являются «жизненно важными», а что подлежит забвению и вытеснению на периферию. Именно этот «горизонт» определяет появление и специфику социальных идентичностей, возникновение устойчивых взаимосвязей между персональной памятью и памятью группы [см.: Assmann A., 2006; Ассман А., 2012].

Опираясь на эти теоретические послышки, А. Ассман вводит понятие «временной режим культуры», обозначающее, как она отмечает, «темпоральную организацию и ориентацию, укорененные в культуре», как основу для возникновения когнитивных схем коллективных взаимодействий [Ассман А., 2012]. Специфику временного режима Нового времени, для которого характерно структурирование событий из «настоящего», она характеризует как

«время разрыва», «фиктивное новое начало», «творческое разрушение», «возникновение понятия “исторического”», «ускорение», опираясь (что симптоматично) на семантический анализ, представленный в рамках немецкой школы «истории понятий» Р. Козеллека. Идеи интеллектуального лидера этого научного направления о «темпоральных внутренних структурах понятий» [см.: Козеллек, 2010], определяющих эволюцию семантического содержания текстов и специфику социальных ожиданий в обществе, весьма хорошо дополняют обозначенную А. Ассман стратегию изучения символических структур социальной памяти. Именно структуры социальной памяти, на наш взгляд, являются своего рода символическими границами, неким виртуальным «резервуаром» возникающих смыслов. Эти структуры определяют темпоральность социальных концептов, которые отражают ожидания людей, описывают разрушение / появление новых идентичностей и их институциональный дизайн, ориентируя участников коммуникаций на «настоящее», «прошлое» или «будущее».

Методологические стратегии, основанные на «попытках обойти исторические феномены с фланга» [см.: Артог, 2008], рассмотрение исторических событий как «производных» от темпоральных структур, «порядка времени» могут использоваться для сравнительного политологического анализа в рамках прикладных исследований. Так, подобные установки и способы анализа символической политики прослеживаются в работах по сравнительному исследованию «темпоральных культур» («темпоральных» кодов) тоталитарных и авторитарных политических режимов. Это позволяет прояснить специфику практик легитимации и причины эффективности / неэффективности политики элит в зависимости от их темпоральной ориентированности на «прошлое» или «будущее» как «мерило» настоящего [см.: Сабров, 2009]. На основе подобной методологии возможна эвристическая трансформация исследовательской программы политической культуры как ценностных ориентаций в комплексную теорию культуры политических коммуникаций, а политическая легитимация может быть тематизирована существенно вариативней.

Перспективы дальнейших исследований темпоральных структур символической политики

Обозначенные методологические возможности исследования темпоральных измерений символической политики оставляют множество незаполненных и непроясненных в теоретическом плане лакун, связанных: с концептуальной совместимостью теории политической памяти с теорией политической культуры и политической легитимации; с основаниями типологизации темпоральных режимов политической памяти и характера их взаимосвязи; со спецификой смыслового содержания базовых политических событий, наконец, с приоритетами в выборе стратегий дискурс-анализа при описании структур и объектов политической символизации. Отдельную проблему составляет исследование темпорального режима символической политики в условиях глобализирующегося мира, когда меняется характер воспроизводства «политического», а сетевые коммуникации ведут к дефрагментации национальной памяти.

Вместе с тем подобная стратегия позволяет, с одной стороны, преодолеть нормативизм и аксиологизм, свойственный более традиционным интерпретациям символических феноменов при описании их влияния на социальные процессы в современном обществе. С другой – преодолеть издержки осмысления временной составляющей символической политики как некой «зависимой» от пространственных и технологических параметров социальных коммуникаций, отчетливей выявить «независимость», относительную автономность временных структур в символической динамике. На основе артикуляции темпоральных «рамок» социальной памяти можно более комплексно использовать уже имеющиеся способы структурирования, классификации и содержательного анализа символических форм и практик символической политики.

Это актуализирует теоретические суждения авторитетного исследователя символических измерений коммуникативного процесса Н. Лумана, который акцентировал внимание на том, что история может конституироваться только «во времени как особом измерении смысла» и не должна оставаться историей «фактической последовательности событий», где «настоящее постигается как результат прошлых и будущих действий» [Луман, 2007, с. 122]. Именно «смысловая история» обеспечивает «свободный

доступ к смыслу прошлых и будущих событий...» [Луман, 2007, с. 122], открывая возможности для контроля за социальным конструированием политического времени посредством символической политики.

Литература

- Артог Ф.* Порядок времени, режимы историчности // Неприкосновенный запас. – М., 2008. – № 3 (59). – Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/nz/2008/3/ag3-pr.html> (Дата посещения: 10.01.2014.)
- Ассман Я.* Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности / Пер. с нем. М.М. Сокольской. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 368 с.
- Ассман А.* Трансформации нового режима времени // НЛЮ. – М., 2012. – № 116. – Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/nlo/2012/116/a4-pr.html> (Дата посещения: 10.01.2014.)
- Дейк Т.А. ван.* Дискурс и власть: Репрезентация доминирования в языке и коммуникации / Пер. с англ. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. – 344 с.
- Ассман А., Ассман Я.* День вчерашний в дне сегодняшнем: Средства массовой информации и социальная память // Уроки истории XX века. – М., 2012. – 24 декабря. – Режим доступа: <http://www.urokiistorii.ru/memory/research/51658> (Дата посещения 10.01.2014.)
- Завершинский К.Ф.* Символические структуры политической памяти // Символическая политика: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. полит. науки; Отв. ред.: Малинова О.Ю. – М., 2012. – Вып. 1: Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс. – С. 149–163.
- Завершинский К.Ф.* Легитимация и делегитимация «советского» в политико-культурных практиках современной России // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6: Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения. – СПб., 2013. – Вып. 3. – С. 74–83.
- Луман Н.* Социальные системы. Очерк общей теории. – СПб.: Наука, 2007. – 643 с.
- Луман Н.* Тавтология и парадокс в самоописаниях современного общества // СОЦИО-ЛОГОС. – М., 1991. – С. 194–216.
- Луман Н.* Эволюция. – М.: Изд-во «Логос», 2005. – 256 с.
- Козеллек Р.* К вопросу о темпоральных структурах в историческом развитии понятий // История понятий, история дискурса, история менталитета: Сб. ст. / Под ред. Х.Э. Бёдекера; Пер. с нем. – М.: НЛЮ, 2010. – С. 21–33.
- Малинова О.Ю.* Символическая политика: Контуры проблемного поля // Символическая политика: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. полит. науки; Отв. ред.: Малинова О.Ю. – М., 2012. – Вып. 1: Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс. – С. 5–16.
- Поцелуев С.П.* «Символическая политика»: К истории концепта // Символическая политика: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. полит. науки; Отв. ред.: Малинова О.Ю. – М., 2012. – Вып. 1: Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс. – С. 17–53.

- Сабров М.* Время и легитимность в немецких диктатурах XX века (сравнительный анализ) // НЛЮ. – М., 2009. – № 100. – Режим доступа <http://magazines.russ.ru/nlo/2009/100/sa11-pr.html> (Дата посещения: 10.01.2014.)
- Урри Д.* Мобильности. – М.: Праксис, 2012 а. – 576 с.
- Урри Д.* Социология за пределами обществ: виды мобильности для XXI столетия. – М.: Изд. дом НИУ-ВШЭ, 2012 б. – 336 с.
- Assmann A.* Memory, individual and collective // The Oxford handbook of contextual political analysis / Ed. by R.E. Goodin and C. Tilly. – N.Y.: Cambridge univ. press, 2006. – P. 210–226.
- Assmann A.* Canon and archive // Cultural memory studies: An international and interdisciplinary handbook / Eds. A. Erll and A. Nünning. – Berlin; N.Y.: De Gruyter, 2010. – P. 97–108.
- Assmann J.* Communicative and cultural memory // Cultural memory studies: An international and interdisciplinary handbook / Eds. A. Erll and A. Nünning. – Berlin; N.Y.: De Gruyter, 2010. – P. 109–118.
- Dijk T.A. van.* Discourse and power. – N.Y.: Palgrave Macmillan, 2010. – 308 p.
- Gill G.J.* Symbols and legitimacy in Soviet politics. – N.Y.; Cambridge: Cambridge univ. press, 2011. – 356 p.

Т.П. Вязовик

**ВЕРСИЯ ПРОШЛОГО
КАК ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МИФ
(К ВОПРОСУ НАПИСАНИЯ ЕДИНОГО
УЧЕБНИКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ)**

Как известно, 19 февраля 2013 г. на заседании Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Путин предложил «подумать о единых учебниках истории России для средней школы, рассчитанных на разные возрасты, но построенных в рамках единой концепции, в рамках единой логики непрерывной российской истории, взаимосвязи всех ее этапов, уважения ко всем страницам нашего прошлого». По мнению президента, «нужно на конкретных примерах показывать, что судьба России созидалась единением разных народов, традиций и культур» [Путин, 2013]. Там же были заявлены важнейшие требования к учебникам: они «должны быть написаны хорошим русским языком» и «не иметь внутренних противоречий и двойных толкований» [там же]. Это требование, по мнению президента, должно быть обязательным ко всем учебным материалам. Тогда же были назначены исполнители: специалисты Минобразования, Российской академии наук, а также Исторического и Военно-исторического обществ, созданных незадолго до этого. В конечном итоге работу по выработке нового стандарта для единого учебника по истории возглавил председатель Государственной думы Федерального собрания РФ Сергей Нарышкин, являющийся по совместительству председателем Российского исторического общества (РОИ). В рабочую группу вошли историки, общественные деятели и учителя истории. 1 ноября, в соответствии с установленным регламентом, проект концепции нового учебно-методического комплекса по отече-

ственной истории был представлен на рассмотрение и утверждение президенту, после чего должен начаться конкурс среди издательств и авторских коллективов по написанию линейки учебников в соответствии с утвержденной концепцией. Завершение работы намечено на 2016 г.

Очевидно, что статус этого проекта выходит далеко за рамки учебника истории и носит государственный характер. Действительно, как убедительно показала в ряде работ О.Ю. Малинова, российская политическая элита начиная с 90-х годов активно, но не вполне успешно использует отечественное прошлое в целях легитимации власти формирующегося политического режима и конструирования новой макрополитической идентичности [Малинова, 2012]. Как отмечает А.И. Миллер, в «войнах памяти» 2000-х годов значительную роль сыграли экспертные сообщества. И если до 2013 г. инициатива в значительной степени исходила от «оппозиционной» части экспертного сообщества – сайта «Полит.Ру», журнала «Pro et contra», клуба «Билингва» и др., – то сейчас именно власть стремится определять повестку по вопросам политической памяти, используя для этого созданные при ее участии общественные организации, – такие как Ассоциация школьных учителей истории и обществознания (сопредседатели – академик Александр Чубарьян и ректор РГГУ Ефим Пивовар, создана в 2010 г.), Российское историческое общество и Военно-историческое общество (созданы в 2012 г.) [Миллер, 2013].

Потребность в конструировании «единого» прошлого обусловлена тем, что Россия в настоящий момент переживает глубокий системный кризис идентичности [Ильин, Михайлова, 2012]. Одним из его проявлений можно считать стремление региональных элит использовать административный ресурс для конструирования региональных идентичностей, вступающих в противоречие с российской «макроидентичностью» [Головнёва, 2013], что выражается и в содержании региональных учебников истории.

Проект единого учебника истории вполне можно рассматривать как очередной этап на пути конструирования общероссийской идентичности, тем более что школа – «один из важнейших институтов идеологии» (Альтюссер), поскольку берет на себя функции воспитания граждан в необходимом власти ключе. Надо отметить, что Россия не одинока на этом пути, что блестяще показал Ферро в своем исследовании «Как преподают историю в школах разных стран мира» [Ферро, 1992].

Собственно, власть, заказывая сообществу историков новую концепцию, не скрывает заинтересованности в идеологической унификации школьного курса истории. Как утверждается в тексте концепции, историко-культурный стандарт, являющийся ее ядром, «содержит принципиальные оценки ключевых событий прошлого, основные подходы к преподаванию отечественной истории в современной школе с перечнем рекомендуемых для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий» и «представляет собой научную основу содержания школьного исторического образования» [Концепция нового учебно-методического комплекса... 2013].

Встает закономерный вопрос: какую историю будет содержать такой учебник? Как известно, история как наука тесно переплетена с мифом. Это определяется не только тем, что архаичные мифы являются первоначальной формой самосознания общества и именно из них «вырастает» история, но и тем, что, строго говоря, любое историческое описание представляет собой интерпретацию исторических фактов, которые всегда неполны, и отражает логику действий, которая отличается от современной, что неизбежно обуславливает элемент субъективности. Эта особенность исторического знания, в числе других причин, предопределяет наличие множества интерпретаций и реинтерпретаций, казалось бы, уже закреплённых в исторических анналах фактов, – данное обстоятельство еще в XIX столетии отразил в своем труде «История русского самосознания» М.О. Коялович [Коялович, 1997]. Однако там, где появляется субъективность в освещении тех или иных событий и в оценке тех или иных документов, возникает возможность использования их в конкретных личных или политических целях [Данилевский, Андреев, 2010]. Существующий «зазор» между реальностью прошлых эпох и репрезентациями этой реальности, с которыми имеет дело историк, не только «обуславливает появление новых методов исторического исследования» [Стаф, 2006], но может быть источником создания мифологических повествований. Это обусловлено тем, что в любом историческом знании в той или иной форме существуют элементы мифологического, т.е. фантастического, представления об исторической реальности, которые для исторического знания являются второстепенными, хотя и обязательными. Элементы вымысла могут присутствовать в определении исторических дат, описании событий, характеристике персон и пр. [Колдыбаев, 2013]. Эта существенная черта исторического знания используется сегодня государственной властью для создания такой версии отечественного

прошлого, которая могла бы консолидировать общество и способствовать выработке коллективного политического самосознания, в то же время легитимируя власть и режим.

Сегодня, как и в древние времена, миф выполняет не столько познавательно-теоретическую, сколько социально-практическую функцию и направлен на обеспечение единства и целостности коллектива [Кессиди, 1972, с. 45]. Современное цивилизованное общество характеризуется «возрождением иррациональности». При этом «вытесненная из экономики наукой и техникой, иррациональность сосредоточивается на власти и становится ее стержнем. Это явление нарастает» [Московичи, 1996, с. 61], о чем можно судить по накалу страстей вокруг циркулирующих в российском дискурсе исторических мифов [Евгеньева, 2005]. При этом в отличие от архаического, современный миф совмещает иррациональные и рациональные черты. По словам Кассирера, политик «обязан действовать одновременно и как homo magus, и как homo faber. Политик – священник новой, совершенно иррациональной и загадочной религии. Но когда он пропагандирует эту религию, то действует исключительно методично. <...> Именно эта странная комбинация двух разнородных качеств является одной из отличительных черт наших политических мифов», а именно – «миф создается в соответствии с планом. Новые политические мифы не возникают спонтанно, они не являются диким плодом необузданного воображения. Напротив, они представляют собой искусственные творения, созданные умелыми и ловкими “мастерами”» [Кассирер, 2000, с. 580].

Оценивая концепцию нового учебно-методического комплекса по отечественной истории как сконструированную версию прошлого, следует уделить внимание: 1) утверждаемой ею системе ценностей; 2) устанавливаемым ею принципам изложения национального прошлого; 3) ее адекватности поставленным задачам.

Прежде чем отвечать на вопрос о том, какую систему ценностей закладывают в исторический миф о России авторы концепции, стоит отметить, что ключевой задачей является именно унификация истории, преподаваемой в школе: Как отметил министр культуры Владимир Мединский, «сейчас в стране около 110 учебников истории, и это только те, которые рекомендованы Министерством образования» [Брилев, 2013]. В них содержатся разные схемы интерпретации событий прошлого, отражающих разные идеологические перспективы. Сергей Соловьёв проделал анализ существующих учебников с точки зрения их идеологической на-

правленности, выделив несколько типов. Первую группу составляют учебники неолиберальной направленности, включающие миф об СССР как «тоталитарном государстве», которому в качестве положительного идеала противопоставляется дореволюционная Россия [см.: Ионов, 2000; Островский, Уткин, 2002; Алексашкина и др., 2003]) Во вторую группу входят учебники, отражающие «государственный» или «имперский» миф и так или иначе утверждающие модернизированную уваровскую триаду «православие, самодержавие, народность» с отчетливым националистическим акцентом [см.: Киселев, Попов, 2007; Сахаров, Боханов, 2003]; а также одиозный учебник А.Н. Боханова [Боханов, 1998], который представляет собой «переписанный дореволюционный монархический официоз с яростными филиппиками против либералов и революционеров, где среди заданий после параграфа можно было встретить требование “сформулировать основные проповеди Иоанна Кронштадтского”» [Соловьёв, 2009]. К третьей группе Соловьёв относит учебники, содержащие массовые мифы, далекие от науки, например учебник «Отечественная история» Алексева С.В., Володихина Д.М., Елисева Г.А., в котором утверждается, что славянская языковая общность появилась в III тыс. до н.э., а славяне были известны древним грекам [Алексеев, Володихин, Елисеев, 2006]. При этом рассказ о становлении «русской цивилизации» сопровождался клеймением ее противников, от ереси жидовствующих через Петра I, Новикова, Радищева и декабристов – к еретикам Льву Толстому [Соловьёв, 2009]. С учетом такого разброса мнений вполне объяснимо стремление выработать «единый» подход к национальному прошлому. Примечательно, что во всех проанализированных им учебниках С. Соловьёв обнаружил апологетическое отношение к РПЦ и к государственной деятельности Владимира Путина. Кроме того, общим трендом выступает идея преемственности: от самодержавия – к современной власти. Именно эта идея является центральной и в официальной риторике В. Путина и Д. Медведева.

Какие же ценности отстаивают авторы концепции? Конечно же, центральная роль отводится идее единства России как многонационального государства. В частности, представляя концепцию на заседании Совета РОИ, С. Нарышкин привел слова В.И. Вернадского, произнесенные еще в 1920 г.: «Россия будет обязательно единой, может быть, федеративной, но единой, и новая русская интеллигенция будет ценить это единство» [Стенограмма... 2013, с. 4].

Задача консолидации общества побуждает авторов ввести в текст проекта понятие истории как «общественного договора» по поводу дискуссионных вопросов отечественной и всеобщей истории [Концепция нового учебно-методического комплекса... 2013, с. 3] Причем, по мнению С. Нарышкина, авторам удалось найти согласие по тем вопросам, которые объединяют общество, хотя споры по российской истории безусловно будут продолжаться [Работа над Концепцией... 2013].

В основу истории как «общественного договора» были положены высказанные Владимиром Путиным идеи о России как великой державе, (1) воспроизводящей себя на протяжении тысячелетий, (2) обладающей обширными пространствами, (3) сумевшей сохранить уникальное сообщество народов [см.: Путин, 2003; ср.: Путин, 2005; 2007; 2012].

Основной пафос концепции – «рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса; понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном мире» [Концепция нового учебно-методического комплекса... 2003, с. 4]. Это в высшей степени актуально для власти: чтобы пропагандируемая ею идея сильного государства, выступающего в качестве равного игрока в мировой политике, не «провисала» в разъедаемом коррупцией государственном организме, общество должно поверить в такое государство, начать гордиться им и его историей.

Что же именно в нашей истории должно воспитывать патриотизм, гордость за страну?

Прежде всего – массовый героизм в военных победах в отечественных освободительных войнах 1812 г. и особенно – 1941–1945 гг. (учитель должен раскрыть «подвиг народа как пример гражданственности и самопожертвования во имя Отечества» [Концепция нового учебно-методического комплекса... 2003, с. 8]). Особое внимание предлагается уделить Великой Отечественной войне, которая занимает центральное место в современном нарративе национального прошлого. Память о ней оказалась очень удобна для конструирования идентичности сообщества, стоящего за новым российским государством. Как показала О.Ю. Малинова, символ победы в Великой Отечественной войне выполняет в современном официальном политическом дискурсе множество функций, в том числе – используется для репрезентации трех основных лейтмотивов национализма, выделенных Э. Смитом, – национальной идентичности, национального единства и национальной автономии [Ма-

линова, 2013 b, с. 175]. Победа не только рассматривается как общее достояние братских народов СССР, но и «имеет огромный символический потенциал для репрезентации нас как равных, и даже в некоторых отношениях превосходящих значимого Другого, традиционно именуемого “Западом”» [там же, с. 175–178]. Больше того, она дает возможность представлять Россию как защитницу «общечеловеческих», «европейских» ценностей – таких, как справедливость, свобода, права человека и прочный мир; при этом советское прошлое подвергается «либеральной» реинтерпретации. Подобная «нормализация» прошлого путем его переопределения в новых ценностных категориях предлагается и в Концепции.

На второе место в перечне национальных достижений выдвигается «великий труд народа по освоению громадных пространств Евразии с ее суровой природой, формирование российского общества на сложной многонациональной и поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали начала взаимовыручки, толерантности и веротерпимости» [Концепция нового учебно-методического комплекса... 2013, с. 8–9]. Важность этого аспекта вызвана современным состоянием межнациональных отношений, характеризующихся территориальными притязаниями, идеей возмездия за несправедливость в этнической политике прошлого, растущим национализмом.

Наконец, предметом гордости являются достижения отечественной науки и культуры, имеющие мировое значение. Понятие «мировое значение» лишено определенности и может быть наполнено различным содержанием – это демонстрируют списки персоналий – деятелей культуры «мирового значения», в которых можно обнаружить Б. Акунина, И.Д. Кобзона, В. Макаревича, С.В. Михалкова, А.Б. Пугачеву, Э.С. Пьеху и др. [см.: Концепция нового учебно-методического комплекса... 2003, с. 71].

Разумеется, курс отечественной истории не может обойтись без изложения ее трагических страниц, связанных со смутами, революциями, гражданскими войнами, политическими репрессиями и др. По мнению авторов концепции, при их описании необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания [Концепция нового учебно-методического комплекса... 2003, с. 9].

В учебниках должна также утверждаться идея о том, что присоединение к России – крупнейшей многонациональной и поликонфессиональной стране в мире – и пребывание в ее составе

имело положительное значение для народов нашей страны, обеспечивая их безопасность от внешних врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, экономическое развитие, распространение просвещения, образования, здравоохранения и др. Если учесть, что именно этнокультурная и поликонфессиональная рознь на просторах России затрудняет конструирование гражданской идентичности, акцент на этих проблемах вполне актуален.

В учебнике также рекомендуется уделить внимание идее гражданской ответственности (не забудем: Россия – демократическая республика), познакомив учащихся с историческим опытом гражданской активности (земские соборы, общины, посадское самоуправление, гильдии, научные общества, общественные организации и ассоциации, политические партии и организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т.д.), сословного представительства.

Наряду с этим следует включить в курс историю культуры, «имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю повседневности» [Концепция нового учебно-методического комплекса... 2003, с. 9]. При этом важно отметить неразрывную связь российской и мировой культуры.

Наконец, учитывая, что молодое поколение получает основную информацию из Интернета, предлагается выработать рекомендации для работы с интернет-ресурсами. Учебник должен стать «навигатором» в стремительно растущем информационном пространстве.

Концепция и будущий учебный комплект призваны утвердить в сознании учащихся идею о нашем государстве как из века в век воспроизводящей себя великой тысячелетней России, равной передовым странам Запада, которая обладает огромной территорией, населенной этнически и конфессионально разными народами, живущими в мире и согласии. Очевидно, что при разработке концепции главной проблемой стала необходимость согласования мировоззренчески разных позиций: как было показано на примере анализа школьных учебников, существующие схемы изложения отечественной истории отчетливо дихотомичны, либеральные версии противостоят консервативным и националистическим и т.п. А если учесть, что авторы должны были воплотить идеи власти, которые отличаются принципиальной эклектичностью и включают элементы разных идеологических конструкций [см.: Малинова, 2013 а, с. 333], задача составителей концепции оказывается исключительно трудной.

Разумеется, созданный властью идеальный образ нельзя было игнорировать. Вместе с тем нельзя было уйти от проблемы согласования представлений о прошлом с точек зрения имперского «центра» и «периферии», не говоря уже о необходимости учитывать непреложные исторические факты. В результате в целях примирения позиций пришлось корректировать привычные трактовки некоторых исторических фактов, что лишним раз подчеркивает роль политических соображений в конструировании официальной версии отечественной истории.

Например, в целях примирения позиций авторы концепции пошли навстречу татарским историкам, исключив термин «татаро-монгольское иго» и заменив его на нейтральное «зависимость русских земель от Золотой Орды», что, по мнению православного общества «Радонеж», может быть истолковано так, будто бы древнерусское государство входило в евразийское сообщество на условиях мирного вассалитета, сопровождавшегося «межгосударственным диалогом, который спокойно завершился после исчезновения Золотой Орды» – что, по их мнению, не соответствует истине [Представители РПЦ... 2013]. Комментируя раздел о происхождении древнерусского государства, научный руководитель проекта А. Чубарьян подчеркивал: «Даже мой оппонент из Казани потом благодарил, что мы учли его замечания и показали, что древнерусское государство – это не только славяне, но и кочевники, тюркский мир. Мы не приняли его точку зрения, что это вообще было евразийское государство. Но учли замечания, даже придумали такой термин, как “степной коридор”, и сказали о роли Степи» [Альбац, Цуканова, 2013]. Тем не менее в самом тексте Концепции [Концепция нового учебно-методического комплекса... 2003, с. 14], в полном соответствии с научными изысканиями, утверждается, что в течение IX–X столетий все восточные славяне, а также ряд финноязычных и балтских народов, обитавших на Восточно-Европейской равнине, были объединены под княжеской династией Рюриковичей. При этом нет даже намека на упоминания Степи как части древнерусского государства.

Как видим, основным методом согласования спорных позиций оказывается принцип коллажа, когда исторические факты преподносятся так, чтобы каждый мог увидеть в тексте то, что ему близко: власть греет идея формирования многонационального государства; татарское историческое сообщество удовлетворено тем, что создаются основы для включения татарского этноса в состав государства уже в момент его образования и «на равных»;

западники довольны, что в состав древнерусского государства вошли не только славяне, но и финны с балтийскими народами.

Описывая происхождение государства, авторы концепции оказались в выгодной позиции, поскольку споры между «норманистами» и «антинорманистами», продолжавшиеся несколько веков и носившие идеологический характер, «затухли», – «все как-то улеглось». Как сообщил корреспонденту «Итогов» А. Чубарьян, «недавно проводили конференцию о древнерусском государстве в европейском контексте, и выяснилось, что форум на подобную тему прошел и в Англии. Они тоже обсуждали норманнов, и французы могут заседать на ту же тему. Ну и что, если норманны были везде? Это исторический факт, с которым надо смириться, не пытаюсь отрицать очевидное» [Привалов, Чубарьян, 2013]. Тем не менее вопрос об образовании древнерусского государства и роли варягов в этом процессе оказался среди «трудных вопросов», по которым члены комиссии не пришли к согласию [Концепция нового учебно-методического комплекса... 2003, с. 80].

Описывая происхождение государства, авторам концепции удалось уйти от понятия «феодалная раздробленность», традиционно трактовавшегося как «распад древнерусского государства», что позволило рассматривать соответствующие процессы как закономерный «этап на пути к централизации» [Стенограмма... 2013, с. 12]. Таким образом, создается выгодное для политической власти представление о поступательном движении в развитии государства, завершившемся созданием на огромной территории могущественного многонационального государства.

На протяжении всего текста концепции подчеркивается сопряженность исторических процессов России и Европы. Такую связь авторы видят, например, в Земских соборах, которые рассматриваются в одном ряду с Генеральными штатами во Франции и Английским парламентом. Однако авторы не акцентируют внимание на том, что и Генеральные штаты, и Английский парламент существовали много веков, подготовив современную форму представительных учреждений этих стран, в отличие от России, где Земские соборы явились лишь временным эпизодом, не повлекшим за собой развитие института народного представительства.

Одновременно с этим начиная с XVIII в. акцентируется великодержавный статус России. Однако отмечая, «что в результате победы над Наполеоном Россия вышла на авансцену европейской жизни не просто как рядовой игрок, а как страна, которая резко подняла свой престиж и авторитет» [Стенограмма... 2013, с. 16],

авторы концепции игнорируют тот факт, что победа над наполеоновской Францией привела к реставрации реакционных режимов в Европе и созданию под покровительством и по инициативе Александра I Священного союза, подавлявшего любые проявления свободы и борьбы народов за независимость. Таким образом, характер великодержавной миссии России остается в тени.

Несмотря на заверения А. Чубарьяна в обратном [Концепция нового учебно-методического комплекса... 2003, с. 12], авторам концепции не удалось уйти от характерной для современных учебников апологетики российских самодержцев. Излагая историю как историю царствований, они при освещении истории XIX в. использовали в названиях разделов смысловые блоки, призванные определить характер царствования. При этом, как нетрудно заметить, акцент делается на проблемах, актуальных для современного дискурса власти: *государственный либерализм* Александра I, *государственный консерватизм* Никола I, *великие реформы* Александра II (выделено мной. – Т. В.). Тем самым проводится идея преемственности в деятельности власти.

Сложным, по признанию А. Чубарьяна, оказался вопрос присоединения к Российской империи, а потом и Советскому Союзу национальных территорий. Дело в том, что бывшие республики СССР издают истории своих народов, в которых рассматривают пребывание в составе СССР как колониальный период. В новой концепции истории России акцент сделан на экономических, культурных, технологических последствиях такого присоединения. Кроме того, отмечается, что в рамках Российской империи шел процесс формирования национального самосознания, что не вызывает, по мнению А. Чубарьяна, возражений у историков из новых независимых государств [Стенограмма... 2013, с. 17]. Что касается негативной информации, то она интерпретируется традиционно для концепции – как «необходимая цена», т.е. некоторые издержки в целом поступательного процесса.

Наибольшие дискуссии, по признанию разработчиков, вызвала история XX в. Примирить тех, кто признает Октябрь революцией, с теми, кто рассматривает его как контрреволюционный переворот, удалось с помощью довольно сложной операции. Пришлось обратиться к опыту Запада, в частности Франции, в которой принято называть революцией процесс, длящийся несколько лет, и по этому образцу объединить то, что называлось Февральской революцией, Великой Октябрьской революцией и Гражданской войной, в единую Великую российскую революцию 1917 г., включающую

период с 1917 по 1921 г. – год окончания Гражданской войны. Повидимому, появление этого нового термина вызвано в первую очередь политическими причинами. Во всяком случае, именно так это объясняют разработчики концепции. В частности, в интервью газете «Коммерсант» директор Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян говорил о том, что когда по этому вопросу начались споры, разработчики «решили отказаться от терминов “Февральская революция”, “Октябрьская социалистическая революция”. Потому что одни считают эти события революцией, другие – переворотом» [Авторы... 2013]. В свою очередь, замдиректора Института российской истории РАН Сергей Журавлев в интервью телеканалу «Дождь» уточнял: «Первоначально мы не хотели упоминать словосочетание “Великая Октябрьская социалистическая революция”. И в концепции осталось “Великая русская революция”». Однако «очень многие наши граждане» выступали за то, чтобы оставить упоминание Октябрьской революции. В результате в концепции говорится о Великой российской революции, прошедшей несколько этапов – в феврале 1917 г. (раньше называлась Февральская революция), в октябре (Октябрьская революция) и Гражданская война 1917–1923 гг. как продолжение этих событий. Журавлев отметил, что термин «Великая русская революция» – «это примерно то же самое, что говорят французы о своей революции». «Есть Великая французская революция, у нас есть Великая российская революция 1917 года» [там же].

Не меньше проблем вызвала эпоха, связанная с именем Сталина. Сначала в заглавии соответствующего раздела концепции фигурировал термин «сталинский социализм», что в глазах либералов могло выглядеть как оправдание политических репрессий; затем название изменили на более нейтральное – «Советский Союз в 20–30-е годы». Вместе с тем в тексте раздела можно обнаружить и термин «сталинский социализм», что вряд ли должно удивлять, учитывая стремление согласовывать позиции методом коллажа.

Чтобы подчеркнуть положительную динамику в развитии централизованного многонационального государства, было введено понятие «советский вариант модернизации». «Советский вариант модернизации включает и индустриализацию, и огромное строительство в пятилетках промышленных предприятий, все, что было достигнуто: это и образование, это и наука» [Стенограмма... 2003, с. 13]. Но советский вариант – это и «цена»: «...коллективизация, проведенная, как показано здесь, насильственными методами, которая привела к большим социальным катаклизмам. Как последствие

был голод, о чем здесь сказано. И сюда же относится и проблема массовых репрессий, которые были, особенно, как указано здесь, в 1937–1938 годах» [Стенограмма... 2003, с. 13–14].

Используя такой принцип изложения, авторы концепции имеют возможность актуализировать те события и те интерпретации, которые создают образ поступательного развития России как великой державы, сумевшей на обширных территориях создать многонациональное государство – страны, история которой является органической частью мирового процесса.

Диссонансом в этом поступательном движении является, несомненно, конец 80-х годов XX в., когда тысячелетнее многонациональное государство, в пределах которого народ одерживал грандиозные военные и трудовые победы, неожиданно перестало существовать. Авторы концепции считают, что при описании брежневской эпохи им «все-таки» удалось показать «истоки тех трудностей, недостатков, которые в итоге закончились трагически в конце 1980-х годов» [там же, с. 14].

Тем не менее демонстративная апология прогрессивного развития государства, на наш взгляд, не позволяет вскрывать причины «издержек». Это невольно напоминает известный анекдот, которым И. Кант завершает рассуждения о прогрессе в «Споре факультетов». Позволю себе его напомнить. Одного больного врач обнадеживал тем, что все время находил симптомы выздоровления. То хвалил его пульс, то – стул, то уверял, что потливость свидетельствует об улучшении. Когда больного спросили, как он себя чувствует, бедняга ответил: «Умираю от непрерывного улучшения» [Гулыга, 1977].

В связи с этим в рамках концепции оказались совершенно необходимы главы о 2000-х годах, наполненные перечислением достижений, позволяющих надеяться, что тысячелетняя Россия опять возродится – уже под руководством нынешнего президента. В частности, по поводу последних 20 лет А. Чубарьян оптимистично утверждает, что «страна вступила в абсолютно новый этап своего развития» [Стенограмма... 2003, с. 15]. При этом не исключаются и трудные страницы новейшей истории. По словам пресс-секретаря президента Д. Пескова, «невозможно без чеченских войн, невозможно без восстановления Чечни. Я бьюсь об заклад, что никто в 2001–2002 годах не мог представить, что Грозный может быть воссоздан. Наоборот, все были уверены, что этому не бывать никогда. Я не думаю, что для Путина важно, что именно он стоял во главе страны, ему главное, что она идет по линии по-

ступательного развития» [Концепция единого учебника истории отправлена в Кремль, 2013]. Таким образом, концепция завершается на позитивной ноте.

Противоречивость и эклектичность видения прошлого, предложенного властью, не должны вызывать удивления. Во имя укрепления национальной идентичности создавали свои версии прошлого и другие народы. Так, во второй половине XIX в. был совершенно осознанно сконструирован французский исторический нарратив, просуществовавший до второй половины XX в. Как пишет П. Уваров, «эта история внушала уважение к государству и нации, приписывая им чуть ли не извечное существование, она удачно соединяла, казалось бы, взаимоисключающие традиции – монархическую и республиканскую, она была в меру антиклерикальна и рационалистична, отличалась верой в прогресс и гуманистические идеалы» [Уваров, 2004]. Единственное, но очень существенное отличие от российской версии прошлого – его французский аналог был мифом о французском народе, а не о государстве. Наши историки создают миф о Российском государстве, в котором единственным субъектом исторического процесса всегда являлась власть, в какие бы одежды ни рядилась, а потому перед нами миф не о героях народа, а об их правителях. И если «великая сага национальной истории» Франции «наделяла француза своеобразным “тирокомпасом”, надежным механизмом ориентирования, благодаря которому можно было отличать “реакционное” от “прогрессивного” (пусть даже “прогрессивного лишь в конечном счете”), можно было определять вектор движения истории, связывающей прошлое, настоящее и будущее» [там же], то наш миф будет продолжать вызывать споры и конфликты. Недаром же за пределами концепции оказался список «трудных вопросов России», по поводу которых так и не пришли к согласию и который, хоть и «похудел» (первоначально насчитывал 31 вопрос, а в конечном варианте – 20), свидетельствует о напряженной символической борьбе в российском обществе.

Литература

Авторы новой концепции учебника истории объединили Октябрьскую и Февральскую революции в Великую российскую // Новости NEWSru.com. – М., 2013. – 31 ноября. – Режим доступа: <http://www.newsru.com/russia/31oct2013/uchebnik.html> (Дата посещения: 5.01.2014.)

- Алексашкина Л.Н., Данилов А.А., Косулина Л.Г. Россия и мир в XX веке: Учебник для 11 кл. – М.: Просвещение, 2003. – 320 с.
- Алексеев С.В., Володихин Д.М., Елисеев Г.А. Отечественная история. – М.: Форум: Инфра-М, 2006. – 464 с.
- Альбац Е., Цуканова Л. Единый учебник для разорванного общества // The New Times. – М., 2013. – № 39 (306), 25 ноября. – Режим доступа: <http://newtimes.ru/articles/detail/74548> (Дата посещения: 6.11.2013.)
- Боханов А.Н. История России, (XIX – начало XX в.): Учебник для 8–9 кл. – М.: Русское слово, 1998. – 423 с.
- Брилев С. Владимир Мединский: история у нас одна // Вести.Ru. – М., 2013. – 24 февраля. – Режим доступа: <http://www.vesti.ru/doc.html?id=1039904> (Дата посещения: 24.02.2013.)
- Головнёва Е.В. Региональная идентичность как форма коллективной идентичности и ее структура // Лабиринт. – М., 2013. – № 5. – С. 42–50.
- Гульга А.В. Кант. – М.: Молодая гвардия, 1977. – 304 с. – Режим доступа: <http://historik.ru/books/item/f00/s00/z0000057/st008.shtml> (Дата посещения: 5.11.2013.)
- Данилевский И.Н., Андреев И.Л. Час истины. Мифы как история или история как миф. – М., 2010. – 6 июня. – Режим доступа: <http://statehistory.ru/811/CHas-istiny-Mify-kak-istoriya-ili-istoriya-kak-mif-online/> (Дата посещения: 10.11.2013.)
- Евгеньева Т.В. Современные исторические мифы: закономерности формирования и функционирования // РГГУ – вузам России. Преподавание истории студентам неисторических специальностей. Современный педагогический опыт: Сб. материалов программы повышения квалификации «Методика преподавания исторических курсов в РГГУ» / Под ред. В.В. Минаева, Н.И. Басовской, А.Б. Безбородова. – М.: Изд-во Ипполитова, 2005. – С. 83–94.
- Ильин В.А., Михайлова Е.А. Кризис идентичности как ресурс модернизации общества: Исследование восприятия социальных институтов российского общества представителями трех социально-возрастных категорий современных россиян // Социальная психология и общество. – М., 2012. – № 2. – С. 41–61.
- Ионов И.Н. Российская цивилизация, IX – начало XX в.: Учебник для 10–11 кл. общеобразоват. учреждений. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2000. – 319 с.
- Кассирер Э. Техника современных политических мифов // Политология: хрестоматия / Сост. проф. М.А. Василик, доц. М.С. Вершинин. – М.: Гардарики, 2000. – С. 576–586.
- Кессиди Ф.Х. От мифа к логосу (Становление греческой философии). – М.: Мысль, 1972. – 312 с.
- Киселев А.Ф., Попов В.П. История России. XX – начало XXI в.: Учебник для 11 кл. – М.: Дрофа, 2007. – 320 с.
- Колдыбаев С.А. Миф и историческая реальность // Европейская наука XXI века: Сб. статей. – М., 2013. – Режим доступа: http://www.rusnauka.com/14_ENXXI_2013/Philosophia/4_137682.doc.htm (Дата посещения: 7.01.2014.)
- Концепция единого учебника истории отправлена в Кремль // NEWSru.com. – М., 2013. – 30 октября. – Режим доступа: <http://www.newsru.com/russia/30oct2013/historykremlin.html> (Дата посещения: 5.01.2014.)
- Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. – М., 2013. – 80 с. – Режим доступа: http://rushistory.org/wp-content/uploads/2013/11/2013.10.31-Концепция_финал.pdf (Дата посещения: 6.12.2013.)

- Коялович М.О. История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям. – Минск: Лучи Софии, 1997. – 688 с.
- Малинова О.Ю. Конструирование смыслов: Исследование символической политики в современной России: Монография / РАН. ИНИОН. Центр социальных науч.-информ. исслед. Отдел полит. науки. – М., 2013 а.–421 с.
- Малинова О.Ю. Политическое использование символа Великой Отечественной войны в постсоветской России: эволюция дискурса властвующей элиты // Прошлый век: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед., Отд. полит. науки; Ред. кол.: Миллер А.И., гл. ред., и др. – М., 2013 б. – Вып. 1. – С. 158–186.
- Миллер А.И. Роль экспертных сообществ в политике памяти в России // Политика. – М., 2013. – № 4 (71). – С. 114–126.
- Московичи С. Век толп: Исторический трактат по психологии масс. – М.: Центр психологии и психотерапии, 1996. – 478 с.
- Островский В.П., Уткин А.И. История России. XX век: Учебник для 11 кл. – М.: Дрофа, 2002. – 480 с.
- Представители РПЦ возмутились заменой понятия «татаро-монгольское иго» в едином учебнике истории // Национальный акцент. – М., 2013. – 11 ноября. – Режим доступа: <http://nazaccent.ru/content/9674-predstaviteli-rpc-vozmutilis-zamenoj-ponyatiya-tataro-mongolskoe.html> (Дата посещения: 13.11.2013.)
- Привалов К., Чубарьян А. Верным курсом // Итоги. – М., 2013. – № 47 (911). – Режим доступа: <http://www.itogi.ru/russia/2013/47/196017.html> (Дата посещения: 5.01.2014.)
- Путин В.В. Выступление на заседании Совета по межнациональным отношениям // Президент России. – М., 2013. – 19 февраля. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/news/17536> (Дата посещения: 10.10.2013.)
- Путин В.В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации // Президент России. – М., 2003. – 16 мая. – Режим доступа: <http://archive.kremlin.ru/text/appears/2003/05/44623.shtml> (Дата посещения: 10.12.2013.)
- Путин В.В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации // Президент России. – М., 2005. – 25 апреля. – Режим доступа: http://www.kremlin.ru/appears/2005/04/25/1223_type63372type63374type82634_87049.shtml (Дата посещения: 15.12.2013.)
- Путин В.В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации // Президент России. – М., 2007. – 26 апреля. – Режим доступа: http://archive.kremlin.ru/appears/2007/04/26/1156_type63372type63374type82634_125339.shtml (Дата посещения: 19.11.2013.)
- Путин В.В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации // Президент России. – М., 2012. – 12 декабря. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/transcripts/17118> (Дата посещения: 5.1.13.)
- Работа над Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории завершена // Российское историческое общество. – М., 2013. – 30 октября. – Режим доступа: http://rushistory.org/?page_id=1800 (Дата посещения: 10.11.2013.)
- Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России. XVII–XIX вв.: Учебник для 10 кл. средних общеобразовательных учебных заведений. – М.: Русское слово, 2003. – Ч. 2. – 241 с.

- Соловьёв С. Идеологические мифы в современных учебниках истории // Скепсис. – М., 2009. – Октябрь-ноябрь. – Режим доступа: http://scepsis.net/library/id_2712.html (Дата посещения: 4.11.2013.)
- Стаф И. Роже Шартъе: уроки истории чтения // ПОЛИТ.РУ. – М., 2006. – 26 марта. – Режим доступа: <http://polit.ru/article/2006/03/27/staf/> (Дата посещения: 8.01.2014.)
- Стенограмма заседания Совета Российского исторического общества. – М., 2013. – 30 октября. – 42 с. – Режим доступа: <http://rushiistory.org/wp-content/uploads/2013/11/Совет-Российского-исторического-общества-30.10.13-стенограмма.pdf> (Дата посещения: 10.11.2013.)
- Уваров П. История, историки и историческая память во Франции // Отечественные записки. – М., 2004. – № 5 (20). – Режим доступа: <http://www.strana-oz.ru/2004/5/ictoriya-istoriki-i-istoricheskaya-pamyat-vo-francii> (Дата посещения: 3.11.2013.)
- Ферро М. Как рассказывают историю детям в разных странах мира. – М.: Высшая школа, 1992. – 351 с.

В.М. Капицын

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ В СИМВОЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ МОНОГОРОДА

Для развития моногорода актуален вопрос о соотношении символов прошлого, настоящего, будущего. Основная гипотеза статьи заключается в следующем. У моногородов «за плечами» советское прошлое, в котором доминировавшие индустриализированные знаки и символы были атрибутом государственной и городской политики и определенным образом ориентировали в будущем. В постсоветское время символы коммерциализированного настоящего ориентируют в основном на «постсоветское», т.е. на движение в некоем противоположном советскому направлении. Тем не менее, как стало ясно в 2000–2010-е годы, индустриализированные символы советского прошлого можно использовать для консолидации горожан в настоящем.

В политической науке выделяются направления политической семиотики и семантики, активно изучаются знаки и символы (в России – В.В. Ильин, О.В. Кармадонов, О.Ю. Малинова, А.И. Миллер, Д.А. Мисюров, Д.Е. Москвин, С.П. Поцелуев, Л.В. Сморгунов и др.). Появление сборника «Символическая политика» [Символическая политика, 2012], разработка темы «политика памяти» [см.: Малинова, 2013] – значимый тренд в политической науке России. Но символическая политика российских моногородов еще ждет своих исследователей.

Анализ знаков и символов играет очень важную роль в исследовании жизни поселений. Дж. Голд, подчеркивая когнитивные особенности символов, замечает, что «дом, местная община, ландшафт, город или этническая территория могут получить символические значения, доносящие особенности этих объектов лучше,

чем тома их подробных описаний» [Голд, 1990, с. 96]. Российский социопсихолог Т.М. Дридзе относит характер господствующей символики к факторам городской среды, способствующим выживанию и воспроизводству нормальных людей, формированию культурной субстанции, консолидирующей городское сообщество [см.: Дридзе, 1995, с. 334–335]. В этой и других работах она представляет городское пространство как текст (совокупность знаков), осмысленное послание, предполагающее осмысленное восприятие. Знаки не только «замещают» реальные объекты, но и задают программу деятельности истолкователям послания. Тем самым часть этих знаков претендует на представление будущего. Но только время показывает, эффективно ли эти знаки и символы использовались в символической политике.

В основе воспроизводства городской символики лежат знаки повседневной жизнедеятельности; при соответствующей интерпретации они могут стать символами, которые воспринимаются как общие, входят в определенные символичные комплексы. Городская политика использует также общенациональные (государственные) символы, оказывает значительное влияние на взаимодействие символов прошлого, настоящего, будущего. Ее проводят органы власти, политические партии; немалое значение приобретает также деятельность инвесторов и предпринимателей, горожан, общественных организаций, школы, СМИ.

Механизм формирования символики города таков: городскому объекту или субъекту (действию, облику человека, организации) приписываются определенные черты; создается образ, связывающий объект или персону с идеей (места памяти, достижений в настоящем, проектов будущего, прославления тех или иных качеств горожан или отдельных их слоев, знаменитостей). При соответствующей интерпретации формируется символичный комплекс, код которого включает отличительные признаки города, обладающие консолидирующим потенциалом.

В моногородах доминировали индустриальные коды, так как эти города формировались нередко как «опорные пункты» отраслей промышленности, необходимые для развития экономики и оборонного комплекса, утверждения экономической самостоятельности СССР, обеспечения занятости населения. Эти индустриальные коды поддерживались общим идейным контекстом и символическими комплексами, связанными с историей и повседневностью.

Жизненные сферы и семиозис моногорода

Семиозис советского моногорода определялся политизацией символов героического прошлого и настоящего, связанных идеей «светлого» будущего. На формирование и интерпретацию жителями знаков («текстов») моноиндустриального пространства влиял специальный семиотический механизм, который включал в себя и повседневный поселенческий уровень: ведь именно в поселении находятся исходные топосы происхождения смыслов, связывающих прошлое, настоящее, будущее. Эти топосы укоренены в основных жизненных сферах, где возникают индивидуальные и групповые статусные знаки «нормальной жизни». У большинства жителей интерпретация этих знаков сходится в отношении ориентаций на определенный набор благ. А это – материал для соединения знаков и общих коллективных смыслов, кодируемых в индустриализированных символах на предприятии, в квартале, микрорайоне, районе, городе в целом. Это консолидирует горожан. В логике такого подхода можно понять, например, ситуацию в моногороде, где все население зависит от одного-двух предприятий, и последние уже в силу этого становятся экзистенциальными символами (символами надежды), историей и святыней. Как стекольный завод «Символ» в г. Курлово (Владимирская обл.), где стекло производят с 1811 г., а в 2011–2012 гг. возникла угроза полной остановки завода.

Поэтому влияние символической политики по необходимости зависит от воспроизводства «нормальной» жизни. В противном случае появляются символы, отражающие требования «повышения планки нормы» или «соблюдения нормы» («исправления отклонений»), выходящие за пределы тяготения повседневности, в область политической жизни, без чего также не обходится семиозис города. Политическая жизнь – «накопитель» злободневных консолидирующих и дифференцирующих символов, область действия общности, играющей роль «буфера», отграничивающего повседневность от государственной политики и служащего «посредником» между ними. Попадая в «буферную зону», символы повседневности политизируются. Символическая политика города должна предотвращать «переполнение» этого «буфера».

В символическом пространстве советского моногорода был особый тип политической жизни, соединяющей знаки повседневности с идейно-политическим контекстом, формируемым идеологией и символической политикой. Во-первых, границы между повседневностью и государственной политикой были «размыты». Во-вторых, в

политической жизни складывались особенные отношения прошлого, настоящего и будущего: будущее как бы заменяло реальное настоящее [см.: Добренко, 2007, с. 28], поэтому восприятие «нормы» повседневности сравнивалось с «эксплуататорским прошлым» и одновременно смещалось в будущее. Эту особенность уловил Г.М. Маклюэн, отметивший, что в СССР традиции восточной иконы и построения образа адаптировались к новым электрическим средствам коммуникации, чтобы быть агрессивно эффективными в мире информации [см.: Маклюэн, 2003, с. 394].

В семиотике моногорода важен учет различий *жизненных сфер* – универсальных структур жизнедеятельности с набором благ («нормой»), в которых индивидуальные и коллективные статусные знаки согласуются, расходятся, подчиняясь ценностному коду, заполняют пространство символотворчества. Основных жизненных сфер четыре.

1. Территориально-пространственная (код – территориальность), где порождаются знаки ландшафта, климата, окружающей среды, путей сообщения, планировки улиц, архитектуры. Так, мощенная брусчаткой улица («мостовая») может влиять на формирование городской идентичности и в комплексе с исторической планировкой и архитектурой превращаться в Место – устойчивый символ «старого города» («европейского»), вызывать гордость жителей и привлекать туристов [см.: Димке, Гребенщикова, 2012, с. 54–58].

2. Естественно-демографическая (код – телесность) со знаками социально-демографических состояний – быта, здоровья, детства, отрочества, зрелости, старости, состава семьи, феминности, маскулинности.

3. Духовно-культурная (код – духовность), которая формирует знаки, включающиеся в мифы, верования, историю, этические кодексы малых сообществ, т.е. в местный духовный нарратив.

4. Агентно-профессиональная (код – агентность) со знаками самобытных достижений места (местных промыслов, профессий, преобладающей экономики).

Особенности семиотики разных поселений могут определяться доминированием кодов одной из жизненных сфер. Формирование устойчивой монопрофильной структуры деятельности большинства жителей в поселении ведет к формированию моногорода, где доминируют знаки агентно-профессиональной сферы с различием по происхождению, что отражается в символах прошлого, настоящего, будущего. Одни моногорода возникли в советское время как промышленные центры почти на пустом месте (Магнитогорск, Но-

рильск). Другие специализировались в той или иной сфере промышленности еще в досоветское время, а затем развивались в том же направлении (г. Златоуст – металлургия и холодное оружие, г. Копейск – угольные копи и машиностроение). Третьи – индустриальную специализацию получили относительно недавно, что наложило на доминанту духовных символов. Расположенный на берегах Волги моногород Тутаев (соединение двух исторических населенных пунктов – Романова и Борисоглебска) знаменит храмами и другими местами памяти, а с 1970 г. здесь заработал крупный моторостроительный завод. Похожая история была у моногорода Сарова.

Символы моногорода и консолидация жителей

В семиотическом дискурсе находит поддержку утверждение историка архитектуры С. Костофа, что городские ориентиры отмечают символы веры и особые достижения, фокусируя форму города и выявляя городской портрет [см.: Kostof, 1993, p. 296]. Отношение к символическим объектам может стать консолидирующим фактором (гора Магнитная, строительство металлургического гиганта в Магнитогорске). И наоборот, ЦБК в г. Байкальске вызывал ожесточенные споры с начала его проектирования и строительства (1966), которые не утихли до сих пор.

В моногородах символы прошлого, настоящего и будущего принимали индустриализированный характер и оказывали влияние на политическую жизнь. Давление индустриализированных символов «выплеснулось» в СССР в шахтерских забастовках конца 1980-х годов. На Урале моногорода, пострадав от развала плановой экономики, теряли ориентиры развития. Индустриализированные символы повлияли на такие акции, как выпуск собственных денежных знаков (уральские, златоустовские, серовские франки) [см.: Машков, 1998, с. 15], провозглашение Уральской Республики.

Жизненные сферы задействованы в формировании местного нарратива. В семиотический механизм города помимо знаков повседневности включаются также ценности (ценностные коды), с помощью которых горожане приписывают городу позитивные качества. Ценностный код территориальности включает ценности сбережения природы, локального эконания (О.Н. Яницкий), территориальной идентичности, локальной безопасности. Код телесности интегрирует ценности любви, взаимоуважения супругов, детей, родителей, охраны детства, старости, соседской взаимопомощи, социальной защиты, физкультуры, спорта. Код духовности

включает стремление к знаниям, почтение к вере, святыням, историко-культурным памятникам, местам захоронения предков и героев. В коде агентности интегрируются ценности трудолюбия, соревнования, профессионализма¹.

Такие ценностные коды, включенные в символьные комплексы, связывают прошлое, настоящее и будущее. В уральском моногороде Златоусте сейчас продолжают функционировать знаки и символы металлургии, в то же время он позиционируется больше как город мастеров расписного и обычного холодного оружия (ножей, кортиков, клинков), т.е. включает досоветские символы в общий ряд памяти и ожиданий [см.: Боярский, 2013].

Эти коды способствуют воспроизводству знаков, наполняющих повседневную жизнь горожан, переходу их в местные символичные комплексы (планировку улиц, площадей, гербы, памятники, праздники). Подобная консолидирующая символика вписывается в концепцию «градов» и «режимов публичного оправдания» (Л. Болтански и Л. Тевено), согласно которой жители обосновывают (оправдывают) для себя и потомков совместное сосуществование значимостью какого-то общего блага («экономика соглашений»). Символ общезначимого блага служит обоснованием консолидации и городского патриотизма, составляя устойчивую коммуникационную ткань, улавливаемую в символической политике. Эти символы подчиняются, в свою очередь, двум общим типам принуждения (принуждения общей человечностью и порядком), устанавливающим легитимность оправдания как «общий горизонт смысла» [см.: Каркюф, 2002, с. 153–155].

Городской патриотизм проявляет стремление к консолидации, обретению городской идентичности, гордости за «свой» город, отличающийся от других. Это – коллективное публичное «Мы-оправдание» совместного сосуществования горожан как общей судьбы, современности и будущего. Городской патриотизм ослабляет социальную эксклюзию, соответственно, усиливает социальную (гражданскую) инклюзию и городскую идентичность, сочетание гордости за город с региональным и государственным патриотизмом. Такой пат-

¹ У истоков таких символов стояли знаки (клейма) местных мастеров. Средневековый автор Б. Сассоферато отмечал, что ремесленные знаки (знаки местных мастерских) свидетельствуют о высоком искусстве мастеров и качестве изделия: знаки на бумаге (*signum*) в замке Фабриано, где делали лучшую бумагу; клейма на оружии и металлических изделиях (*insignia*) [см.: Черных, 1989, с. 307–310].

риотизм имел серьезное влияние в СССР, а в моногородах и сейчас частично сохраняется его индустриализированный вариант как замещение в сознании антиномии «индустриализм – экологизм», консолидированное «Мы-оправдание» индустриализированного пространства.

Этому способствовали соответствующая организация городского пространства, архитектурных, структурных, ландшафтных знаков в символьных комплексах, их оптимальное размещение и доступность в публичном пространстве. Условием этого являются также активная позиция жителей, их равнодушие к среде проживания, коллективные инициативы, помогающие поддерживать городской патриотизм «снизу», т.е. непосредственно в соответствии с ценностями жизненных сфер.

Кейс-стади: Моногород Магнитогорск

При анализе семиотики моногородов мы исследовали также архитектурно-планировочные, скульптурные, природно-ландшафтные знаки (символы). Основной метод исследования – визуальный анализ, как полевой, так и дистанционный (работа с документами: текстами, фотографиями). Символьное пространство моногорода представлено как соединение ландшафтного и неландшафтного текстов.

Особое внимание обращено на то, как знаки (символы) моногорода, отражая прошлое, настоящее, будущее, влияли на проявление общих интересов, предпочтений, консолидацию городского сообщества. Автор опирался на концепцию Л.Б. Когана относительно условий наращивания интеграционного потенциала социалистического города, согласно которой критерии центральности, срединности, периферийности серьезно влияют на сохранение целостности символьных комплексов города и их восприятие [см.: Коган, 1990, с. 23–29, 173–175]. Роль критерия «центральности» в анализе городского пространства отмечают также немецкие урбанисты и городские политики [см.: *Das Leitbild...* 1998, S. 8–13].

Ставилась задача выяснить, как формируемые ряды знаков прошлого, настоящего, будущего, под влиянием ценностных кодов соединялись в символьных комплексах в ходе становления моногорода, способствуя формированию местного сообщества. Сделана

попытка раскрыть особенности моногорода, применяя анализ ландшафтного и неландшафтного текстов г. Магнитогорска¹.

Особенность Магнитогорска в том, что он начинал формироваться с 1929 г. практически на необжитом месте как рабочий поселок около горы Магнитной – уникального месторождения железной руды². Это избавляло планировщиков и архитекторов от многих проблем, возникающих при застройке уже сложившихся городов (снос старых зданий, переселение жителей, переименование улиц)³. Схематический план города показывает масштабы Магнитогорского металлургического комбината (ММК), определившего облик моногорода (см. рис.).

Город располагается на берегах реки Урал. Левобережная часть (Азия) – промышленная зона и территория, на которой проживали первостроители Магнитки. Здесь возводились первые жилые кварталы. Правобережная часть (Европа) включает Ленинский район, а также возводившийся позднее Правобережный район и часть Орджоникидзевского района (располагается на обоих берегах Урала). В развитии города ММК выступал как доминантный символичный макрокомплекс, включающий, в том числе, планировочные символы панорамы ММК и саму аббревиатуру ММК. «Лицом» к этой панораме-символу формировался Ленинский район города с его величественными зданиями. От ММК идет Центральный мост через Урал; мост переходит в площадь с красивым въездом – начало проспекта Металлургов, значительная часть которого занята длинным сквером. Проспект завершался площадью с монументом Ленина – символическим комплексом, включающим Горнометаллургический институт (МГМИ), ЦУМ и другие здания, по-

¹ Автор жил и работал в Магнитогорске в 1978–1995 гг. и многократно приезжал в этот город позже. Помимо упомянутых выше трудов и вторичного анализа опубликованных результатов социологических исследований в работе использовались данные проектов, реализованных в Магнитогорске, в том числе с участием автора, в конце 1980-х – начале 1990-х годов (исследования «Ваше жилье», «Портрет будущего мэра», «Будущее городских и районных Советов народных депутатов»). Использовались качественные исследования автора 2000-х годов (41 глубинное интервью, анализ воспоминаний горожан, в том числе, с применением биографического метода), материалы местной периодики.

² Не было здесь и трудностей северных климатических условий, сосредоточения учреждений ГУЛАГа, как это имело место при строительстве Норильска [см.: Замятина, 2007].

³ О трудностях планировки в 1920–1930-е годы в Нижнем Новгороде (Горьком) [см.: ДеНаап, 2010, р. 2–5].

строенные в классическом стиле. Проектировали город ленинградские планировщики и архитекторы, придавшие данному проспекту облик местного «Невского».

Вторая архитектурно-планировочная ось – проспект Ленина и параллельный ему проспект Маркса, застроенные в пределах Ленинского района, как и проспект Metallургов, зданиями в классическом стиле. Например, Дворец культуры Ленинского комсомола, строительный и индустриальный техникумы, другие здания с красивыми фасадами, арками, фронтонами, порталами и т.д. Два названных проспекта выступили доминантами, сформировавшими вместе с проспектом Metallургов первоначальный центр города, определившими основные направления развития других символических комплексов; они протянулись через весь город параллельно реке Урал, достраиваясь в южном направлении.

Зданиями в классическом стиле были отстроены также улицы Жданова (позднее Ленинградская), Октябрьская, Строителей, Калинина, Гагарина, Ломоносова. Архитектурно-планировочная стратегия ориентировалась на усиление символики ММК; многие архитектурные доминанты подстраивались под панораму ММК. Дом Советов, Дворец культуры имени Орджоникидзе обращены к ММК, так же как и находящийся неподалеку памятник федерального значения «Тыл – фронту»¹.

Показательна продуманность планировки промышленной архитектуры корпусов ММК, идущих к нему улиц и площадей. На Левом берегу расположены красивые жилые кварталы, здание первого городского театра, дворцы культуры ММК и других предприятий. Здесь создан знаменитый 1-й квартал («Соцгород»), планировщики которого ставили задачу посредством архитектуры влиять на коллективистское воспитание человека. Строился квартал как район-сад: дома группировались вокруг садов как общественных центров. Жилыми кварталами Левобережной части города восхищался в своей книге «Стальной город» историк Ст. Коткин (США) [см.: Kotkin, 1992], бывший в 1987 и 1989 гг. на стажиров-

¹ Скульптор Л.Н. Головницкий, арх. Я.Б. Белопольский (1979). Монумент стоит на кургане высотой в 15 метров. Символична изваянная церемония: Рабочий передает Меч Воину: при этом Рабочий обращен лицом к ММК (Востоку), а Воин – к Западу. Позднее здесь сооружены плиты с фамилиями магнитогорцев – Героев Советского Союза, а также погибших на войне воинов (всего предполагалось увековечить 14 тыс. имен).

ке в Магнитогорске. Готовятся документы для ходатайства о присвоении 1-му кварталу города статуса объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО [см.: Итоговый документ, 2010].

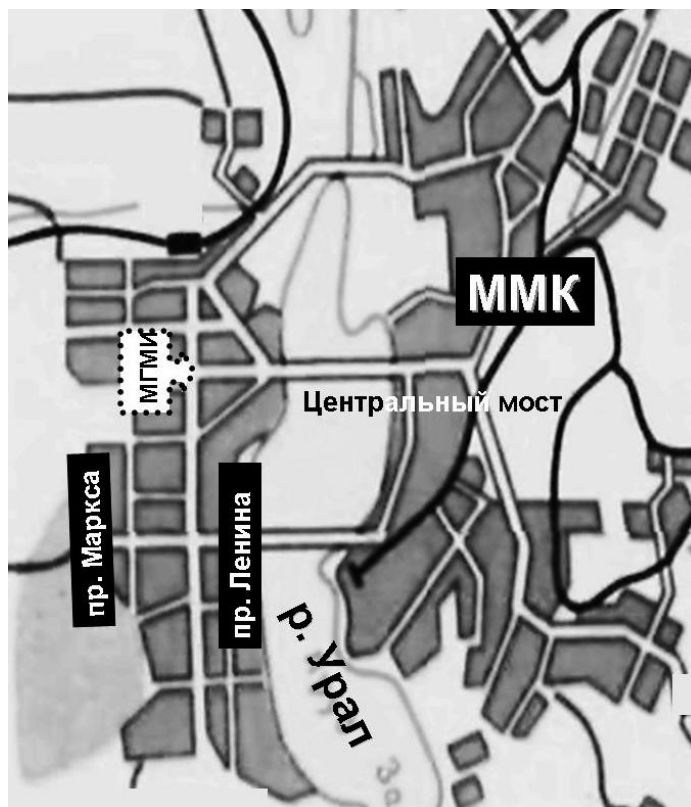


Рис. Карта-схема г. Магнитогорска (центральная часть)

Судя по наблюдениям автора в период проживания в Магнитогорске (1978–1995), а также по результатам анализа биографических интервью, среди горожан была распространена гордость за ММК как индустриальную опору державы, а также за сам город. До 1980-х годов экологические проблемы не выдвигались на первый план. В биографических интервью некоторые респонденты – представители старшего поколения вспоминают, в частности, как они в 1960-е годы, будучи детьми, после дождя выбегали «кушать сульфитку» – сладковатую смесь воздуха, влаги и оседающих

частиц дымов от производств ММК. В 1950–1970-е годы даже разноцветные дымы из труб комбината воспроизводились на открытках как позитивный символ, некий «бренд» города. Под «сенью» ММК развивались другие производства – метизный и калибровочный заводы, «Магнитострой», «Магнитогорскстройпуть». ММК поддерживал образовательные, культурные, детские, спортивные учреждения.

В городе много ретро-символов ММК. Например, памятник «Первая палатка» со стихами магнитогорского поэта Б. Ручьева¹. Среди индустриальных ретросимволов – прокатная клеть и мартен, выдавший первый чугун в 1932 г., самосвал «БелАЗ», паровоз, привезший первых переселенцев, памятник С. Орджоникидзе и др. Знаменита скульптура «Металлург», установленная в мае 1970 г. на постаменте на площади у железнодорожного вокзала². Известны фотографии Э. Хонеккера – первостроителя Магнитки, бывшего руководителя ГДР. Ежегодные празднования Дня металлурга превратились также в символ Магнитогорска. К 80-летию ММК и Магнитогорска Госзнак выпустил маркированные конверты и открытки с изображением символов моногорода.

В середине 1980-х годов в СССР началась перестройка. В Магнитогорске осенью 1987 г. возникло патриотическое «Встречное движение» (устав официально зарегистрирован 15 февраля 1988 г.). Оно выступило за улучшение экологии, в том числе, путем сокращения производства чугуна и стали на ММК. Руководство ММК во главе с И.Х. Ромазаном выделяло для города солидные средства нейтрализации дефицита продовольствия и товаров народного потребления, как в натуральном виде, так и перечислением в городской бюджет, передачей части продукции в городские фонды для обмена на другие товары. Несмотря на эти усилия, активизировались организации, выступавшие за «ревизию» символики ММК. В десакрализации индустриализированных символов сыграло свою роль частичное «открытие» статистики заболеваний: население было представлено как «жертва» социалистического индустриализма. Шло активное разрушение символического ряда ММК и города.

¹ К этой палатке до сих пор часто приходят и возлагают цветы молодежны в день регистрации брака.

² Создавалась для Всемирной брюссельской выставки 1958 г., в 1959 г. устанавливалась на выставке «Достижения СССР» в Нью-Йорке, в 1967 г. – передана ММК.

Разрушение государственной идеологии, влияние вестернизированных символов способствовали деконсолидации горожан; возобладал вариант городского патриотизма деиндустриализированного типа.

Правда, этот процесс остался незавершенным. На фоне экономического и социального спада 1990-х годов сохранение рабочих мест и относительно высокая зарплата на ММК перевесили экологические аргументы. Определенное значение имело и неожиданное для многих превращение Магнитогорска после распада СССР в почти приграничный город, открытый миграции из других государств, где положение было более тяжелым. Укрепился в качестве опоры символного комплекса ММК, особенно в сравнении с другими производствами. Хотя количество работников ММК сократилось, Магнитогорск соответствовал критериям моногорода, определенным в нормативных правовых актах.

Тем более, что из всех «сообществ коллективной памяти» по-прежнему превалировала группа «работники ММК и члены их семей». В обстоятельствах господствующей неопределенности она консолидировалась, несмотря на сильную дифференциацию между менеджментом и рядовыми работниками. Надо учесть, что множество фирм существовало тогда за счет продажи изделий ММК. Удалось сохранить контрольный пакет акций комбината в руках его менеджмента. Руководство города избиралось, как правило, при активной поддержке ММК.

Проявилась универсальная тенденция, в соответствии с которой «процесс признания и преодоления прошлого определяется, в первую очередь, политическими интересами и интересами влиятельных акторов» [Маколи, 2011, с. 139]. Структура групповых интересов элиты обусловила потребность в реконструкции исторической памяти. Уже к середине 1990-х годов в сознании горожан произошла реставрация позитивных символов металлургического моногорода. Тогда по всей России наблюдалась «ностальгизация» советских индустриальных символов, усилившаяся в 2000-е годы¹, так как не появились другие доминантные символы. Но для многих магнитогорцев это означало возрождение «символа надежды», принявшего в новых условиях образ «социальной корпоративной ответственности» ММК. Сохранился, хотя и в измененном варианте,

¹ Ностальгия по социалистическим символам проявилась на всем постсоциалистическом пространстве, в том числе в коммерциализации различных знаков прежней эпохи [см.: Pachenkov, Voronkova, 2009, p. 191–216].

городской патриотизм, примиряющий «индустриализм» и «экологизм». Разумеется, в периоды экономических спадов индустриализированный вариант патриотизма ослабевает, однако другие символы будущего еще не сформировались.

Историческая память как символический ресурс оживляла позитивные знаки и символы прошлого в настоящем. Многие новые знаки (символы) в Магнитогорске тесно связаны с ММК. Например, достроенная ледовая арена имени И.Х. Ромазана (настоящего подвижника ММК и города); хоккейная команда «Металлург», которая в 2007 г. стала чемпионом России, сотворив настоящий праздник для магнитогорцев¹.

Нельзя сказать, что в постсоветском Магнитогорске не уделялось внимание консолидирующим символам. На выездах с мостов через реку Урал на Правый берег (реперные точки в планировке города) созданы новые впечатляющие символичные комплексы: величественный Свято-Вознесенский кафедральный собор у четвертого моста. Строительство его начиналось еще в 1989 г., приостанавливалось в начале 1990-х и возобновилось только в 1998 г. при солидном участии ММК. Еще 300 организаций и предприятий, много частных предпринимателей и горожан жертвовали средства на строительство храма. Несмотря на пожар в декабре 2003 г., храм был освящен 16 июля 2004 г., накануне Дня металлургов и празднования 75-летнего юбилея города. Строившаяся с 1991 г. Соборная мечеть в парковой зоне на выезде с третьего моста была достроена также в 2004 г.

В 2000-х годах были красиво оформлены скверы города. Тем самым поддерживаются традиции Ленгипрогора, проектировавшего город². Проводится конкурс оркестров и ансамблей народных инструментов «Европа – Азия». В сквере около Главпочтамта открылся памятник космонавту, дважды Герою Советского Союза, первому почетному гражданину города (1965) П.Р. Поповичу, учившемуся здесь в индустриальном и строительном техникумах (сквер находится рядом со зданиями этих техникумов), занимав-

¹ Тогда возвращавшийся после победы в финале «Металлург» встречало большое число горожан, выстроившихся вдоль движения машин с победителями по дороге из аэропорта.

² Продолжением традиции можно считать и то, что Генеральный план Магнитогорского городского округа до 2015 г. разработал Институт урбанистики (бывший Ленгипрогор – Ленинградский государственный институт проектирования городов).

шемуся в местном аэроклубе (клуб носит его имя). Его имя присвоено скверу. В апреле 2011 г. в день 50-летия первого полета в космос Ю.А. Гагарина на местной Аллее славы была заложена плита в честь П.Р. Поповича.

В целом заметны трудности в сохранении целостности консолидирующих символов. Новых символов, сравнимых по своему воздействию с ММК, не возникло. Ощущается нехватка оптимистичных знаков. При создании нового герба города проявилось стремление к деиндустриализации¹. В градостроительной планировке преобладает инерционный принцип «достроить, что спланировано» и стратегия «строить то, на что идут инвестиции». Нарастают потери критерия центральности в новых микрорайонах, застраиваемых пестрыми однотипными зданиями.

В планировке, архитектуре, дизайне немало эклектики. Построено здание Макдоналдса (перекресток пр. Ленина и ул. Гагарина) перед городским драмтеатром. Причем стена Макдоналдса стала фоном для расположенной рядом стелы с советскими орденами, которыми был награжден Магнитогорск. Видимо, стела с орденами города отступит перед натиском Макдоналдса. К явлениям эклектики можно отнести и размещение огромных рекламных щитов на фасаде здания городского драмтеатра; красивый фасад бывает полностью заслонен этой рекламой, так что сам театр и его афишу трудно идентифицировать.

Обобщая, можно сделать следующие выводы. Знаки под воздействием жизненных сфер и политики доминирующих групп стремятся к воплощению в символических комплексах. Важно включать их в консолидирующую идеологию и стратегию развития города, используя реинтерпретацию популярных символов прошлого и интеграцию их с символами настоящего. Если этого не происходит, то проигрывает патриотическое воспитание горожан, как и общее символическое пространство. Интенция городского проектирования должна направляться на формирование сознания городского сообщества, позитивно воспринимающего консолиди-

¹ Новый герб города стал абсолютно абстрактным: на щите с серебряным фоном черный треугольник; его можно интерпретировать как символ горы или палатки. Индустриализированные символы, как на гербе советского времени (черный рельеф домны на фоне красного щита), так и на гербе 1993 г. (два молота, обрамленные орденскими лентами), устранены; орденские ленты заявлены как необязательные элементы. Подобное произошло и с гербами ряда других уральских городов [см.: Мочёнов, Туник, 2004].

рующей ландшафтный и неландшафтный тексты. Семиотика ММК и моногорода обладает сильной инерцией. Это объяснимо, так как экономическая диверсификация если и происходит, то весьма незначительно; серьезных экономических альтернатив нет¹, и это сказывается в периоды кризисов. Пока еще сохраняется ставшая традиционной символика ММК, что необходимо использовать в патриотическом воспитании. Вызов символической политике Магнитогорска связан также с этнонациональной проблемой – частичной сегрегацией района «Зеленого рынка», который уже довольно плотно заселен выходцами из Центральной Азии, что может привести к выезду коренного населения из этого района. Возникает также проблема сохранения знаков культуры в отдельных районах и в целом поддержания идентичности магнитогорцев. Городская символическая политика сохраняет ностальгирующий характер.

Важные задачи городской символической политики наряду с сохранением и реинтерпретацией символов ММК – соответствующая систематизация и оценка культурного потенциала, наращивание символических комплексов, связывающих прошлое, настоящее, будущее. Такие проекты уже разрабатываются, в частности, проект развития Магнитки как туристического центра, поддержания старой архитектуры Левобережной части. Предстоит серьезная работа по интеграции мигрантов и реинтерпретации символов интернационального воспитания молодежи.

Заключение

Дальнейшему развитию индустриального направления многих моногородов пока не найдено альтернативы. На совещании в ноябре 2013 г. в моногороде Тутаеве обещано, что выделят деньги на переезд отдельных жителей в другие места для трудоустройства (до 400 тыс. руб. каждому работнику). Но в крупных масштабах

¹ В Комплексном инвестиционном плане модернизации г. Магнитогорска по реализации Концепции стратегии социально-экономического развития муниципального образования г. Магнитогорска до 2020 г. отмечено, что доля градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства даже повышается – с 77,05% в 2010 г. до 79,26% в 2020 г., а доля малых предприятий за это же время уменьшается с 4,12 до 3,78% [см.: Постановление Администрации... 2011]

это не осуществимо¹. Следует учитывать и социально-географический момент. Часть российских моногородов находится в таких районах, которые приходилось упорно осваивать, скрепляя связь территории, населения, идеологии, экономики с помощью властного ресурса. Создавались города, обеспечившие символизацию территорий и превращение географического пространства в социальное. Участки пространства, не подвергшегося символическому освоению, оказываются «социальными лакунами», а их население становится «социальными невидимками» [Говорухин, Иващенко, Зайкова, 2007, с. 32–48]. И если допустить деградацию (маргинализацию) ряда моногородов Урала, Севера Сибири, Дальнего Востока, то это обернется расширением «социальных лакун». А вслед за символическими потерями могут прийти и реальные потери некоторых территорий.

Моногорода – системы символических комплексов, долгое время поддерживающих совместное проживание людей, нуждающихся и тогда и сейчас в символах консолидации в отношении проектирования будущего. Сбалансирование символов социальной дифференциации и консолидации требует обновления символической политики, как городской, так и государственной. Решение повседневных задач города не умаляет важности создания концепции будущего. В этой концепции должно занять свое место поддержание символических комплексов, привлекающих значительную часть ингрупп (горожан) и аутгрупп (туристов, мигрантов, жителей соседних селений). Формирование качественной городской среды, в том числе, создание символических комплексов, способствующих сбалансированию социальной дифференциации и консолидации горожан, становится составляющей долговременной политики. Это способствует в опосредованных формах привлечению инвестиций, создает новые возможности для постепенной диверсификации производственной базы, расширения сфер приложения труда в непромышленной сфере, создания новых рабочих мест.

¹На переселение 20-тысячного моногорода необходимо около 500–600 млрд руб. А бюджет затрат на все моногорода, попадающие в программы помощи в 2010 г., предполагался в размере всего 10 млрд руб. Очевидно, что основные средства необходимо направлять на диверсификацию производства и совершенствование городской инфраструктуры большинства моногородов [см.: Любовный, 2013, с. 316–317].

Литература

- Боярский А. Нож во спасение // Коммерсант-Деньги. – М., 2013. – № 39 (947), 7 октября. – С. 21.
- Говорухин Г.Э., Иващенко Е.А., Зайкова О.А. «Исчезающее пространство» советских городов современной России на примере г. Комсомольск-на-Амуре // Актуальные проблемы социогуманитарного знания: Сб. науч. трудов. – М.: Прометей, 2007. – Вып. 37. – С. 32–48.
- Голд Дж. Основы поведенческой географии. – М.: Прогресс, 1990. – 304 с.
- Димке Д.В., Гребенщикова Т.Ю. К биографии одной вещи: мостовая как товар // СОЦИС. – М., 2012. – № 11. – С. 52–61.
- Добренко Е. Политэкономика социализма. – М.: НЛЮ, 2007. – 592 с.
- Дридзе Т.М. Коммуникативные механизмы культуры и прогнозно-проектный подход к выработке стратегии развития городской среды // Города как социокультурное явление исторического процесса / Отв. ред. Э.В. Сайко. – М.: Наука, 1995. – С. 334–344.
- Замятина Н. Норильск – город фронта // Вестник Евразии. – М., 2007. – № 1. – С. 165–190.
- Итоговый документ Международной научной конференции «Социалистический город и социокультурные аспекты урбанизации». – Магнитогорск, 2010. – 10–11 декабря. – Режим доступа: <http://imgazeta.ru/projects/social/socgorod-put-k-vozhrozhdeniyu> (Дата посещения: 17.11.2013.)
- Каркюф Ф. Новые социологии / Пер. с фр. – М.: Институт экспериментальной социологии.: СПб: Алетейя, 2002. – 172 с.
- Кармадонов О.А. Эффект отсутствия: культурно-цивилизационная специфика // Вопросы философии. – М., 2008. – № 2. – С. 29–41.
- Коган Л.Б. Быть горожанами. – М.: Мысль, 1990. – 205 с.
- Краеведение. Магнитогорск. 9–11 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений Челябинской области / Под ред. М.Г. Абрамзона, М.Н. Потёмкиной. – Челябинск: Абрис, 2013. – 200 с.
- Лалетина Е. Любишь ли ты Красноярск, как люблю его я? // Городские новости. – Красноярск, 2011. – 2 июня, № 2380. – Режим доступа: <http://www.gornovosti.ru/tema/blagoustroistvo/lyubish-li-ty-krasnoyarsk-kak-lyublyu-ego-ya.htm> (Дата посещения: 21.01.2014.)
- Левитин М.К. Развитие навыков средового восприятия // Культура города: проблемы развития / Отв. ред. В.Л. Глазычев. – М.: Изд-во НИИ культуры, 1988. – С. 98–113.
- Любовный В.Я. Города России: Альтернативы развития и управления. – М.: Эконом-Информ, 2013. – 614 с.
- Маклюэн Г.М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека / Пер. с англ. В. Николаева; Закл. ст. М. Вавилова. – М.; Жуковский: КАНОН-пресс-Ц, 2003. – 464 с.
- Маколи М. Историческая память и общество сограждан // Pro et contra. – М., 2011. – № 1–2. – С. 134–149.
- Малинова О.Ю. Конструирование смыслов: Исследование символической политики в России: Монография / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. полит. науки. – М., 2013. – 421 с.

- Машков В. Уральские франки // Всемирный коллекционер. – СПб., 1998. – № 1 (21). – С. 15.
- Мочёнов К.Ф., Туник Г.А. Официальные символы Челябинской области и муниципальных образований. – М.: Русский раритет, 2004. – 296 с.
- Постановление Администрации г. Магнитогорска от 1 августа 2011 года № 8686-П «Комплексный инвестиционный план модернизации г. Магнитогорска по реализации Концепции стратегии социально-экономического развития муниципального образования г. Магнитогорск до 2020 года». – Магнитогорск, 2011. – 96 с.
- Учебник по Магнитковедению // Уральская открытая газета. – Магнитогорск, 2013. – 23 мая. – С. 3.
- Символическая политика: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН; Отв. ред.: Малинова О.Ю. – М., 2012. – Вып. 1: Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс. – 334 с.
- Черных А.П. Трактат Барголо ди Сассоферато «О знаках и гербах» // Средние века. – М., 1989. – Вып. 52. – С. 307–310.
- Kostof S. The city shaped: Urban patterns and meanings through history. – N.Y.: Bulfinch Press, 1993. – 352 p.
- Kotkin St. Steeltown, USSR: Soviet society in the Gorbachev era. – Berkley: California univ. press, 1992. – 364 p.
- Das Leitbild der multizentrischen Stadt. Wirtschaftspolitische Diskurse. 124 Reihe / Ed. Th. Franke. – Hamburg: Friedrich-Ebert-Stiftung, 1998. – 50 S.
- Pachenkov O., Voronkova L. New old identities and nostalgias for socialism at St. Petersburg and Berlin flea markets // Changing economies and changing identities in postsocialist Eastern Europe / I.W. Schroder, A. Vonderau (Eds.). – Halle: Lit. Verlag, 2009. – P. 191–216.
- DeHaan H.D. Dynamic cityscapes: Contesting the soviet city // Russian analytical digest. – Zurich, 2010. – N 85, 1 November. – P. 2–5.

Д.Е. Москвин

**«ДОЛГАЯ ЛЕНИНИАНА»:
ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА ЛЕНИНА
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ**

Советское символическое наследие в современной России масштабно: это монументы, архитектурные комплексы, элементы декора в общественных пространствах, советское кино, регулярно демонстрируемое по телевидению, живопись и сохранившиеся материалы наглядной пропаганды, – все это за прошедшие с краха советского государства уже почти четверть века остается частью повседневной жизни граждан. Россия оказалась, наверное, единственной посттоталитарной страной, настолько полно сохранившей символы официально отвергнутого прошлого. Символическое наследие Третьего рейха не только было «зачищено» бомбардировками 1944–1945 гг., но почти полностью подвергнуто санкционированному запрету. В Италии сохранились лишь отдельные элементы фашистского прошлого – например, «Форум Италико» со стоящей перед входом 17-метровой стелой «Mussolini Dux» в Риме. В некоторых странах постсоциалистического блока демонстративно быстро избавились от советских памятников и до сих пор продолжают под разными предлогами убирать архитектурные строения и мемориалы, напоминающие о «советской оккупации».

В многообразии символических проявлений советского прошлого интерес представляет феномен *ленинианы*. Под этим термином мы будем понимать форму непрерывной репрезентации образа Ленина, не сводимую к культу его личности [см.: Плампер, 2010, с. 12–13]. Вероятно, в России нет ни одного населенного пункта, где не сохранилось бы материальное наследие ленинианы. Несмотря на кажущуюся невостребованность образа «вождя наро-

дов» в нынешнем общественно-политическом дискурсе, вопрос о судьбе его символического присутствия в публичном пространстве окончательно не решен. Можно говорить о существовании «долгой ленинианы», означающей повседневность взаимодействия с образом Ленина и его своеобразное реинкарнирование в новых контекстах с новыми функциями.

Материалом для этой статьи послужили наблюдения, сделанные в ходе работы автора в качестве куратора выставочных проектов «Утрата и отсутствие. Ленин в книгах» (Екатеринбург, весна 2013 г.) и «Ленинские места» (Пермь, февраль 2014 г.) (совместно с Мариной Соколовской). В фокусе исследования оказались визуальные репрезентации; основным предметом изучения стали изображения Ленина (реального человека и сконструированного образа) в пластических искусствах, фотографии, кинематографе, современном искусстве. Вербализация визуальных практик – сложный жанр, особенно в рамках научной работы, требующий выработки внятной методологии. В междисциплинарном поле *Visual Studies* продолжается работа в этом направлении. Для целей данного исследования используются дискурсивный подход, а также теоретическая рамка, заданная понятием символической политики. Основные вопросы, на которые автор пытается найти ответы: что позволяет функционировать «долгой лениниане»? Как меняются форма ее репрезентации и соответствующие дискурсивные практики? В чем причины конвенционального нейтралитета в обществе по отношению к наследию ленинианы классической и приятию ленинианы современной, «долгой»? При ответе на эти вопросы исключены какие-либо оценки личности Ленина и его политического и идейного наследия.

Культ Ленина и лениниана

В научном сообществе утвердилась традиция изучения *культура Ленина*, позволяющая понять специфику советского тоталитарного режима, способы легитимации власти, особенности поддержания идеологической монолитности, а также формирования общей гражданской, советской идентичности. С момента выхода канонической работы Нины Тумаркин «Ленин жив! Культ Ленина в Советской России» [Тумаркин, 1997; первое издание – в 1983 г.] оформился исследовательский дискурс, тяготеющий к «категориям научного религиоведения» [Эннкер, 2011, с. 12]. Он исходит из

созданных в XX в. ритуалов, институций, вербальных и визуальных форм бытования Ленина как мифа. Сложность избавления от религиозных аналогий превращала изучение культа Ленина в своеобразную игру метафорами. Например, О. Булгакова, анализируя фильм Дзиги Вертова «Три песни о Ленине», дает простое объяснение культа вождя в Центральной Азии: «Женщины нашли нового святого, и это Ленин. Для него создается новое место обитания – школа, которая пришла на смену мечети» [цит. по: Щербенок, 2009, с. 109]. Сомнительность подобного подхода в конце 1990-х годов достаточно убедительно продемонстрировал Бенно Эннкер в монографии «Формирование культа Ленина в Советском Союзе». По мнению этого исследователя, недостаточно рассматривать культ Ленина в категориях религии или мифа, поскольку он представляет собой социальное действие (как его понимал М. Вебер), т.е. предполагает наличие акторов, которые используют символ Ленина для целенаправленного воздействия на других [Эннкер, 2011, с. 19].

Культ Ленина обращался к деятельной личности вождя, сознательно мифологизированной и выведенной из разряда обычной жизни гениального человека. Апология совершенства, исключительность, неподвластность здравому осмыслению, сверхгениальность – все это было питательной средой культа. Он регулярно использовался для переосмысления большевизма и исторического развития страны, выступая едва ли не постмодернистским способом деконструкции. Особенно наглядно это было во время перестройки, когда постепенное «разоблачение» личности Ленина, обновление обстоятельств его биографии должны были послужить одним из аргументов для отказа от революционных догматов. На смену культу пришла «деленинизация», эффективность которой, однако, может быть подвергнута сомнению. Как отмечал Ю.С. Пивоваров, «развенчание Ленина произошло в слове, никак или почти никак не материализовавшись. Точнее, не дематериализовавшись» [Пивоваров, 2001].

Культа Ленина не стало, что не привело к сокращению его символического присутствия в повседневности россиян. На место религиозному оформлению пришел «спящий миф». Ленин ни как идеолог, ни как политик не востребован государством или обществом, однако продолжает зримо присутствовать в них. Множатся и артефакты, отсылающие к образу Ленина. В итоге форма окончательно превалирует над содержанием: лениниана, выступавшая некогда оформлением культа, превратилась в самостоятельное явление, пережившее в итоге сам культ и продолжающая свою «долгую» историю в настоящее время.

Первоначально лениниана должна была отсылать к теме вечной жизни в светлом коммунистическом будущем, просветленности, необходимости индивидуальных и коллективных усилий для совершенствования. Но в ее центре оказались не только деятельная личность вождя, но также переживание утраты, вечного невосполнимого отсутствия. Непроговариваемым и при этом зримым ядром ленинианы стало забальзамированное тело Ленина. Оно превращалось в «священное тело» революции, распределенное по советской стране в виде множества символических реинкарнаций. Лениниана как бы наращивала слои савана на оберегаемой мумии. Кетрин Вердери отмечает, что «мертвые тела имеют свойства, делающие их особенно эффективными политическими символами» [Verdery, 1999, p. 33]. Именно это происходило в рамках советской ленинианы, вышедшей за пределы политического культа Ленина. Реконструировать культ Ленина означает рассматривать в совокупности действия большевистских вождей за кулисами, а также публичные события в связи со смертью Ленина, считает Эннкер [Эннкер, 2011, с. 5]. А. Щербенок также обращает внимание, что «ряд вербально-визуальных метафор не оставляет сомнения в том, что частное горе, сублимированное через коллективный траур по Ленину, является необходимым условием развития и совершенствования жизни» [Щербенок, 2009, с. 113].

Лениниана одновременно – технологии культа Ленина, его форма и ставшее самостоятельным культурное явление. Вначале она была режиссируемой большевистской властью политикой репрезентации идеи советского строя. Со временем она превратилась в самодостаточный, а в постсоветское время еще и стихийный процесс функционирования образа Ленина. Ей свойственна визуальность – похороны non stop, созерцаемость тела Ленина, тотальное присутствие в повседневности ленинских артефактов. Происходит постоянное умножение образного ряда за счет непрерывного искажения (первоначально как технологии ретуширования) визуальных данных.

Лениниана: От книги к изображению

Образ Ленина функционировал уже при жизни Владимира Ильича на двух уровнях: вербальном (книжная лениниана) и визуальном. Они взаимодополняли друг друга: многочисленные изображения Ленина немислимы без миллионных тиражей книг о нем, издаваемых непрерывно с 1924 г. Однако силу визуального

воздействия на массы советское руководство почувствовало раньше прочих тоталитарных режимов. Не будет преувеличением сказать, что лениниана стала стимулом дальнейшего развития визуальной политики как способа донесения стратегически важной информации и оформления масс. Она исторически опередила обращение к визуальным технологиям в Третьем рейхе и США.

В период смертельной болезни Ленина право распоряжаться его образом было монополизировано руководством коммунистической партии, а сразу после смерти началась институционализация этой монополии (комиссии по увековечиванию памяти, Институт Ленина, Мавзолей, музеи и пр.). Однако каноны изображения, формы присутствия образа Ленина в публичной среде не были статичными и зависели от конкретной политической ситуации. Показательно, например, что после издания в 1927 г. книги «Ленин. Альбом. 100 фотографических снимков» на протяжении последующих 30 лет не издавалось других фотоальбомов. Зато количество отретушированных фотографий с Лениным множилось в зависимости от интересов и задач руководства партии. Монополизированный образ оказался чрезвычайно пластичным, податливым и легкоизменяемым материалом. Это и позволяет лениниане оставаться актуальным культурным феноменом до сих пор.

Дискурсивное поле ленинианы оформлялось первоначально благодаря текстам, посвященным личности Ульянова-Ленина. Одним из «ранних апологетов» ленинианы был А.В. Луначарский. Он, вероятно, первым озвучил эпический потенциал образа Ленина: «Дать Лениниаду – это значит написать нечто вроде “Войны и мира”»; дать эпопею на тему о борьбе, о строительстве, о революции, о культуре в великие ленинские годы, показать, как Ленин вырос из этой эпохи, а потом оплодотворил эту эпоху» [Луначарский, 1980]. Симптоматично, что в первых очерках Луначарского ощущается стремление к визуализации образа Ленина: об этом говорит название сборника эссе 1923 г. «Революционные силуэты», который начинался с очерка о Владимире Ильиче Ленине. Там же Луначарский обращается к истории встречи в Париже Ленина и скульптора Наума Аронсона, который был настолько впечатлен формой головы Ленина, что сразу попросил права вылепить с него хотя бы медаль. Луначарский также сравнивает Ленина с известным бюстом Сократа и модным в начале XX в. портретом Верлена [Луначарский, 1923].

Конечно, точкой отсчета дискурсивных практик ленинианы можно считать 1924 г. – смерть Ленина и реакцию на это со сторо-

ны большевистской партии, соратников, друзей, рядовых граждан. Беспрецедентным было появление в качестве отклика на произошедшее десятков книжных изданий в течение года. Именно тогда был сформирован принцип, ставший лейтмотивом всей последующей ленинианы: «Ленин – это всегда отсутствие» [Умер Ленин, 1924]. Советские граждане должны были ощущать невосполнимость утраты человека, которого они не знали лично и свидетельства о котором дошли до них в отфильтрованном партийными вождями, цензорами и библиотекарями виде. С самого начала Ленин должен был предстать как непротиворечивая сильная личность, последовательно двигавшаяся по пути Революции, – что было главным условием ее успеха. При этом сухость такого подхода смягчали лирические отступления о «человеческих качествах» вождя.

Смерть В.И. Ульянова предстает в книгах 1924 г. как величайшая трагедия человечества. Заглавия книг, публикуемые стихи, распространяемая фотография Ленина в гробу, подробный отчет вскрытия его тела – все это подчеркивало окончательность и трагичность ухода вождя, впрочем, отстранившегося от управления за несколько лет до этого. К моменту его смерти в руководстве партии уже наметился раскол, и соратников Ленина стали теснить молодые члены партии. Отчетливо это прослеживается в публикуемых в год «великой утраты» текстах: появляется различие – «Ленин был vs. Ленин жив» или «Ленин vs. Ильич». Авторы говорят о двоякой сущности реального Владимира Ильича, которая в будущем и станет оправданием для непрерывной трансформации его образа в рамках ленинианы. Так, в работе «На могилу Ильича» Л. Сосновский пишет: «У этого изумительного существа – два лица»; П. Стучка добавляет: «А когда Ильича не стало, у нас остался все-таки Ленин». В. Князев в стихотворении «Капля крови Ильича» с пафосом утверждает: «Но Ильич – бессмертен в нас» [На могилу Ильича, 1924, с. 63, 70, 6]. Один из ближайших сподвижников Ленина тов. Зиновьев, чей текст опубликован почти во всех книгах памяти 1924–1925 гг., провозглашал: «Прощай, Ильич! Прощай, Ленин!» [В дни скорби, 1924, с. 12].

Человек умер, живет его учение, а потому важны его интерпретаторы и продолжатели дела. Однако молодым членам партии сложно соответствовать интеллектуальному уровню ее основателей, поэтому для них конструируется сакральность вождя – его плотское и символическое бессмертие, возможность апеллировать к «вечно живому», легитимизируя свои действия. Неспроста в более поздних

книгах о Ленине по возрастающей будет идти пафосный призыв: соответствовать Ленину, продолжать дело Ленина, клясться именем Ленина, каждое действие соотносить с Ильичом.

В 2007 г. небольшим тиражом вышел репринт книги «Дети дошкольники о Ленине», в которой фиксируются свидетельства – игры, разговоры, рисунки – того, как дети в 1924 г. реагировали на смерть Ленина. Она хорошо иллюстрирует, как формировалась практика приобщения к лениниане: «Великая скорбь мирового пролетариата, вызванная смертью Владимира Ильича, охватила всех наших детей. Все мысли заняты одним: “Ленин помер”, – говорят они, тихо входя в детский сад. Нет обычного смеха, игр, пения. Дети тихо бродят по комнатам и делятся друг с другом впечатлениями. <...> Организуются игры. По очереди мальчики ложатся на стол, изображая Ленина. Остальные ходят вокруг стола. Это “рабочие и народ” прощаются с Ильичем. Неподдельное горе и слезы в продолжении 20–30 минут сопровождают игру. <...> Ящик-гроб носят по комнате и поют: “Мы жертвою пали” и Интернационал. <...> Игры в похороны имеют много вариантов, но в основе одно и то же: Дом Союзов, очереди, прощание с Лениным» [Дети дошкольники... 2007, с. 7–8].

21 января 1924 г. умер конкретный человек – создатель партии и идеолог Советского государства, соратник, руководитель. Но родился воображаемый – «человек, друг, товарищ». Отсюда и вопрос, который задает С. Зорин в заглавии брошюры «Что может означать – Ленин». И сам же отвечает: «Ленин – это надо понять! <...> “Ленин, он наш человек”... – это, прежде всего, значит, что он – простой, хороший, работающий человек ... И не надо ломать голову над вопросом, что означает Ленин... Надо стараться немного походить на него» [Зорин, 1924, с. 3, 16]. Лениниана в текстах провозгласила отказ от исторического Ильича в пользу пластичного, конструируемого по воле разных субъектов Ленина.

Правомерен вопрос: насколько популярны были эти книги? Читались ли они? К примеру, в 8-страничной брошюре Г. Якубовского «Гений революции» (1924), найденной в Свердловской областной библиотеке им. В.Г. Белинского во время подготовки к выставке «Утрата и отсутствие. Ленин в книгах», две страницы остались неразрезанными [Якубовский, 1924]. А в книге «Единственный неповторяемый» (1924) кураторами выставки на странице, начинающейся фразой «Мы хороним Ильича», был обнаружен засохший букетик цветов [Единственный неповторяемый, 1924, с. 203]. Судя по формуляру, книга уже несколько десятилетий не бралась в руки

читателями. Однако в изданных в 1989 г. Государственной республиканской детской библиотекой РСФСР библиографических очерках «Книги о Ленине» утверждалось: «Книги о Ленине читают все. Дети учатся по этим книгам понимать смысл нашей жизни. Взрослые проверяют чистоту и силу своих убеждений»; «Читать Ленина – значит создавать свое мировоззрение. В прямом смысле слова – *делать себя*»; «Эта школа ленинского мышления помогает смело и отчетливо увидеть проблемы сегодняшнего дня, определить то главное, что необходимо сделать завтра»; «Познать Ленина – значит познать самих себя» [Книги о Ленине, 1989, с. 3, 4, 9, 67].

«Недорисованный портрет»

Дополнением к формируемому книжной ленинианой курсу утраты становятся визуальные артефакты. Внедрение визуального образа Ленина происходило тотально на всем советском пространстве. Начав зарождаться незадолго до смерти Ленина, обретя основные принципы и подходы в 1924–1925 гг., визуальная лениниана разворачивается во всю силу к концу 1930-х годов, когда появились биографические фильмы и стали массово тиражироваться малые и крупные скульптурные формы. Визуальная репрезентация образа Ленина оказывалась наиболее действенным способом донесения идеологических установок до большей части советского населения.

Количество изображений Ленина не поддается учету: в скульптуре, фотографии – настоящей, отретушированной полностью или частично, – кинематографе документальном и художественном, барельефах, фресках, восковых фигурах, видеоинсталляциях, значках, марках, открытках, на вымпелах трудовых коллективов и т.д. Это еще в 1924 г. Николай Полетаев мог написать «О портретах Ленина»:

*Портретов Ленина не видно.
Похожих не было и нет.
Века уж дорисуют, видно,
Недорисованный портрет.*

[Единственный неповторяемый, 1924, с. 45]

Сложился особый сегмент книжной индустрии, посвященный корректируемому, в зависимости от «колебаний партии», изображению вождя мирового пролетариата. Ключевыми были два

жанра – фотографии Ленина и рисунки советских художников. Визуальная лениниана функционировала по принципу соревновательной игры: кто в заданных идеологических условиях более ярко покажет любимого вождя. Правда и достоверность оказывались вторичными. Ленин – мудрец, оратор, заинтересованный собеседник, писатель, читатель; Ленин и семья, Ленин и соратники, Ленин и рабочие / матросы / военные / крестьяне / участники митинга. Никого не волновало, что изображения Ленина в 25-летнем возрасте неотличимы от него же 50-летнего; что во время отдыха он изображен так, будто бы порывается взобраться на броневик. Ленин – старик, Ленин – мудрец, но одновременно – белокурый мальчик и только отпустивший бородку студент. Получалось, что портретное изображение проживает жизнь Ленина заново и иначе, трансформируя время и пространство как самого героя, так и смотрящих на него.

Визуальные проявления ленинианы держались на уверенности о недосказанности мифа, о неисчерпаемости граней в мифическом образе. Заложенный изначально в культ Ленина дискурс утраты и отсутствия позволял каждому новому артефакту претендовать на статус новаторского, открывающего потаенное. Лениниана оказывалась процессом непрерывного познания, просвещения, расширяя свой функционал и отрываясь от задач агитации и пропаганды.

В рамках данного исследования акцент сделан на три способа визуальных репрезентаций – фотография, кинематограф и скульптура. У них есть общие генетические корни, схожесть в развитии и разная судьба в рамках «долгой ленинианы».

Фотографические изображения Ленина

В Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС к 1990 г. находилось 410 оригинальных снимков с В.И. Ульяновым (Лениным). Полностью вся коллекция не была издана ни разу. Но институт трижды (1970, 1980, 1990) готовил 2-томные издания «В.И. Ленин. Собрание фотографий и кинокадров», претендуя на максимально полное репрезентирование имеющихся материалов. Правда, в первых двух изданиях часть фотографий публиковалась не полностью, а в виде фрагментов, с групповых изображений производилась выкадровка изображений

Ленина. И только в издании 1990 г. были опубликованы 364 снимка со всей площади негативов [Ленин: Собрание фотографий... 1990].

Фотографические репрезентации Ленина – одно из самых интересных явлений в советской визуальной культуре. Имеющиеся 410 снимков породили бесчисленное количество вариаций, созданных путем ретуширования и кадрирования. Вставали задачи «исключить» из компании Ленина тех или иных людей (на 60 лет из фотографий пропадают Троцкий, Зиновьев, Каменев, Бухарин, многие другие партийные и общественные деятели), изменить контекст (например, снимок с 4-летним Владимиром Ульяновым, первоначально сделанный в компании его сестры Ольги, сидящей на стуле, мог ретушироваться до снимка этого же ребенка с высокой стопкой толстых книг на стуле – вместо сестры), задать новый акцент (приставленная к виску Н.К. Крупской подзорная труба – фотошутка М. Ульяновой, стоявшей у камеры, – на протяжении десятилетий медленно сокращалась, а потом и вовсе исчезла [Кинг, 2005, с. 100–101]) и т.д. Таким образом, фотография в контексте советской ленинианы переставала быть достоверным документом. Она не превращалась в художественное произведение, так как претендовала на подлинность в общественном пространстве, но по своей сути уже мало отличалась от вымысла. Одновременно это позволяло образу Ленина быть динамичным, изменчивым, постоянно обновляемым и домысливаемым.

Воображаемое пространство ленинианы оказывалось безмерным, особенно когда уже предварительно фальсифицированные и опубликованные фотографии становились основой для создания художественных полотен. Один из самых показательных примеров – сюжет «Ленин и бревно». Фотография, сделанная 1 мая 1920 г. на субботнике в Кремле, получилась плохого качества, но была важна в пропагандистских целях, поэтому в дальнейшем ее ретушировали и кадрировали. На ее основе советские художники В. Иванов, М. Соколов, Н. Сысоев, Е. Кибрик, Д. Налбандян, И. Селиванов, Ю. Гржешкевич и др. создавали свои полотна, перемещая Ленина вдоль бревна, а то и вовсе изображая его русским богатырем, в одиночку тягающим бревно по Кремлю. Аналогичная история фальсификации связана с сюжетом «Ленин в Разливе»: здесь отсутствие фотографий компенсировали десятки художественных изображений (Ленин и шалаш, Ленин на берегу, Ленин встречается со Сталиным у лодки). Став анекдотом, эти истории оголили технологии ленинианы, продемонстрировав ограниченность вымысла применительно к сакрализируемой фигуре.

Массовое тиражирование ретушированных и порой фальсифицированных фотоснимков сформировало специфическое визуальное пространство ленинианы. В постсоветский период оно не только сохранилось в качестве наследия, но и имело творческое развитие. Например, в 2005–2008 гг. уфимский художник Ринат Волигамси предложил альтернативную биографию вождя «Неофициальный альбом», где рядом с В.И. Ульяновым появляется его брат-близнец Сергей. Этот фотоколлаж оказался настолько популярным и убедительным, что вплоть до настоящего времени в Интернете периодически появляются публикации, настаивающие на реальности этой истории [Волигамси, 2006].

Кинематографический образ Ленина

Киолениниана в послесталинский период СССР стала излюбленной формой функционирования культа Ленина. Кинообраз вождя компенсировал его физическое отсутствие, создавал иллюзию его постоянного присутствия, зримо утверждал исключительность этого человека. Интересно, что более ранние фильмы могли в дальнейшем использоваться как кадры кинохроники в поздних документальных лентах.

В Институте марксизма-ленинизма хранились 874 метра пленки с кинохроникой выступлений Ленина. Некоторые кадры также становились основой для фотофальсификаций, художественных изображений, в том числе скульптурных. Но дискурс киоленинианы восходит опять же к 1924 г. и переживанию смерти вождя. В дни прощания Госкино снимало в Колонном зале Дома союзов, строительство временного Мавзолея, траурные процессии на местах. Из 7 тысяч метров отснятой пленки годными были признаны 1048 метров, и уже 5 февраля 1924 г. появилась кинохроника «Похороны Владимира Ильича Ленина».

Тогда же еще малоизвестный режиссер Абрам Роом выступил с авангардным предложением снять фильм-«боевик» «Вождь большевистского племени – Ленин» [Янгиров, 2007]. Инициатива не встретила поддержки, и в соответствии с духом нарождающейся ленинианы на протяжении почти десятилетия единственным кинопамятником вождю оставалась снятая в дни прощания кинохроника. 1920-х годах образ Ленина лишь единожды был санкционированно воспроизведен в фильме С. Эйзенштейна «Октябрь». И только в 1934 г. появляется первый документальный фильм,

снятый вызывающе авангардным режиссером Дзигой Вертовым, – «Три песни о Ленине». Иконическая работа для последующих режиссеров, которая, по мнению А. Щербенка, содержит точку фиксации в виде непрерывного воспроизводства мертвого тела вождя. «Инкорпорируя образ тела Ленина в визуальное пространство зрителя в качестве травматического ядра, Вертов активизирует в его психике механизмы аффективного переноса и тем самым интерпеллирует зрителя в идеологию» [Щербенок, 2009, с. 114].

Начиная с 1937 г. утверждается право на актерское исполнение роли Ленина. Канонические фильмы М. Ромма «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918», С. Юткевича «Человек с ружьем» на весь последующий период киноленинианы служили ориентиром. Утвердились каноны репрезентации: с одной стороны, демонстрация исключительной политической прозорливости и воли, а с другой – подкупающая простота, порой наивность, человечность. Обязательным было присутствие в фильме представителей различных классов, массовых сцен, подчеркивающих лидерский статус Ленина. В то же время в первых художественных фильмах полностью отсутствует какой-либо намек на наличие личной и семейной жизни. Ленин – для всех, Ленин – свой каждому советскому человеку.

Период хрущёвской «оттепели» принес попытки очеловечить образ Ленина: «Решили немного очеловечить бога, и возник зазор (небольшой, но, как выяснилось впоследствии, гибельно опасный) между Лениным и помощником присяжного поверенного, профессиональным революционером, политическим эмигрантом и вождем русской революции» [Пивоваров, 2001]. В 1963 г. Ю. Вышинский снял фильм «Аппассионата», в котором предложил образ лиричного Ленина, рассуждающего об искусстве. А в 1965 г. Иннокентий Смоктуновский полностью сломал привычный образ вождя в фильме «На одной планете» (реж. И. Ольшвангер). Вероятно, это был самый смелый эксперимент в истории советской киноленинианы: Ленин представлялся суетным, анекдотичным, капризным, флиртующим с девушкой, пригласившей его на танец на балу, но при этом лоящим ревнивым взгляд нарочито влюбленной в него Надежды Крупской.

С этого периода художественные фильмы о Ленине появляются чаще и в большом количестве; множатся вариации сюжетов, на экране появляются члены семьи Ульяновых («Сердце матери»), создатели кинолент обращаются к событиям дореволюционного периода («Ленин в Париже»). Для киноленинианы существенным стал вопрос, какие новые черты может принести очередной актер, изображающий Ленина. Лейтмотивом всего ленинского киноцикла

был вопрос героя одной из первых лент: «Ленин. Какой он из себя?». Опять же, как и с фотографией, историческая правда подчинялась логике разрастающегося воображаемого.

С 1960-х годов книгоиздание также подключается к формированию кинообраза Ленина: выпускаются каталоги фильмов, исполняющих «великую утрату». Макс Поляновский озаглавил свой сборник описаний документальных киносъемок выступлений Ленина «Мы видим Ильича» [Поляновский, 1969]. Авторы книг задаются вопросом, как фильмы и пьесы «помогают глубже понять Ленина через движение ленинской мысли», «полнее использовать ленинское наследие в современной борьбе за коммунизм» [Фрадкин, 1966]. Николай Зайцев, готовя к 100-летию рождения В.И. Ульянова (Ленина) книгу «Лениниана в театре и кино», пишет: «Глубочайшее постижение художником ленинской сути» и «партийная убежденность советских драматургов» – вот залог правильного, достоверного изображения Ленина [Зорин, 1969, с. 47]. Выходили отдельные альбомы, которые рекомендовали список фильмов для просмотра в дни празднования годовщины рождения Ленина [Живых живее, 1969].

Развитие киноленинианы продолжается в постсоветской России. В первой половине 1990-х годов вышло несколько лент о Ленине или с использованием его образа – «Комедия строгого режима» (1992), «Ленин в огненном кольце» (1993), «Под знаком Скорпиона» (1995), «Две любви», «Моя Причистенка» (2003), «Рассказы» (2012). Особое место, конечно, занял фильм А. Сокурова «Телец» (2001), получивший международное признание и ставший своеобразным итогом в развенчании кинематографического культа Ленина. «Телец» может рассматриваться как переход к «долгой лениниане» в российском кинематографе. С одной стороны, он полностью сохраняет логику этого феномена, обращаясь к образу смертельно больного, а значит, уходящего, утрачиваемого вождя, а с другой стороны, здесь уже более важно человеческое, нежели политическое и историческое измерение трагедии. Ленин превращен в «жертву 374» [Лунгин, 2001] – не просто падение бога, это признание его самозванства.

Скульптурные изображения Ленина

Если фото- и кинообразы Ленина стали широко тиражироваться после его смерти, то первое скульптурное изображение в виде бюста было сделано в феврале 1919 г. скульптором Г. Алексеевым с натуры. Этот же скульптор уже после смерти Ленина в 1924 г. создал

первую статую «Призывающий вождь», в дальнейшем тиражировавшуюся по всему СССР. Если фотографический и кинообраз Ленина требовал усилий со стороны зрителя и был спорадическим опытом причащения, то скульптурные изображения позволяли превратить этот опыт в постоянный, так же как и иные изображения Ленина в пластических искусствах.

Дискуссии о том, каким должен быть монументальный образ Ленина, велись на протяжении всего 1924 г. Первоначально ставка делалась на максимальную аутентичность, приближенность к оригиналу. Поэтому рисунки Г.Д. Алексева, А.И. Альтмана, Н.А. Андреева, И.И. Бродского, Ф.А. Малявина, И.К. Пархоменко, Л.О. Пастернака, Н.П. Ульянова, К.Ф. Юон заметно выделяются из всей последующей ленинианы своей неканоничностью, естественными чертами [В.И. Ленин, 1960]. Ради сохранения аутентичности после смерти Ильича скульптором С.Д. Меркуровым были сделаны слепки его лица и рук. А в дни массового прощания в Колонном зале Дома союзов были созваны художники, чтобы запечатлеть черты лица Ленина. В феврале 1924 г. вышло распоряжение с требованием сдать в государственную комиссию все ранее сделанные ленинские зарисовки и слепки с натуры. Был установлен государственный и партийный монополичный контроль на образ Ленина.

Уже в 1925–1927 гг. акцент смещается в пользу Ленина как символа, представляющего большевистские идеи и общечеловеческие идеалы. Появились характерный указующий жест рукой, волевая поза, развевающийся на ветру плащ. Тиражирование этого образа стало массовым и тотальным. В 1950 г. вышла крохотная брошюрка «Лениниана. Скульптура Н.А. Андреева», где нет фотографий и рисунков, имеется лишь краткое описание художественного пути скульптора, имевшего возможность работать с натуры при жизни Ленина. Зато альбом 1969 г. «Ленин говорит с броневика», напротив, отличается яркостью иллюстраций и подробным воссозданием истории создания памятника у Финляндского вокзала в Ленинграде.

Отдельного искусствоведческого исследования требуют обобщение и анализ многочисленных скульптурных композиций с использованием образа Ленина. Важно, однако, что именно они продолжают формировать символическое пространство, вероятно, почти во всех населенных пунктах современной России. Целенаправленной политики по деленинизации публичной среды в стране не проводилось, стихийные попытки избавиться от потерявших

политическую актуальность и очевидный идейный смысл изображений имели место – но это были единичные случаи.

Из 11 выявленных скульптурных изображений Ленина в публичных местах в Екатеринбурге только одно содержит имя «Ленин». Остальные представляют собой чистый идеологический визуальный конструкт без вербализованной номинации. Метафорическое значение этого любопытно: памятник является отсылкой к прошлому, это вечное присутствие Ленина как образа утраченного; но для молодых поколений он присутствует, чтобы... заполнить пустоту. Сложно представить, чем можно заменить упраздненное изображение Ленина в городском пространстве России. Есть ли современные значимые долговременные символы настоящего или конвенционально разделяемого как позитивное прошлого? С другой стороны, «распределенное тело» Ленина – это оксюморон XXI в. Он может стоять у проходной завода, но указывать направление в сторону спальных кварталов; его голова, словно наглядное пособие по пользованию гильотиной, может быть размещена у периферийной средней школы; Ленин может решительно «выходить» из психоневрологического диспансера (реальное композиционное скульптурное решение в одном из районов Екатеринбурга) – он лишний по смыслу и исторической логике, но он остается и встраивается в воспринимаемое как повседневное пространство российского человека. Портрет вновь оказывается недо-рисованным...

* * *

В визуальной культуре современной России образ Ленина находит свое продолжение разными способами. Избавившись от обязательных идеологических шаблонов и цензуры, он превратился в повод для различных художественных высказываний и элемент народного фальклора. Вместо ожидаемой деленинизации произошла плюрализация феномена ленинианы. Так, копируя образ Ленина, уличные актеры могут зарабатывать деньги на фотографировании и скоморошестве (рядом с Красной площадью, музеями Ленина в разных городах). Создаются новые культурные артефакты, как, к примеру, в частном музее СССР в московском ВВЦ, где была выставлена восковая фигура похрапывающего в Мавзолее вождя. В 2013 г. Ростуризм совместно с властями Ульяновска начал разработку «Красного маршрута» [Чернышева, 2013] для привлечения китайских туристов в места, связанные с Лениным.

Современные художники часто обращаются к лениниане, поддерживая «спящий миф». Еще в 1993 г. художники В. Комар и А. Меламид предложили проект «Бегущая строка на ступенчатой пирамиде» [Комар, Меламид, 1993], который предусматривал приспособление Мавзолея под современные нужды общества. В дальнейшем они неоднократно возвращались к этой теме, а также непосредственно обыгрывали образ Ленина в своих произведениях. Группа «Синие носы» также периодически обращается к Лениниане, предлагая несколько проектов: «Ленин, переворачивающийся в гробу» (видеоарт, проецируемый на дно обычной картонной коробки) или прозрачный хрустальный Мавзолей в австрийском музее Swarovski.

Стихийная работа по переработке образа Ленина происходит и в Интернете, где можно обнаружить огромное количество вариаций на тему фотографий, плакатов, художественных изображений и кинокадров с образом Ленина. Предложенная некогда создателями ленинианы технология фальсификации с помощью ретуширования давно уже стала нормой для пользователей компьютерных графических редакторов. Неожиданные постеры, наклейки, флаеры с использованием образа Ленина часто можно обнаружить в офисных пространствах, в учебных заведениях, в рекламных кампаниях и т.д. С одной стороны, это ретростилистика, необходимая для более точного оформления информационного сообщения; с другой стороны, это ситуация ограниченности символического репертуара, предлагающего небольшой набор общепринятых и воспринимаемых символов. В редких случаях за этим кроются идеологические коннотации.

Как ни удивительно, но коды, заложенные в лениниану на начальных этапах, действительны до сих пор. В 1924 г. Лев Сосновский, откликнувшись на смерть Ленина статьей «Ильич – Ленин», писал: «Да, Ленин живет и будет жить. Об этом позаботимся и мы, насколько хватит сил. <...> Ленин проникнет тогда в такие уголки, где о нем еще мало слышали, и завоюет новые миллионы умов и сердец для дела коммунизма» [На могилу Ильича, 1924, с. 64]. «Долгая лениниана» продолжает это намерение, ее результат сложно спрогнозировать, но он может оказаться гораздо сложнее той реальности, которую Ленину и его образам часто рисует обывательское сознание. Ведь Ленин по-прежнему остается героем текста – художественного, документального, вербального и визуального.

Литература

- В дни скорби, 21 января – 27 января 1924 г. – М.: Московский рабочий, 1924. – 248 с.
- В.И. Ленин. Зарисовки художников с натуры: Альбом / Оформл. худ. И. Кричевского. – Л.: Госиздат Изобразительного искусства, 1960. – 60 с.
- Волигамси Р. Неофициальный альбом. – 2005–2006. – Режим доступа: <http://www.voligamsi.com/framePage3.html> (Дата посещения: 13.12.2013.)
- Дети дошкольники о Ленине: Сб. – М.: Красный матрос, 2007. – 79 с.
- Единственный неповторяемый: Сб. ст., воспоминаний, стихов памяти Ленина / Под ред. Н. Райвид и В. Касперского. – Екатеринбург: Изд-во Уралкнига, 1924. – 260 с.
- Живых живее. Кинолетопись о Ленине. Фильмы для показа в дни празднования 100-летия со дня рождения В.И. Ленина: (Альбом). – Нальчик: Каб.-Балк. респ. контора по прокату кинофильмов, 1969. – 151 с.
- Зайцев Н.В. Лениниана в театре и кино. – Л.: Знание, 1969. – 48 с.
- Зорин С. Что может означать – Ленин. – 2-е изд. – Л.: Государственное изд-во «Печатный двор», 1924. – 16 с.
- Кинг Д. Пропавшие комиссары: Фальсификация фотографий и произведений в сталинскую эпоху. – М.: Контакт-Культура, 2005. – 204 с.
- Книги о Ленине: Библиографические очерки / Авт.-сост.: И.Я. Линкова, А.К. Кудрова, О.И. Михайловская; Государственная республиканская детская библиотека РСФСР. – 2-е изд., перераб. – М.: Книжная палата, 1989. – 128 с.
- Комар В., Мелаид А. Бегущая строка на ступенчатой пирамиде. – 1993. – Режим доступа: <http://www.guelman.ru/gallery/moscow/stroka/> (Дата посещения: 08.12.2013.)
- Ленин: Собрание фотографий и кинокадров: в 2 т. – М.: Панорама, 1990. – Т. 1: Фотографии 1874–1923 / Под ред. Ю.А. Ахапкина. – 454 с.
- Луначарский А.В. Революционные силуэты. – М.: Тип. «9-е января», 1923. – 80 с. – Режим доступа: <http://lunacharsky.newgod.su/lib/revolucionnyye-siluetu> (Дата посещения: 10.12.2013.)
- Луначарский А.В. Человек нового времени: Сб. ст., речей, докладов, воспоминаний А.В. Луначарского о Владимире Ильиче Ленине / Сост. И.А. Луначарская; Под общ. ред. А.И. Титова. – 2-е изд., доп. – М.: Изд-во Агентства печати Новости, 1980. – Режим доступа: <http://lunacharsky.newgod.su/lib/chelovek-novogo-mira> (Дата посещения: 10.12.2013.)
- Лунгин А. Жертва 374. «Гелец», режиссер Александр Сокуров // Искусство кино. – М., 2001. – № 7. – С. 22–34.
- На могилу Ильича: Статьи, характеристики, воспоминания. – Л.: Прибой, 1924. – 120 с.
- Пивоваров Ю.С. Передельная Россия // Искусство кино. – М., 2001. – № 7. – Режим доступа: <http://kinoart.ru/ru/archive/2001/07/n7-article1> (Дата посещения: 12.12.2013.)
- Плампер Я. Алхимия власти. Культ Сталина в изобразительном искусстве. – М.: НЛО, 2010. – 496 с.
- Поляновский М.Л. Мы видим Ильича: Рассказы о киносъемках, 1917 год – 1922 год. – М.: Молодая гвардия, 1969. – 144 с.
- Тумаркин Н. Ленин жив! Культ Ленина в Советской России. – М.: Гуманитарное агентство «Академический проект», 1997. – 285 с.

- Умер Ленин / Под ред. Б. Волина и М. Кольцова. – М.: Изд-е «Мосполиграф», 1924. – 26 января. – 64 с.
- Фрадкин Г.Е. На экране – ленинская мысль. – М.: Искусство, 1966. – 127 с.
- Чернышева В. Ильич даст заработать: В Ульяновске обсудили перспективы «красного туризма» // Российская газета. – М., 2013. – № 6243 (267), 26 ноября. – Режим доступа: <http://www.rg.ru/2013/11/26/reg-pfo/turizm.html> (Дата посещения: 08.12.2013.)
- Щербенок А. Песни о главном. «Три песни о Ленине» // Искусство кино. – М., 2009. – № 11, ноябрь. – С. 107–115.
- Эннкер Б. Формирование культа Ленина в Советском Союзе / Пер. с нем. А.Г. Гаджикурбанова. – М.: РОССПЭН: Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина», 2011. – 438 с.
- Якубовский Г. Гений революции. – Л.: Госиздат, 1924. – 8 с.
- Янгиров Р. Прощание с мертвым телом // Отечественные записки. – М., 2007. – № 2 (35). – С. 264–279.
- Verdery K. The political lives of dead bodies: Reburial and postsocialist change. – N.Y.: Columbia univ. press, 1999. – XIII, 185 p.

О.Ч. Реут, Т.П. Тетеревлева

**РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ПЕРЕСТРОЙКИ
В ПРОТЕСТНОМ ДИСКУРСЕ
РОССИЙСКОГО СЕГМЕНТА ИНТЕРНЕТА**

Актуальные репрезентации *позднесоветского* развертываются во времени и отличаются определенной преемственностью, но едва ли правильно рассматривать их как строго упорядоченное движение идей. Однажды предложенная интерпретация, закрепленная в репрезентационных маркерах, не обязательно в дальнейшем будет воспроизводиться и развиваться. Попытки же субъектов политики опереться на те или иные установки прошлого не всегда указывают на осмысленную рецепцию предшествующих идейных положений в результате критического изучения оригинальных текстов. Нередко оценки основываются на обобщенных представлениях, почерпнутых из разных источников.

В сегодняшней России интернет-ресурсы все чаще становятся для поколения тех, кто родился в 1985–1990 гг., главным источником знаний о «совке», гласности и перестройке, принимая на себя решающую роль в формировании массового исторического сознания. Очевидно, что воздействие медиа на изучающих позднесоветский период начинается во все более раннем возрасте, на этапе становления личности. Мультипликационные фильмы оказываются примерами наиболее раннего влияния на формирование представлений о *советском*. Адаптированные к указанному возрасту, по необходимости утрированные образы и суждения способствуют не только созданию развлекательных и ситуационно модернизированных «картинок» в историческом антураже, но и ориентации на коллажное, а порой и коллажно-игровое прочтение продуцируемых медиатекстов. И это неудивительно, если анализировать историче-

ское медиаобразование как звено, связующее систему образования и медиакультуру. Однако определенное отношение к прошлому, его восприятие, детские оценки вполне способны сохранять свое влияние и по мере взросления человека, если элемент «образование с помощью медиа» не дополняется обучением посредством медиа. Вне сомнений, важнейшим аспектом исследуемых процессов выступает интерактивность обучающихся по отношению к себе и другим, к самим медиа, посредством которых познается природа общения и коммуникации как таковой.

При этом история естественным образом превращается в один из элементов новой медийной культуры, что обуславливает качественные изменения, прежде всего, в способах и формах репрезентации исторического знания и специфике его интерпретации. Академическая «*good history*» (научно выверенная интерпретация прошлого) признается в беспомощности «перед кнопкой клавиатуры, которую любому подростку стоит лишь нажать, чтобы почувствовать себя всезнайкой» [Нарышкин, 2012, с. 10] и безнадежно проигрывает медиатизированной «*exciting history*» (эмоционально окрашенной публичной истории). Среди механизмов репрезентации прошлого на первый план выходят такие, как акцент на нарушениях норм, стремление развенчать миф, конфликтизация и развлекательность. Медиатизация сравнительно недавней истории превращает обучающегося в зависимого от контента потребителя исторической информации, вкусы и запросы которого отражают первые страницы результатов интернет-поиска.

Усложнение современных информационно-коммуникационных процессов и интернетизация исследовательских практик ставят новые эпистемологические проблемы перед источниковедческой составляющей научного поиска и формулируют новые вызовы для исторического медиаобразования. Ведь идея системы исторических источников как проекции, помогающей осознать объективность, причинность и объяснимость событий прошлого, начинает размываться, а отход от источниковедческой «нормы» перестает рассматриваться как некий временный медиатизированный эксперимент. Возможности и специфика процессов формирования исторического знания в интернет-пространстве – тема достаточно новая в исследовательском плане.

С учетом этих обстоятельств особый интерес представляет вопрос о построении репрезентационной картины прошлого и возможностей изучения ее особенностей. Каковы инструменты прямого или косвенного воздействия на способы, методы и формы

репрезентации позднесоветского прошлого в российском сегменте Интернета, в той части виртуального пространства современной России, контент которой создается самими пользователями?

Изучение репрезентаций: Теоретический аспект

Репрезентация означает «представленность», «отображение». То обстоятельство, что репрезентации могут рассматриваться как самостоятельные проекции, а не точные или искаженные копии репрезентируемых объектов, автоматически актуализирует проблему противостояния репрезентации и исторического знания, репрезентации и исторической информации или сведений исторического характера. Поэтому в преимущественно описательных исследованиях выделяются два подхода: изучение структур репрезентации и изучение динамики репрезентации. Первый подход вольно или невольно концентрируется на субъективном описании имеющегося исследовательского опыта, а предлагаемые интерпретации выделяемых структур нацелены на изучение способов осмысления прошлого. При этом осуществляется индивидуализация объектов описания, которые не воспринимаются как стандартизированные, что тем не менее не исключает применения, например, математических методов. Суть такого подхода заключается в получении и воспроизведении части субъективных представлений об истории в схемах, переменных и числовых данных. Второй подход ориентируется на изучение возникновения, формирования и развития репрезентаций, их процессуального и динамического аспектов. В центре анализа находится фиксация стимулов, определяющих изменение познавательных и интерпретационных процессов. Главное затруднение при этом заключается в том, что на возникновение репрезентаций влияет слишком большое количество разного рода обстоятельств, и довольно часто невозможно однозначно выделить воздействие каждого из них. Открытым остается и вопрос о том, с чего начинается формирование репрезентаций.

Изучение репрезентаций *позднесоветского* как *политическо-го* неразрывно связано с анализом образов власти – совокупности представлений о легитимности как форме оправдания и поддержания властно-общественных взаимодействий. Признание права на руководство значимо не только само по себе, но и в сугубо процедурном отношении – для выработки стандартов власти как символического посредника, способного обеспечить взаимное выполне-

ние обязательств всех участников политических процессов. Ведь если легальность есть юридическое бытие власти, то определенный, исторически сложившийся порядок приобретения согласия между властными структурами и гражданами описывается категориями легитимности. Доверие и оправдание власти способствуют утверждению правомерности существования политических институтов, признанию справедливости выдвигаемых ими целей.

Акты репрезентаций понимаются как символические, поскольку анализ практик осуществляется посредством образных, метафорических, интеллектуальных и, конечно, поведенческих инструментов соответствующей исторической эпохи. «Практики конструируют и воспроизводят идентичности» [Волков, Хархордин, 2008, с. 22] и в указанном смысле раскрывают особенности властно-общественного существования. Именно в таких условиях формулируются идеи и концепты, последующее выражение которых обретает конкретные способы и характерные черты, образуя совокупность символических слоев репрезентационной картины прошлого.

Возвращаясь, однако, к вопросу, с чего начинается формирование репрезентаций, целесообразно указать на неоднозначное влияние организации знания и, следовательно, способов репрезентации на властно-общественные отношения. Ключевым моментом здесь выступает анализ исторического контекста репрезентации. Культивируя многомерное восприятие сложно организованного мира, историческое знание вносит свой вклад в создание пространства для публичных высказываний и действий. Оно определяет, с учетом установленных исходных посылок, контуры моделей поведения индивидов, социальных групп, государств и объясняет происходившее в прошлом. Такого рода определения и объяснения состоят в изложении того, как скрепляются между собой неоднозначно структурируемые последовательности, взаимозменяющиеся в определенном историческом окружении. В указанном смысле организация знания соучаствует в создании того публичного мира, который в идеале вовлекает каждого в процесс обсуждения общих для всех вопросов, имеющих социально значимые последствия. Историческая наука занимается в первую очередь смыслами, которые вполне могут противопоставляться информации, и поскольку одним из свойств смыслов выступает открытость для интерпретаций, приоритетная задача заключается не в том, чтобы определить и последовательно исчерпать свои объекты изучения; напротив, сформировать обстоятельства, когда результаты будут выступать объектом реинтерпретации.

С. Холл выделил основные направления, позволившие редуцировать многообразие подходов в решении проблемы возникновения репрезентационной картины до трех основных моделей [Hall, 1997, p. 24–26]. Первый, рефлексивный (миметический) подход исходит из того, что воссоздаваемое с помощью репрезентации значение непосредственно связано с отображаемыми событиями, объектами, феноменами или идеями, существующими в реальном мире, а язык (как и любая система знаков) играет лишь роль своеобразного зеркала, отражающего это значение. Данный подход предполагает, что объекты репрезентации не обладают смыслом сами по себе, он порождается в процессе коммуникации, кодирования и декодирования текстов и зависит от исторического контекста.

Производство сообщений, их циркуляция, потребление и затем воспроизводство образуют единый цикл. В этот процесс включаются уже существующие идеологические позиции и наличные знания, которые могут извлекаться из общественного мнения, из политических документов, из источников. Иными словами, то, что становится главным объектом передачи, существует на докоммуникативной стадии в дискурсивно оформленном виде. Аудитория, таким образом, оказывается и получателем сообщения, и его источником – средой, из которой черпаются идеологические клише, знания, мнения и речевые штампы. Такой подход передает один из важных аспектов репрезентации – ее связь с реальным миром, но «бессилен объяснить возможность различных репрезентаций одного и того же явления» [Саморукова, 2013].

Второй подход – интенциональный. Он предполагает, что смысл, способы, методы и формы любой репрезентации целиком задаются ее автором. Он отражает активную роль субъекта репрезентации, но в принципе не может объяснить, почему заложенные в нее смыслы могут восприниматься и разделяться другими людьми, ведь любая коммуникация подразумевает не только автора, но и реципиента. В указанном понимании, даже оперируя одним и тем же материалом, участники построения репрезентационной картины сохраняют постоянную асимметрию между кодами «источника» и кодами «получателя» сообщений «в момент трансформации “в” и “из” дискурсивной формы» [Усманова, 2001].

Третий, конструктивистский подход делает акцент на социальном характере репрезентации, смысл которой не является ни механическим отражением объектов, ни достоянием индивидуального автора, – он каждый раз заново конструируется и реконст-

руируется в процессе коммуникации, непосредственно отражая ее исторически детерминированный контекст. Историческое знание априорно дискурсивно, поскольку получаемая информация многократно опосредована. Ее однозначная интерпретация возможна только в обстоятельствах, когда идеологические или ценностные значения уже настолько закрепились в массовом сознании, что не осознаются.

Последний подход фактически означает отказ от идеала прозрачной коммуникации, на котором основывалось большинство теорий эффективности массмедиа начиная с 1930-х годов. Это обусловлено как особенностями самих новых медиа, так и тем, что артикуляция в рамках определенных систем формирования высказываний и последующая организация нарративов, метафор и образов формируют своеобразный репертуар смыслов, к которым апеллируют участники дискурса. В результате разные интерпретации и репрезентации, с одной стороны, соперничают, с другой – могут весьма причудливо синтезироваться и комбинироваться друг с другом [см.: Малинова, 2009, с. 5–26].

Вместе с тем для адекватного понимания специфики формирования репрезентаций необходимо их контекстуальное изучение в ряду других факторов, определяющих социокультурное бытование любого явления или артефакта. Данный подход нашел, в частности, отражение в концепции «контура культуры» (circuit of culture) [см.: Doing cultural studies, 1997], с точки зрения которой репрезентация является лишь одним звеном в цепочке формирующих дискурсивное значение параметров, куда входят также: идентичность; производство (специфика выработки информации, а также факторы, определяющие или оказывающие влияние на этот процесс); потребление (особенности восприятия / декодирования информации определенной аудиторией); регуляция (набор социетальных норм, правил и предписаний, задающих границы значимости, приемлемости и допустимости, а также маркирующих общие наборы ценностей). Каждое из названных звеньев оказывает влияние на формирование репрезентаций, которые в конечном итоге выступают как сложные социокультурные конструкции, не только отражающие формирование, переопределение и перераспределение ключевых понятий и ценностей, но и активно участвующие в этих процессах. Именно с такой точки зрения в контексте рассматриваемого нами материала особый интерес представляет специфика взаимодействия репрезентации и идентичности [Бурдье, 2002].

Переопределение идентичности

Гласность и перестройка открыли эпоху стремительных перемен в идеологической сфере. Они имели множество важных последствий и, прежде всего, – оказались фактором радикальной трансформации общества, положившей конец существовавшему политическому режиму. Первоначально «гласность» предполагала «откровенное» обсуждение проблем, затруднявших развитие социализма. С провозглашением в 1987 г. курса на «перестройку», подразумевавшего уже исправление недостатков социалистического общества, круг тем, разрешенных для критического осмысления, стал стремительно расширяться. Одним из аспектов перемен в общественном сознании, вызванных политикой гласности, стал процесс переопределения коллективной идентичности. Очевидная либерализация режима и постепенное расширение границ дозволенного для публичных высказываний, планы экономических, а затем и политических реформ, поток медиасообщений о прежде запретных страницах истории XX столетия и, наконец, – первые национальные конфликты, обозначившие хрупкость декларированного единства советского народа, – все эти обстоятельства «побуждали к переосмыслению устоявшихся представлений о политическом и культурном сообществе (или сообществах)», объединенных границами Советского государства [Малинова, 2011, с. 112; см. также: Малинова, 2009, с. 141–182]. Изменения касались в первую очередь представлений о Нас в проекциях времени и пространства. Однако динамика восприятия *Значимого Другого* также имела существенное значение для дискурсивного переопределения коллективной идентичности. По мере того, как каркас идеологических установок, задававших стандарты публичных дискурсов, менялся, постепенно утрачивая свои «нормализаторские» функции, образы Европы становились более «разноцветными» и обнаруживали черты не только различий, но и сходств.

Представляется обоснованным тезис о том, что для Советского Союза, а затем и новой России Европа как квинтэссенция «западности» выступает в качестве *Значимого Другого*, по отношению к которому определяется и переопределяется собственная идентичность. Споры об отношении к этому *Другому* остаются важным условием конструирования современной политической идентичности и фактором структурирования политического спектра. Однако параметры среды, в которой происходят производст-

во, обращение и соперничество идей, для развития общественно-политической мысли в позднесоветский период и в первое десятилетие XXI в. имеют разную значимость.

Важно отметить, что начало процессу переопределения Европы было положено изменениями в дискурсе власти. Концепция «нового мышления», заявленная М.С. Горбачёвым в 1987 г., предлагала новые принципы взаимоотношений с Западом. Традиционным элементом канона советской идеологии был принцип «мирного сосуществования государств с различным общественным строем». Считалось, что этот принцип не отменяет классовой борьбы двух систем, а лишь исключает войну как средство такой борьбы – особенно опасное в эпоху ядерного противостояния. Новацией Горбачёва было дополнение догмата о мирном сосуществовании принципом подчинения «классовых ценностей общечеловеческим», что должно было открывать перспективы для нового международного порядка, основанного на общих ценностях. Концепция «нового мышления» отличалась двойственностью: она вообще не предполагала отказа от классовой борьбы, однако позволяла находить «общечеловеческие» аспекты в том, что прежде клеймилось как «буржуазное» [Малинова, 2011, с. 112]. После 1987 г. репертуар официального словоупотребления пополнился такими понятиями, как «парламентаризм», «разделение властей», «правовое государство», «права человека» и др. Стала меняться и тональность медиапотока о «жизни Европы».

Вместе с тем «западнические» устремления власти не всем оказались по вкусу, и по мере того как официальные установки теряли силу обязательности, на страницах «перестроечных» изданий закипала полемика между новыми «западниками» и «почвенниками». На протяжении пяти перестроечных лет властно-публицистский дискурс заметно эволюционировал: сначала предметом дискуссий были пути повышения эффективности социалистической экономики, позже напрямую заговорили о рынке и частной собственности; после 1989 г. появилась свобода для высказываний в духе русского национализма – и реакция на них.

В связи с этим анализировать тему «цивилизационной идентичности России» во время перестройки и на современном этапе развития протестного движения в логике постепенной эволюции дискурса представляется не в полной мере обоснованным. Интернетизация российской политики, развитие новых медиа и связанной с ними сложно организуемой интерактивной коммуникации

сформировали качественно иные условия актуализации вопроса соотношения с Европой и с Западом в целом.

По мере постепенного размывания националистической картины мира, интерпретирующей человечество как совокупность народов-наций, каждый из которых имеет свой особый характер и судьбу, и утверждающей «национальность» в качестве основного принципа легитимации политических границ [Малинова, 2010, с. 90–91], рассматриваемая актуализация приобретает новое содержание. В рамках дискурса об отношении России к Европе формируются новые элементы представлений о российской политической идентичности. Развитие этого дискурса, первоначально определявшееся соперничеством двух полюсов, представлявших Россию как *тоже*-Европу или *не*-Европу, характеризуется критическим осмыслением перспектив освоения европейского опыта для внутривнутриполитических целей. Противостояние соперничающих интерпретаций происходит не только в контексте дискурсивного конструирования политической идентичности по отношению к *Значимому Другому*, но и с целью понимания системы координат, в которых формируется и развивается пространство российской публичной политики.

При этом принципы, в соответствии с которыми строятся правила высказывания о европейскости, не остаются неизменными. Многократно модифицируется контекстуальное обрамление спора, ведь к началу XXI в. и Россия и Европа стали совершенно иными, нежели 30, а тем более 100 лет назад. Изменилось не только место России в мире и по отношению к Европе – изменились и мир и Европа. Проблема переосмысления собственной идентичности в условиях изменяющегося миропорядка стоит перед Европой не в меньшей степени, чем перед трансформирующимся российским обществом. Более того, изменяются модели артикуляции и сама информационно-коммуникационная среда, которые более не ориентируются на казавшуюся привычной колею, по которой текут рассматриваемые дискуссии.

Формирование протестного движения и соответствующих линий расколов между властью и оппозицией, которые начали интенсивно проявляться с декабря 2011 г., было слабо связано с традиционными способами членения политического пространства между либералами-прогрессистами и консерваторами-почвенниками, даже между правыми и левыми. Протест объединил носителей разных убеждений, что делает актуальной задачу уточнения наличной системы политических различий. В современной России возникают и ис-

чезают новые точки политизации публичного пространства. Политические идентичности становятся более сложными и менее ясными. Очевидно, появляется запрос на систему ключевых означающих, которая описывала бы европейскость / западность уже не столько как линии мировоззренческих расколов, сколько в качестве концептов, характеризующих переформатирование публичной сферы. Отчасти это связано с тем, что внутренняя консолидация оппозиции на основе выработки ключевых точек, стягивающих дискурс европейскости, предельно затруднена. В языке протеста крайне мало нормативных означающих, что, по справедливому замечанию А. Девяткова и А. Макарычева, отличает его от аналогичных движений в Центральной и Восточной Европе, где «лозунги демократии, прав человека и “возвращения в Европу” были доминирующими» [Девятков, Макарычев, 2012, с. 11].

Репрезентации перестройки

Рассматриваемый протестный дискурс в российском сегменте Интернета целесообразно анализировать как совокупность текстов, создаваемых для коммуникации в сфере гражданско-политической деятельности, направленной на уточнение пределов и способов репрезентации *позднесоветского* в публично-политических пространствах. Представляется правильным говорить не об одном, неделимом и монолитном дискурсе, а о совокупности дискурсов, поскольку сам протест выступает как совокупность массовых акций гражданского недовольства, реакции на них государства и их результатов, которые могут заключаться в изменении состава и характера деятельности социальных институтов.

Произошедший в годы перестройки отказ от мифологизированного «морально-политического единства советского народа» естественным образом обострил межгрупповые конфликты, которые в институциональных категориях «формальной демократии» описывались лекалами обязательно возникающего плюрализма. Последующее смещение ценностных ориентаций в направлении отказа от уличной революционности определило основной подход к изучению тех изменений, которым оказались подвержены широкие слои населения в новой России. Трактовка перемен в этой системе ценностей базировалась исключительно на двух тезисах. Во-первых, предполагалось, что общественные приоритеты формируются по принципу «нехватки»: граждане придадут большую ценность тому, чего в обще-

стве относительно мало (например, стабильности или перемен). Во-вторых, подразумевалось, что личные ценностные ориентации и приоритеты определяются условиями социализации. Сочетание этих двух посылок создавало общую теоретическую модель формирования ценностных установок.

Актуализация смысловой пары «легитимность – честность» в протестном дискурсе 2011–2012 гг. хорошо вписывается в эту модель. Важно отметить, что сама по себе честность не является одним из системных принципов выборов как формы непосредственной демократии. К таковым относятся принципы всеобщности, равенства, состязательности, непосредственности, периодичности, тайного голосования и общественного контроля. Как общественно-политический институт, выборы не могут быть более или менее честными – таковыми их делают более или менее честные избиратели и наблюдатели. Самими участниками протеста качество честности отождествлялось прежде всего с исключением фальсификаций только на последних четырех этапах выборов: при голосовании, подсчете голосов, установлении результатов голосования и определении результатов выборов.

На наш взгляд, это объясняется тем, что избиратели – интернет-пользователи, как и все общество, не имеют зрелого опыта политической конкуренции, но демонстрируют стойкий, выработанный именно в результате негативного осмысления итогов и последствий перестройки иммунитет и понимание того, какие средства и методы могут быть использованы российскими политиками для получения или удержания власти. Широкое распространение специфических практик голосования – по открепительным удостоверениям, дополнительным спискам и при непрерывных производствах – наряду с так называемыми «каруселями» (обменом чистых бюллетеней для голосования на заранее заполненные) заметно снизили уровень доверия к избирательным практикам.

Собственно цикл политического протеста, его формы, сила и длительность определяются как ресурсами протестного движения – прежде всего, массовостью и коммуникационным потенциалом, – так и набором аналогичных ресурсов у противостоящих ему сил. Можно предположить, что многие индивиды в той или иной степени не удовлетворены политикой государства, однако, сознавая угрозу репрессий, воздерживаются от массовых ненасильственных (порой называемых «бархатными») протестов до тех пор, пока не почувствуют, что сильнее режима. Мотивация к критическому переосмыслению сложившегося властвования тождественна той, которая сформирова-

ровалась при оценке опыта Советской власти, осуществлявшейся в годы перестройки. Претензии протестующих оформляются с помощью системы бинарных противопоставлений: догматизм – плюрализм, авторитарные – демократические практики, административно-командная – конкурентно-рыночная система, закрытость – публичность политики, нечестность – честность электоральных событий. Не случайно в протестном дискурсе российского сегмента Интернета политическая ситуация 2011–2012 гг. нередко сравнивалась со страной «образца 1979 г.», а про нынешнего главу государства писали, что он «повторяет ошибку позднесоветских вождей: перегружает бюджет и экономику сразу многим одновременно: и огромными социальными программами, и большими военными затратами, и квазиимперскими непроизводительно-затратными проектами типа олимпиады / чемпионата мира по футболу» [Калашников, 2012]. Многие сравнивали В.В. Путина с Л.И. Брежневым, уточняя, что действующий президент «воспроизводит ту же брежневскую модель в резко ухудшившейся ситуации» [Святенков, 2011].

При этом модель самоидентификации в проекциях «застой – реформы», представляя будущее изменение вектора общественно-политического развития как ломку национальных традиций, может опираться главным образом на представления о желанности такого изменения и на волю просвещенного меньшинства к его осуществлению: «Своим развитием и всеми своими достижениями (возможно, за исключением эволюции из обезьяны в *homo sapiens*) человечество обязано меньшинствам: интеллектуалам, пассионариям, художникам, святым, сорвиголовам, визионерам, бесребренникам, героям. И это аккурат те, кого в нашей стране власти сознательно выжигали, и войны выкашивали весь прошлый век, и остатки которых сейчас выдавливает из страны и из активной жизни президентская швондеркоманда. “Большинству” это безразлично или даже “любо” – ведь единственное меньшинство, которое оно готово терпеть, – это воровская начальственная номенклатура. Но [она] (“меньшинства” ведь не обязательно хорошие и полезные) никогда не поднимет страну, а будет тянуть ее только назад и вниз. А спасти ее могут только “враги стабильности” (раньше назывались “враги народа”). Если умные, творческие и бескорыстные люди не окажутся в России у рычагов управления, страна обречена» [Троицкий, 2012].

Указанная конструкция действительно была уязвима для критики сторонников режима. Интерпретируя ее на собственный лад, последние утверждают, что стремление «нигилистов из эли-

ты» разрушить «национальное самосознание народа», сокрушить «самобытную русскую цивилизацию», опираясь на помощь и опыт западного общества («выполняя задание госдепа»), обнаруживает их духовное родство с теми, «кто желал быстрых перемен (Разин, Пугачёв, декабристы, народовольцы, большевики...)» [цит. по: Протесты бывают разные, 2012].

В дискурсе доминирующей партии получила широкое хождение интерпретация протестного движения как попытки «революционно-уличного меньшинства» ценой беспрецедентного насилия навязать «народному большинству» утопический проект западного происхождения: «А в чем, собственно говоря, заключается благость цели болотных революционеров? <...> Революционеры – это карьеристы-разрушители, разрушители чужих жизней, которые ради развития своей политической карьеры, ради власти готовы пойти на союз с дьяволом, т.е. используют любые средства, даже готовы лишить своих соотечественников спокойной, нормальной человеческой жизни» [Исаев, 2012].

В годы перестройки критические выпады охранителей не встречали широкого сочувствия, поскольку идея перемен пользовалась популярностью, и перспектива жизни «как на Западе» привлекала многих. Но в 1990-х годах, когда возникло разочарование в начатых реформах, тиражируемый оппонентами образ «западников» как «нигилистов», которые упорно стремятся навязать России неподходящий для нее чужой путь, получил заметное распространение. Негативная оценка итогов «советского утопического эксперимента» побуждала оценивать критически и дореволюционную историю. Отечественное прошлое виделось как серьезное препятствие на пути к реформам [Малинова, 2011, с. 115], а, например, развитие предпринимательства было обречено на столкновение с психологическими барьерами, укорененными «в неявных “архетипах” культуры» [Панарин, 1991, с. 183].

Тем не менее именно в разграничении «позднесоветского» от «непостсоветского» соотношение «Мы – Европа» начинает играть ключевую роль, при этом важным атрибутом «советскости» становится отталкивание-противопоставление «западности», соответственно, поворот к Западу, совершенный в рамках горбачёвского «нового мышления», начинает восприниматься как значимый маркер дрейфа к «несоветскому».

Протест 2011–2012 гг., несмотря на категоричность в отношении к действующему режиму, «спотыкался» на возможности «сохранения культурно-исторического наследия». Едва ли кто-то из

лидеров протеста был готов ставить вопрос о разработке другого нарратива об отечественной истории, который позволял бы вписать либерально-демократические начала в российскую политическую традицию, не только представив ее как историю «нелиберальной социально-политической системы с доминированием государства над личностью» [Ахиезер, Клямкин, Яковенко, 2005, с. 14], но и продемонстрировав «движение маятника... в противоположную по сравнению с самодержавным диктаторством сторону» – пусть прерывистую и «робкую», но все же существовавшую «традицию ограничения произвола» [Блог Iaggardtullioh, 2013]. Если перестройка мыслилась ее сторонниками из «западного» лагеря как изменение курса отечественной истории в направлении, обозначенном опытом цивилизованных стран, то для протестующих задачи реформирования нарратива о российском прошлом уже не представлялись столь романтическими и максималистскими.

Это объясняет, в частности, очевидную осторожность оппозиции в проведении сквозных исторических параллелей: «Их не так много в нашей истории – Освободителей. Все больше – государственники и крепостники. А правителей, давших людям свободу, кажется, всего два: Александр II Освободитель и Михаил Горбачёв!» [Савельев, 2013]. Во многом это обусловлено тем, что в массовом сознании доминирует иронически-негативный образ перестройки, причем важной особенностью представлений о перестройке становится ее семантическое сближение не с позднесоветским временем (с которым ассоциируется, прежде всего, «застой»), а с постсоветскими «девяностыми», где распад СССР выступает не в качестве знакового рубежа между советской и постсоветской эпохами, а скорее, воспринимается как смысловой стержень именно реформаторско-перестроечных процессов: «Михаил Сергеевич уже был инициатором одной перестройки. В результате мы потеряли страну» [«Единая Россия» приписала Горбачёву... 2013].

В данном контексте объяснимо, почему именно к «развалу СССР» апеллируют сторонники правящего режима, проводя параллель между перестройкой с ее негативными коннотациями и современной оппозицией: «Премии Навальный... как и Горбачёв, вполне вероятно, получит, Горбачёв за развал СССР, Навальный – России» [Россия без Путина, 2013]. Некоторые критики называют А. Навального «Горбачёвым 2.0», намекая на популярность обоих лидеров за рубежом: «Навального на Западе сейчас обожают так же, как в свое время Горбачёва, объявившего perestroika и glasnost» [Путин боится! 2012].

Подобным же образом в один ряд с перестроечными «вестернизаторами» вписывают и других лидеров нынешней оппозиции: «... “экономически целесообразно, по оценкам мирового сообщества, оставить проживать на территории России 15 миллионов человек” (М. Тэтчер). Не к этому ли стремился Горбачёв и стремятся те, кто за честные выборы, – Немцов, Навальный, Яшина, Гайдар, Каспаров?!!»; «В толпе распространяли листовки, призывающие прийти 23 февраля на следующий альтернативный митинг против “оранжевых” и “за Родину”. На оборотной стороне листовки были перечислены враги: Михаил Горбачёв, “разваливший Россию”, Михаил Касьянов “2%”, Алексей Навальный, “чьи сокурсники по Америке уже организовали революции в Египте, Йемене, Ливии, Сирии”, Ксения Собчак, “делающая имя на развращении и отуплении молодежи”» [Винокурова, 2012].

Вместе с тем конструирование желаемого властью унифицированного исторического нарратива о *позднесоветском* представляется проблематичным. С одной стороны, есть соблазн использовать связанные с перестройкой и 1990-ми годами негативные ассоциации для компрометации оппозиции, с другой – современная российская власть – генетически постсоветская, ее суверенитет вырастает на обломках СССР. Это обстоятельство дает основание националистической части оппозиции считать именно ее органическим продолжением и наследницей перестройки. В силу этих обстоятельств официальный дискурс о перестройке касается практически исключительно распада СССР как явления неорганического, результата действия чужеродных сил.

Таким образом, сущностным представляется выделение двух основных приемов репрезентации перестройки: во-первых, проведение параллелей между нею и революционным движением на основе апеллирования к по-разному интерпретируемому концепту «Революция» [Концепт «революция»... 2008], и, во-вторых, представление самой сущности *позднесоветского*, прежде всего, как изменения соотношения «Россия – Запад». При этом протестный дискурс во многом формируется как вторичный / реактивный по отношению к дискурсу власти.

Важно отметить, что спектр ответов, предлагаемых властью на вызовы «конкуренции за владение прошлым», варьируется от попыток официального регулирования исторических интерпретаций *позднесоветского* до предложений (вос)создания «правильного» метанарратива об отечественной истории [Реут, Тетеревлева, 2013]. При этом предпринимаются попытки прямого переноса «офлайн» мер в

Интернет, среди которых в контексте данной темы особое место занимают усилия по (вос)создания унифицированного нарратива об отечественной истории. Еще в период деятельности известной комиссии по противодействию фальсификации истории (май 2009 г. – февраль 2012 г.) подчеркивалась необходимость «усиления работы комиссии в медиапространстве» и предлагалось создать «специальный исторический интернет-портал, который аккумулировал бы в себе все основные материалы по отечественной истории» [Комиссия по противодействию фальсификации... 2011]. Тем не менее специфика интернет-пространства, и в частности его выраженная сегментированность [Публичный дискурс в российской блогосфере, 2010], не позволяют говорить о сколько-нибудь серьезном воздействии подобных мер на характер репрезентации перестройки в общественном пространстве. Поэтому наибольший интерес представляют не практики прямого регулирования, а другие средства реализации исторической политики, которые зачастую являются различными техниками воздействия на общественное мнение.

Литература

- «Единая Россия» приписала Горбачёву «потерю страны» // ПОЛИТ. РУ. – М., 2013. – 31 марта. – Режим доступа: http://polit.ru/news/2013/03/31/edro_gorbachev/ (Дата посещения: 02.04.2013.)
- Ахиезер А., Клямкин И., Яковенко И. История России: конец или новое начало? – М.: Новое издательство, 2005. – 708 с.
- Блог пользователя laggardtullioh. – М., 2013. – Февраль. – Режим доступа: http://laggardtullioh.blogspot.ru/2013/02/blog-post_201.html (Дата посещения: 02.03.2013.)
- Бурдые П. Идентичность и репрезентация: Элементы критической рефлексии идеи «региона» // Ab Imperio. – Казань, 2002. – № 2. – С. 51–60.
- Винокурова Е. «Я Вовка, я за Путина!» // Газета.ру. – М., 2012. – 4 февраля. – Режим доступа: http://wap.gazeta.ru/politics/elections2011/2012/02/04_a_3987461.shtml (Дата посещения: 02.04.2013.)
- Волков В.В., Хархордин О.В. Теория практик. – СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2008. – 298 с.
- Девятков А.В., Макарычев А.С. Новые медиа и сетевая субъектность в России // Вестник Института Кеннана в России. – М., 2012. – № 22. – С. 7–12.
- Исаев А. Подадут ли Удальцову plombirovannyiy vagon // МК.RU. – М., 2012. – 15 октября. – Режим доступа: <http://www.mk.ru/daily/newspaper/article/2012/10/15/761418-podadut-li-udaltsovu-plombirovannyiy-vagon.html> (Дата посещения: 02.04.2013.)
- Калашников М. «Грабли» имени Путина – Брежнева // Forum.msk.ru. – М., 2012. – 11 марта. – Режим доступа: <http://forum-msk.org/material/economic/8518593.html> (Дата посещения: 02.04.2013.)

- Комиссия по противодействию фальсификации истории предложила создать единый учебник по истории для каждого возраста // Фонд «Историческая память». – М., 2011. – 29 сентября. – Режим доступа: http://www.historyfoundation.ru/news_item.php?id=2281 (Дата посещения: 02.04.2013.)
- Концепт «революция» в современном политическом дискурсе / Л.Е. Бляхер, Б.В. Межуев, А.В. Павлов (ред.). – СПб.: Алетейя, 2008. – 360 с.
- Малинова О.Ю. Перестройка и трансформация дискурса о коллективной самоидентификации по отношению к «Западу» // *Perspectiva.net: Bulletin des DHI Moskau*. – М., 2011. – Band 05. – С. 106–122. – Режим доступа: http://www.perspectiva.net/content/publikationen/dhi-moskau-bulletin/die-sowjetische-oeffentlichkeit-zur-zeit-der-abperestroj-kabb-198520131991-materialien-zur-internationalen-konferenz-in-moskau-13.201315-november-2008.-moskau-2011/0106-0122/at_download/document (Дата посещения: 02.04.2013.)
- Малинова О.Ю. Россия и «Запад» в XX веке: Трансформация дискурса о коллективной идентичности. – М.: РОССПЭН, 2009. – 190 с.
- Малинова О.Ю. Символическая политика и конструирование макрополитической идентичности в постсоветской России // *Полис*. – М., 2010. – № 2. – С. 90–105.
- Нарышкин С. Работа над ошибками: что дал России год истории // *Огонек*. – М., 2012. – № 51 (5260). – С. 10.
- Панарин А.С. Революционеры и бюргеры, или неоконсервативный опыт реабилитации репрессированного мещанина // *Дружба народов*. – М., 1991. – № 12. – С. 183.
- Протесты бывают разные // Живой журнал пользователя *ponomarenko1*. – 2012. – 11 марта. – Режим доступа: <http://ponomarenko1.livejournal.com/13857.html> (Дата посещения: 02.04.2013.)
- Публичный дискурс в российской блогосфере: Анализ политики и мобилизации в Рунете / Этинг Б., Алексанян К., Келли Дж., Фарис Р., Палфри Дж., Гассер У.; Исследования Центра Беркмана. – Гарвард, 2010. – № 11. – 60 с. – Режим доступа: http://cyber.law.harvard.edu/sites/cyber.law.harvard.edu/files/Public_Discourse_in_the_Russian_Blogosphere-RUSSIAN.pdf (Дата посещения: 02.04.2013.)
- Путин боится! – 2012. – 12 июня. – Режим доступа: <http://barlifeblog.ru/post223910867/#В1Com615758984> (Дата посещения: 02.04.2013.)
- Реут О.Ч., Тетеревлева Т.П. «Вагон в галстук» или «великий государственный»: репрезентации исторической личности в политическом дискурсе современной России // *Труды Карельского научного центра РАН. Серия «Гуманитарные исследования»*. – Петрозаводск, 2013. – № 4. – С. 107–112.
- Россия без Путина: [Видеоролик]. – 2013. – Режим доступа: <http://rutube.ru/video/a97269af3962c41d21103fd727d2d614/> (Дата посещения: 02.04.2013.)
- Савельев В.Г. День рождения Михаила Сергеевича Горбачёва Освободителя. – М., 2013. – 2 марта. – Режим доступа: <http://vg-saveliev.livejournal.com/307525.html> (Дата посещения: 02.04.2013.)
- Саморукова И.В. Репрезентация // Портал «Цирк “Олимп” + TV». – Режим доступа: <http://www.cirkolimp-tv.ru/vocabulary/63/representatsiya> (Дата посещения: 20.09.2013.)
- Святенков П. Путин начал как Штирлиц, а закончит как Брежнев? // *КМ.RU*. – М., 2011. – 5 октября. – Режим доступа: <http://www.km.ru/v-rossii/2011/10/05/prezidentskie-vybory-2012-goda/putin-nachal-kak-shtirlits-zakonchit-kak-brezhnev> (Дата посещения: 02.04.2013.)

- Троицкий А. Торжество коматозной демократии, или Смерть и судьба // Новая газета. – М., 2012. – 29 октября. – Режим доступа: <http://www.novayagazeta.ru/columns/55140.html> (Дата посещения: 02.04.2013.)
- Усманова А.Р. Холл, Стюарт // Постмодернизм: Энциклопедия / А.А. Грицанов, М.А. Можейко (ред.). – Минск: Интерпрессервис: Книжный Дом, 2001. – Режим доступа: <http://terme.ru/dictionary/1113/word/hol-hall-styuart> (Дата посещения: 02.04.2013.)
- Doing cultural studies: The story of the Sony Walkman / Du Gay et al. – L.; Thousand Oaks, CA: Open univ.: Sage, 1997. – 160 p.
- Hall S. The work of representation // Representation: Cultural representations and signifying practices / Ed. by S. Hall. – L.; Thousand Oaks, CA: Open univ.: Sage, 1997. – P. 13–74.

ПЕРЕЧИТЫВАЯ КЛАССИКУ

Р. Козеллек

ПРОШЕДШЕЕ БУДУЩЕЕ: К СЕМАНТИКЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ

Реф. книги: Koselleck R. *Vergangene Zukunft:
Zur Semantik geschichtlicher Zeiten.* – Frankfurt a. M.:
Schurkamp, 1995. – 389 S.

Эта книга считается одной из центральных в творчестве известного немецкого историка и теоретика исторической науки Рейнхарда Козеллека (1923–2006). В ней была сформулирована его теоретико-методологическая концепция истории как истории понятий (*Begriffsgeschichte*), оказавшая сильное влияние на исторические и социальные науки в Европе и Америке в конце XX в. Кроме того, эта книга явилась важной вехой в работе Козеллека и его коллег над масштабным проектом издания многотомного труда «Основные исторические понятия», осуществлявшимся в 70–90-е годы прошлого века [*Geschichtliche Grundbegriffe*, 1972–1997].

Уже во введении к данной работе, первое издание которой появилось в 1979 г., автор пишет, что его внимание будет «сконцентрировано, прежде всего, на текстах, язык которых эксплицитно или имплицитно выражает опыт исторического времени или, точнее, опыт отношения определенного прошлого к определенному будущему» (S. 11). «Моя гипотеза, – пишет он далее, – заключается в том, что различия в определениях между прошлым и будущим или, говоря антропологически, между опытом и ожиданием, и составляют то, что можно назвать “историческим временем”» (S. 12). И наиболее существенным «историческим временем», о котором предполагается вести речь, является, по Козеллеку, «новое время», в особенности, его ранний, «пороговый» период, ведущий к порогу

эпохи Модерна. Именно в этот период в Европе формируется то «историческое время» или то отношение между прошлым и будущим, которое станет характерным для современности.

Разъяснение своей концепции автор начинает с исторической части, которая озаглавлена *«Отношение между прошлым и будущим в новой истории»*. В нее включено несколько разделов. В первом разделе *«Прошедшее будущее в раннее Новое время»* речь идет о тех представлениях будущего, которые были характерны в период самого раннего европейского «нового времени», которое условно начинается после 1500 г. В образах и источниках начала XVI в. восприятие будущего, во многом определявшееся средневековой христианской традицией, состоявшей в ожидании конца света и Страшного суда, приобретает особенно напряженные и экзотические черты. Козеллек, в частности, иллюстрирует это анализом грандиозного полотна Альбрехта Альтдорфера «Битва Александра» (или «Битва Александра Македонского с войсками Дария III при Иссе»), созданной в 1528–1529 гг. по заказу герцога Баварии Вильгельма IV. В картине античной битвы художник изобразил все признаки своей эпохи – военную амуницию, знаки отличия, архитектуру и т.д. При этом пейзаж носит космический характер эпохальной битвы конца времен – кровавое заходящее солнце, клубящееся тучами небо и поднимающаяся луна в сумраке наступающей ночи. Художник явно показывает, что в битве участвуют не только земные, но и небесные силы. Картина Альтдорфера, как отмечает Козеллек, – это произведение эсхатологического плана, в котором изображается не конкретная историческая битва, а вневременной образ последней битвы сил Христа и Антихриста. Такое событие неумолимо приближается, и его участниками станут современники художника.

Подобная духовная атмосфера напряженного ожидания конца света и Страшного суда была характерна, по мнению Козеллека, для европейской Реформации в XVI в. На арене духовной жизни появились многочисленные пророки и предсказатели близившегося конца времен. Автор ссылается на высказывания Лютера о наступлении конца света, об ускорении хода времен и приближении рокового часа. И тут же он приводит слова из выступления Робеспьера перед Конвентом в мае 1793 г., где тот тоже говорит о наступлении особого, рокового времени – времени свободы, прогресса и революции, которое накладывает роковые обязательства на всех его участников. Сопоставляя эсхатологизм Лютера с его подчеркиванием влияния воли Бога на конец времен и провиден-

циализм Робеспьера, акцентирующий роль воли людей в движении к свободе, счастью и золотому веку, Козеллек утверждает, что, по существу, они фиксируют вытекающие одна из другой начальную (реформация) и завершающую (революция) точки тех изменений, которые претерпело содержание представлений о будущем в преддверии эпохи Модерна (S. 22). Далее он останавливается на анализе этого процесса.

Прежде всего, автор обращает внимание на изменение отношения к пророчествам в религиозной жизни периода Реформации. Ранее за этой сферой пристально следила церковь, жестко оберегавшая собственную монополию на предсказание будущего и расправлявшаяся с являвшимися время от времени предсказателями и пророками, которые пытались выступить с некими не санкционированными официальной церковью проектами будущего. Они объявлялись еретиками и подвергались гонениям во имя церковного единства, так как единство церкви было тесно связано с эсхатологическим представлением о будущем. Святая церковь и Священная империя «удерживали» мир от скрытого во времени эсхатологического конца. Но теперь эсхатологические представления о близком будущем, ворвавшиеся в европейский мир через пророчества Лютера, Цвингли и Кальвина, подорвали единство церкви и империи. Из факторов интегрирующих они превратились в дезинтегрирующие; религиозный мир, как и мир в империи, был нарушен. И для его обеспечения теперь требовались не казни еретиков, а компромиссы. А это значит, пишет Козеллек, что для обеспечения будущего теперь требовался новый принцип – принцип «политики» (S. 23), что и показало следующее столетие.

Определение правильной веры и ереси становилось теперь прерогативой государства и политики. На первых порах это выражалось известной формулой «чья власть, того и вера», которая позволяла светским правителям проводить политику, относительно независимую от религиозных партий. Но только после Тридцатилетней войны (1618–1648) принцип религиозной индифферентности утвердился в качестве основы мира в Германии, что позволило немецким князьям эмансипироваться в качестве суверенных территориальных правителей. Для представления будущего все это, отмечает Козеллек, имело важное значение. Прерогатива создавать версии будущего переходила к абсолютистскому государству. И здесь оно действовало сходным со старой церковью образом, ведя борьбу с разного рода религиозными, астрологическими и другими пророчествами и предсказаниями относи-

тельно будущего. Они, конечно, продолжали появляться и в XVII, и в XVIII вв., но постепенно вытеснялись из сферы, связанной с политической и принятием государственных решений (S. 26). В основном они локализовывались в бытовой и фольклорной сферах, где против них выступали просвещенные интеллектуалы того времени. Среди них Козеллек упоминает Монтеня, Бэкона и, наконец, Вольтера, у которого критика религиозных пророчеств и предсказаний достигает кульминации.

Постепенно на смену религиозной эсхатологии в эту эпоху, как заключает автор, приходят два вида представлений о будущем: рациональный прогноз и то, что в дальнейшем получило название философии истории.

Их рассмотрению Козеллек посвящает второй раздел исторической части книги, который озаглавлен «*Historia Magistra Vitae. О распаде исторического топоса в свете движения истории в Новое время*». В нем автор анализирует формулу, известную еще в античности и, в частности, выраженную Цицероном, что история и извлеченный из нее прошлый опыт могут служить руководством для действий в настоящем. Он может иметь моральное, воспитательное, но и практическое значение. Этому взгляду, считает Козеллек, предпослано понимание неизменности человеческой природы, а также принципиальной схожести условий, обстоятельств и событий земного человеческого существования. В ранний период Нового времени оно стало основой рациональных политических прогнозов, пришедших на смену теологическим представлениям о будущем. В таком ключе, например, размышлял об истории король Пруссии Фридрих Великий, высказывания которого цитирует Козеллек. В то же время он констатирует, что в этот период нарастает и скепсис в отношении прогнозирования на основе истории. Тот же Фридрих параллельно своим суждениям замечал, что «новые поколения не следуют проторенной дорогой отцов, а торят свои пути». Однако, по мнению Козеллека, эти суждения не разрушали исходный «топос» понимания истории как примера для действия, так как сами формулировались как «мудрость истории», т.е. исходили из представлений об истории как источнике опыта прошлого.

Поворот в разрушении этого «топоса» происходит, по Козеллеку, в немецкоязычном пространстве в XVIII в. по мере вытеснения из сферы представлений об истории понятия «Historie» (исторический нарратив) и замены его понятием «Geschichte» (от «Geschehen» – происходящее) (S. 48). В этом понятии посте-

ленно растворялись различия между «происходящим» и «рассказом о нем»: и то и другое объединялось в общем понятии истории, где растворялось различие субъекта и объекта. Вследствие этого менялся и характер нарративов, они приобретали новое звучание – не просто рассказов о прошлом, а изложения самого хода действительности. В них включались элементы поэтики, категории «силы», «направления», «плана» и др., что способствовало появлению философии истории. В итоге «топос» истории как примера прошлого был заменен, с одной стороны, критичным отношением к прошлому, с другой – образом движения истории к будущему, которое и становилось примером. Возник новый «топос» – истории как прогресса, а примером для жизни становилась возможность создавать историю, ускоряя ее путем революции.

Третий раздел этой части *«Исторические критерии понятия революции в Новое время»* посвящен историческим критериям понятия революции в Новое время. Козеллек утверждает, что современное понятие революции было сконструировано в Новое время и было связано с событиями Великой французской революции. До этого понятие революции имело значение кругооборота политических форм, повторения, на что указывала, в частности, и частица «ре» в слове. На кругооборот указывало и его применение к событиям английской революции, завершившейся Реставрацией. Для социальных конфликтов и войн оно не применялось. Для этого существовало понятие «восстания» (Rebellion) и другие. Модным словом революцию сделали просветители в середине XVIII в. В основном оно использовалось как позитивное понятие в духе «славной революции» в Англии, открывающее новые горизонты и позволяющее решить проблемы, избегая насилия и гражданской войны.

В заключение раздела Козеллек формулирует признаки, которыми это понятие стало характеризоваться после 1789 г. Оно: 1) «зингуляризуется», превращаясь в общее или в метаисторическое понятие; 2) пропитывается опытом ускорения исторического процесса; 3) характеризуется степенями исторического движения через соотнесение с другими понятиями: революция – реформа; революция – контрреволюция и др.; 4) изменяет взгляд на прошлое в свете перспективы будущего; 5) характеризуется расширением от политической революции к социальной революции, к дальнейшему углублению путем осуществления социальной эмансипации; 6) пространственно расширяется (мировая и перманентная революция, включающая всех людей); 7) расширяется посредством

неологизма – «революционер», означающего возможность «делать революцию»; 8) включает новую революционную легитимность, позволяющую ликвидировать прежнее право и вводить новое, революционное.

Завершает историческую часть четвертый раздел *«Исторический прогноз в заметке Лоренца фон Штайна о прусской конституции»*. В нем автор рассматривает воззрения известного немецкого историка и философа XIX в. Лоренца фон Штайна. Этот материал включен в работу, прежде всего, для того, чтобы показать многоплановость исторического мышления эпохи Нового времени, общие особенности которого Козеллек выделил в предыдущих сюжетах. Близкий к гегельянской традиции и исторической школе немецких историков XIX в. фон Штайн, на первый взгляд, мало похож на идеологов прогресса и Просвещения периода раннего Модерна. Однако Козеллек показывает наличие такой связи. Исторические работы фон Штайна во многом нацелены на прогнозирование будущего; их автор связывает прогресс с критическим историзмом, учитывая прошлое и сохраняя базовое представление об обращенности в будущее. История рассматривается фон Штайном как движение различных течений и компонентов с разными ритмами и ускорениями; в его подходе объединяются критическая дистанция и прогрессивная перспектива.

Вторую часть, озаглавленную *«К теории и методу исторического определения времени»*, Козеллек начинает с раздела *«История понятий и социальная история»*, в котором предпринят сравнительный анализ предметов социальной истории и истории понятий. Различение этих разделов исторического знания он связывает с долгой традицией изучения отношений между словами и делами, духом и жизнью, сознанием и бытием, языком и действительностью, берущей начало в античности. Если история понятий занимается текстами и словами, то социальная история использует тексты для познания положения дел, которые имеют место за пределами самих текстов. Она исследует социальные формации, политические формы, отношения социальных групп, слоев и классов, а также разного рода долговременные социальные структуры и их изменения. Тексты и обстоятельства их возникновения являются в этом случае лишь вспомогательным материалом. История же понятий в первую очередь занимается изучением и интерпретацией самих текстов, опираясь на методы историко-филологических дисциплин. И это различие имеет основополагающий характер.

Но, как подчеркивает автор, развитие методологических подходов показывает, что отношения этих дисциплин являются более сложными и комплексными. С одной стороны, невозможно представить себе общество без некоторых общих понятий, обеспечивающих его единство. С другой стороны, понятия в обществах образуют значительно более сложные комплексы, чем просто языковые сообщества, руководствующиеся определенными понятиями. «Общество» и его «понятия» находятся в достаточно сложной связи, характеризующейся к тому же определенной напряженностью, что относится и к представляющим их дисциплинам.

Раскрывая эти связи, автор ищет ответы на три взаимосвязанных вопроса. Во-первых, какой вклад пользующаяся классическим историко-критическим методом история понятий может внести в исследование тем социальной истории? Во-вторых, является ли история понятий самостоятельной дисциплиной, со своим методом, содержанием и предметной областью, которая существует параллельно с социальной историей, частично с нею пересекаясь? В-третьих, располагает ли история понятий собственным теоретическим содержанием, без включения которого социальная история испытывает недостаточность (S. 108)?

Рассматривая первый вопрос, Козеллек предпринимает подробный анализ Записки прусского министра (позднее канцлера) фон Гартенберга о реформе прусского государства, написанной в 1807 г. Используя классический метод историко-филологической критики источника, он анализирует использованные в этом документе понятия с точки зрения их семантики, генезиса, соотношения с другими понятиями, прагматики языка. В частности, исследуются понятия «класс», «сословие», «собственник», «государство» и др. В результате автору удается лучше представить содержание, ход, исторические, персональные и социальные особенности конфликта между реформаторской группой и прусским юнкерством в начале XIX в. посредством его анализа на семантическом уровне. Выводы Козеллека по итогам этого сюжета вполне определены. Историко-филологический анализ источников в рамках истории понятий позволяет делать выводы, связанные не только с историей языка, но и с социальной историей. И в этом плане семантический анализ, будучи пограничной частью филологии, является также преимущественно вспомогательным средством исторической науки. Проходя через семантический анализ истории понятий, высказывания прошлого уточняются, а заключенные в них реальности или отношения, представленные в языковой форме, делаются для нас яснее, заключает автор (S. 114).

Отвечая на второй вопрос, Козеллек сосредоточивает внимание на рассмотрении предмета и методов самой истории понятий. Здесь он выделяет, прежде всего, проблематику, связанную с синхронным и диахронным анализом понятий, и область истории идей, влияющих на исторические контексты. Обе области, по мнению автора, требуют специальных методов, которые позволяют соизмерять историю того или иного понятия с «пространством опыта» и «горизонтом ожидания» определенного времени, где исследуются его социальные и политические функции и область употребления. Или, коротко говоря, соотнести анализ понятия с исторической ситуацией и временным измерением.

При выделении самостоятельной области истории понятий на первый план выступает диахронный принцип. Он предполагает, что рефлексивное исследование изменения понятий предшествует социально-историческому исследованию. Длительность, изменение и новизна значений слов должны быть изучены до обращения к социальному контексту или до того, как они будут рассмотрены в качестве индикаторов социальных структур или политических конфликтов. С точки зрения темпорального (временного) аспекта среди социальных и политических понятий должны быть выделены три группы: 1) группа традиционных понятий; примером здесь могут служить аристотелевские понятия форм правления, значения которых были определены исторически, но частично сохраняются и сегодня; 2) понятия, значения которых очевидно изменились, несмотря на сохранение словесной формы; их сегодняшние значения существенно отличаются от их значения в прошлом; 3) неологизмы, появление которых является реакцией на социальные и политические изменения.

Применение критериев продолжительности, изменчивости и новизны к исследованию значения понятий и употребления слов и составляет самостоятельную область истории понятий. Но одновременно это повышает ее релевантность по отношению к социальной истории, позволяя соотносить изменения / неизменность понятий с изменениями / неизменностью социальных структур. В качестве примеров автор разбирает по указанным критериям целый ряд понятий, в частности, «демократия», «гражданин», «союз» и др., а также показывает, какое значение этот анализ имеет для социальной истории.

В этом контексте Козеллек обращается к анализу отношения понятий и слов. Опираясь на лингвистическую модель «знак (слово) \Rightarrow значение (понятие) \Rightarrow означаемое (положение дел)», он

констатирует, что всякое понятие выражается словом, но не всякое слово является понятием. Понятия содержат обобщающую силу в отношении обозначаемого. Слова могут употребляться как многозначно, так и однозначно, понятия же должны оставаться многозначными. Они больше, чем просто слова, так как в них слова употребляются для обозначения полноты связей и условий означаемого. В значении понятия концентрируются и объединяются значения многих аспектов означаемого (его исторических условий, опыта и др.). При этом семантическая функция понятий заключается не только в том, что они обозначают определенные исторические данности, но и в том, что они являются их фактором. Каждое понятие обозначает также горизонты и границы возможного опыта, поэтому история понятий позволяет изучать и то, что обращено к будущему. В связи с этим автор делает еще одно методическое замечание. Исследование понятий не ограничивается их семантическим (семасиологическим) анализом, но и дополняется ономасиологическим исследованием, что означает регистрацию возможностей многообразных обозначений для идентичного (или сходного) содержания, в связи с чем в истории понятий важное место занимает изучение того, каким образом какое-то содержание было приведено к понятию.

Исходя из этого, по заключению Козеллека, история понятий может быть определена как самостоятельная область исследований, пользующаяся собственными методами. Но при этом исследование истории понятий не является самоцелью, а представляет собой самостоятельную составную часть социально-исторических исследований, имея общие теоретические предпосылки с социальной историей.

Приступая к третьему вопросу, Козеллек рассматривает общее и различное в теоретических основаниях истории понятий и социальной истории. В предметном поле и той и другой дисциплины исследуются определенные состояния и их изменения во времени. Но это не значит, что одно может быть опосредовано другим или что изменения понятий полностью соответствуют изменениям в социальной истории. Это лишь означает, что метод истории понятий является необходимым условием (*sine qua non*) для осмысления вопросов социальной истории.

Вместе с тем история понятий имеет то преимущество, что она рефлексивна, связывая понятие и действительность. И это создает определенное познавательное напряжение, продуктивное для социальной истории. В ходе смены синхронного и диахронного анализа история понятий помогает определить продолжительность

действенности прошлого опыта и прошлых теорий. Смена перспективы позволяет видеть различия между старыми условиями употребления-образования слов, которое было нацелено на исчезнувшее положение дел, и новым содержанием тех же самых слов. История понятий проясняет хронологическую многослойность значения понятий, укорененных в разных временах. При этом она идет за пределы синхронии и диахронии, она указывает на *одновременность разновременного*, содержащегося в одном понятии. Она, другими словами, позволяет анализировать то, что в социальной истории относится к теоретическим предпосылкам, когда в ней выделяют короткие, средние и длительные периоды и когда в ней отделяют события от структур. Глубинное основание понятия, которое не идентично хронологической последовательности изменений его значения, представляет собой то, что обязательно должно приниматься в расчет социальной историей (S. 126). Одним из важных свойств языка, отмечает Козеллек, является то, что каждое слово и каждое имя может выходить за пределы того единичного феномена, который оно называет. Это относится и к историческим понятиям, даже если они первоначально служат лишь для связывания комплексного опыта в его единичности. Однажды «определенное» (geprägter) понятие содержит в себе в чисто языковом плане возможность генерализованного применения, образования типов или сравнений. История понятий индуцирует, таким образом, и структурные вопросы, в ответах на которые нуждается социальная история. «Понятия, которые охватывают прошедшее положения дел, связи и процессы, могут дать возможность социальному историку представлять в настоящем “действительную” историю прошлого» (S. 126).

Второй раздел этой части *«История, истории и формальные структуры времени»* Козеллек начинает с вопроса об «истории вообще». Этот вопрос, поставленный еще в средневековой теологии как «ordo temporum» и означавший, что история есть дело Бога, а не человека, в новой современной форме был впервые поставлен в Новое время. И в этой версии «история вообще», понимаемая одновременно как субъект и объект, является достоянием опыта Модерна и его характерным семантическим признаком. Модерн «вызвал появление философии истории и приобрел трансцендентный и также трансцедентальный характер, что побуждает нас, — пишет Козеллек, — переосмыслить теоретические предпосылки нашего исследования... В этой связи мое предложение состоит в том, чтобы обратиться к изучению *структур времени*

(временности), которые свойственны одновременно как «истории вообще», так и историям во множественном числе, т.е. отдельным предметным историям» (S. 131). Такой способ обращения к структурам времени открывает доступ к научному исследованию истории, избегая постановки вопроса об «истории вообще», свойственной раннему Модерну.

Далее Козеллек формулирует три базовые формальные предпосылки, которые составляют основу теории структур исторического времени (S. 132). 1. Необратимость событий, наличие «до» и «после» в различных взаимосвязях. 2. Повторяемость событий: в виде идентичности, в виде повторяющихся констелляций, в виде типологической организации событий. 3. Одновременность неодновременного, т.е. присутствие разных слоев исторических последовательностей в рамках одной и той же естественной хронологии. Наличие этих разных временных слоев позволяет изучать действия и условия различной длительности, соотнося их друг с другом, а также осуществлять прогнозы на основе современных событий.

Из комбинаций этих трех формальных критериев можно создавать дифференцирующие определения (например, прогресс, декаданс, ускорение, замедление, «еще не», «больше не», раньше, позже и др.), позволяющие обнаруживать конкретное историческое движение. Эти различия должны применяться к тем историческим суждениям, которые, исходя из теоретических предпосылок, обращаются к эмпирическому исследованию, а также обнаруживаться в эмпирическом материале. Следует также, как отмечает автор, отличать историческое время от естественного времени, представленного в естественных хронологиях. Последнее является условием первого, но не совпадает с ним. Историческое время имеет другие последовательности и ритмы. В частности, оно может зависеть от развития техники. Но не только. Во многом оно зависит от интересующих взаимодействий, включающих цепочки мотиваций и модели поведения. Свои ритмы исторического времени есть у структур повседневности, свои – у политики, свои – у социальных процессов.

Далее Козеллек предпринимает исследование структур исторического времени трех эпох – античности, христианско-иудейского Средневековья и Нового времени. Кратко резюмируя, можно отметить, что в историческом времени греческой античности Козеллек акцентирует предпосылку повторяемости событий и их констелляций, в историческом времени средневекового христиан-

ства – предпосылку конечности времени и его необратимости, в историческом времени Модерна – теоретическую предпосылку прогресса.

При этом он специально останавливается на восприятии исторического времени в эпоху раннего Модерна. Основными категориями здесь выступали прогресс, регресс, ускорение и замедление. Концепция «истории в себе и для себя», выработанная в раннем Модерне, открывает современное историческое время, вбирающее пространство опыта, свойственное различным аспектам Модерна. Понятие истории артикулируется теперь как множество, охватывающее взаимозависимость событий и интерсубъективность действий; оно включает трансцендентальный (философско-исторический) компонент; оно регистрирует переход от истории как агрегата к мировой истории как системе. Оно позволяет понять историю как процесс, который запущен имманентными силами и не определяется больше природой и, следовательно, не может быть удовлетворительно объяснен причинной связью. Динамика присуща ему по определению. Это процесс недетерминистский, поскольку его субъект или субъекты опосредуются рефлексивно самим процессом, а цели определяются многозначностью человеческих планов; понятие прогресса в нем амбивалентно и является в равной мере конечным и бесконечным. Амбивалентно и само современное понятие истории, поскольку, с одной стороны, мыслится как целостность, а с другой – никогда не понимается как закрытое, так как его будущее остается неизвестным (S. 143).

Третий раздел этой части озаглавлен «*Представление: событие и структура*». Он начинается с вопроса о том, каким образом историк должен представлять свой предмет. Рассматривая его, Козеллек предлагает следовать за Августином, который говорил, что историописание должно быть «нарративом, демонстрирующим сходство» (*narratio demonstrationi similis*). То есть история должна быть рассказана похожим с ходом событий образом. Но кроме рассказа о событиях, отмечает автор, история должна еще уметь представлять «структуры». И его тезис состоит в том, что структуры должны представляться иначе, чем события. Событие должно быть рассказано, а структура – описана.

Чтобы поддаваться пересказу, событие должно быть уже как-то выделено современниками, должно иметь какое-то смысловое единство. Должен быть некий минимум происходящего до и после, внутри которого возникает смысловое единство, образующее событие. В событии должна быть выделена наложенная на

него временная последовательность. И она должна быть отражена в интерсубъективности действующих участников (S. 145). «До» и «после» – конституируют смысловой горизонт события, потому что исторический опыт, который позволяет выделить событие, всегда имеет временную последовательность. Историческое время должно быть руководящей нитью представления события, чтобы рассказать о политике, войне, дипломатии и т.д. в необратимости протекания. Для исторической хронологизации требуется определенное структурирование событий. В их протекании есть диахронное структурирование – кульминации, периферии, кризисы, завершения, которые для их участников однозначны. Но кроме этих диахронных структур событий в истории имеются и долговременные структуры. В современной социальной истории о структурах и о структурной истории говорят и с точки зрения времени (здесь автор упоминает Броделя). Структуры – это такие взаимосвязи, которые не соответствуют строгой последовательности уже известных событий. Они характеризуются большей длительностью и непрерывностью изменения.

При анализе отношений событий и структур Козеллек отмечает, что способы их представления в исследовании осуществляются определенным соподчиненным образом. Сначала рассматриваются временные уровни, которые не зависят друг от друга, затем рассматриваются события, имеющие структурное значение, и далее длительность внутри событий. При этом он также указывает на сложности, которые возникают при переходе от события к структуре, и наоборот. В частности, он акцентирует два теоретико-методологических соображения.

Во-первых, фактичность прошедшего события не идентична действительно произошедшему в его тотальности, поэтому представленное живет как фикция фактического, так как сама действительность уже прошла. Контроль источников предписывает, что может быть сказано о фактах, а что – нет. Но историк может интерпретировать события, излагая их убедительно.

Во-вторых, действительность представления прошлых структур не меньше, но и не больше, чем действительность прошлых событий. Ее можно представить только гипотетически. Но и гипотетичность представленных структур и фиктивность представленных событий не должны препятствовать историку представлять их в языке как его реальную основу.

И здесь Козеллек подчеркивает роль понятий, которые покрывают массив прошлой событийности и сегодняшнего дня,

делая их понятными историку. Ни одно событие нельзя рассказать, ни одну структуру представить, ни один процесс описать, не применяя исторических понятий, которые позволяют понять прошлое. Изучение исторической семантики показывает, что любое историческое понятие, которое входит в представление, не только определяется через единичность его прошлых значений, но и содержит структурные возможности для их анализа в последующем (S. 155).

В четвертом разделе «*Случай как остаточная категория в исторических сочинениях*» Козеллек отмечает тенденцию негативного отношения к случаю в современной историографии. Историки стараются избавиться от этой категории, трактуя ее как выражение еще не открытых факторов и не выясненных причин. На этом фоне в историографии усиливается внимание к структурным объяснениям, к подчеркиванию в истории роли структур. В прошлом категория случая (фортуны) использовалась более широко, но, как отмечает Козеллек, приводя различные примеры, она выступала в качестве неисторической категории, как вмешательство в историю извне. В исторических школах Нового времени категория случая в истории постепенно элиминируется, встраиваясь в понятие необходимости. Но, задается вопросом автор, не является ли это встраивание случая в необходимость истории на самом деле абсолютизацией случайности в масштабе всей истории?

Свою позицию в связи с этим он формулирует иначе. Как считает автор, случай – это феномен современности, он означает «прорыв» хода происходящего, появление новых возможностей и перспектив. В этом качестве он не относится к уже ставшему прошедшему и к еще не наступившему будущему. Такое «осовременивание» случая помогает увидеть его место в истории, точнее – в прошлой современности.

Последний пятый раздел этой части «*Местоположение в истории и темпоральность*» имеет подзаголовок «*Об открытии историографией исторического мира*». В предисловии к разделу Козеллек приводит два аргумента в пользу исторической науки: сегодня мы знаем об истории больше, чем раньше; мы достигли этого знания благодаря пониманию. И тем не менее проблема релятивизма и объективизма в исторической науке остается острой (S. 178).

Он начинает с тезиса, что исторический релятивизм идентичен открытию историографией исторического мира. Объективистская, надпартийная история, история, сводимая к чистой истине события или факта, – это слабая, «умирающая» история, считает Козеллек. Ей может противостоять «живая» история или «история

с позиции местоположения или перспектив». Ее предпосылкой является открытие исторической наукой «местоположения в истории» (Standort)¹. Теоретически это означает, что исходный центр исторического познания – это пространство опыта современников, обусловленное желаниями и планами прошлого и перспективами будущего. Автор отмечает, что это обстоятельство открыл и обосновал еще в XVIII в. Иоганн Кладениус (Chladenius) (1710–1758), считающийся одним из предтеч современной герменевтики. «С тех пор, – пишет Козеллек, – связанность с “местоположением” стала для историков не упреком, а предпосылкой исторического познания» (S. 185).

Теперь не только прошедшая современность является объектом изучения истории, но и само прошедшее предлагается в своем разнообразии в настоящем в виде рассказов о прошедших современностях. Возникает рефлексивное осовремененное прошедшее. Благодаря этому историческая наука представляет собой рефлекссию прошедшего в современности. Но это означает также и открытие в истории качества временности современности и ее изменения в историческом движении – то, что раньше было не так, как сегодня, в будущем также будет происходить иначе. События не повторяются. И в данном случае мы имеем прогрессивное изложение истории. «Таким образом, историзация изложения и прогресс оказываются двумя сторонами одной медали» (S. 192).

Возвращаясь к вопросу об объективности и партийности в изложении истории, Козеллек полагает, что проблему фактов (объективности) и суждений о них (партийности) надо поставить следующим образом. Вопрос об установлении фактов – вопрос технический, он связан с методикой и технологией критики источников и не относится к спорам об объективности. Они возникают тогда, когда установленный факт попадает в сферу оценок и интерпретаций. Историк вынужден вступать в эту область, чтобы реконструировать историю событий и структур, где он пользуется построением теорий и интерпретаций. Источники и факты ограничивают нас и предохраняют от ошибок в этой сфере. Но они не

¹ В немецком языке много вариантов перевода этого слова на русский, но, как правило, используется перевод «место», «местоположение». По сути, у Козеллека речь идет о том, что представления о прошлом меняются в зависимости от того, в каком «месте» (истории), «местоположении в истории» находится историк по отношению к этому прошлому.

предписывают нам направленность и характер наших интерпретаций и теоретических построений. И в этом смысле они не препятствуют релятивизму и партийности в изучении истории.

Третья часть книги озаглавлена «*К семантике исторических изменений в опыте*». Ее автор начинает с раздела «*Об исторической семантике асимметрично противоположных понятий*». В нем речь идет о понятиях, которые имеют оценочное значение и используются для персональных самохарактеристик и характеристик других. При этом они имплицитно содержат взаимное признание, но в эксплицитной, высказанной форме отграничивают себя от другого и не признают за ним равного статуса. Такого рода асимметричные понятия часто используются для консолидации социальных групп и организации их действий. В этом случае понятия используются не просто как названия, а служат формированию единиц политического и социального действия, когда самоопределение этих единиц происходит через разграничение и противопоставление другим. Эти понятия не только обозначают эту единицу, но определенным образом характеризуют и создают ее, являясь не только индикатором, но и фактором существования и развития социальных групп (S. 212).

При этом исторически действующие социальные и политические единицы, как отмечает Козеллек, обычно стремятся к «приватизации» («зингуляризации») всеобщих понятий, применяя их только для самоопределения. Стремление к «приватизации» всеобщих понятий означает претензию на всеобщность этой группы, отвергающую ее сравнение с другими. В этом случае появляющееся противоположное понятие, применяемое для характеристики других, содержит их дискриминацию. Исторический и политический мир знают множество таких противоположных асимметричных понятий, и даже, возможно, большая часть понятий в этих сферах являются именно такими. Для их исследования Козеллек предлагает ряд методических рекомендаций.

Прежде всего, он отмечает, что особенность политического языка заключается в том, что хотя его понятия и относятся к единицам действия, группам, институтам и их движению, но они этим не исчерпываются. Также и история не сводится к сумме названий, характеристик и дискуссий и не исчерпывается понятиями, с помощью которых она понимается. Поэтому следует избегать редукции политической истории к языку понятий и наоборот. Различие между историей и ее «понятийным становлением» следует опосредовать с помощью *историко-политической семантики*. Следу-

ет учитывать различия между словоупотреблением асимметричных понятий в прошлом и содержащимися в нем семантическими структурами. И наконец, анализ должен быть нацелен не на историческое исследование изменений дуалистических понятий и их историческое влияние, отмечает автор, а лежит на другом уровне. Он направлен на изучение аргументационной структуры возникших дуалистических языковых фигур, на то, каким образом отрицаются противоположные позиции.

В работе Козеллек останавливается на подробном анализе трех пар дуалистических асимметричных понятий разных эпох: «эллыны и варвары» (античность), «христиане и язычники» (Средние века) и «человек и нечеловек» (а также «сверхчеловек и недочеловек»), которую он относит к Новому времени. Кратко резюмируя итоги этого анализа, отметим следующее. В первой паре Козеллек, прежде всего, выделяет языковую фигуру пространственного разделения и первоначальный акцент на разделяющие их природные константы. Затем территориальное разделение трансформируется в духовное разделение. Во второй паре автор выделяет фигуру временного разделения. Оно темпорализовано и, следовательно, может быть снято. Его характеризует динамика отрицания, отличающая ее от античной пары. Третья пара характеризуется фигурой универсальности, претендующей на охват всего человечества. При возникновении противоположного понятия появляется фигура аннигиляции противников, а идеологии становятся взаимозаменяемыми, что исключалось в двух предшествующих парах. Еще одно отличие – устранение различий между внутренним и внешним, так как речь идет о горизонте одного человечества. При возникновении проблем они также должны распределяться на всех людей.

Во втором разделе «*О способности распоряжаться историей*» Козеллек основное внимание уделяет проблеме истории, созданной людьми. Ее он рассматривает в двух аспектах. Во-первых, как проблему появления этого представления – когда и как оно возникло. Во-вторых, как проблему способа создавать (делать) историю (S. 261). Ответ на первый вопрос для Козеллека вполне ясен: представление об истории, созданной людьми, возникает в эпоху Нового времени, в немецкоязычном пространстве – после 1780 г.

В семантическом плане он обосновывает это следующим. В этот период понятие истории перестает использоваться во множественном числе и начинает использоваться в единственном числе (Singular), что в историческом словоупотреблении означает

появление нового пространства опыта и горизонта ожидания. Также в этот период в рамках понятия истории происходит конвергенция представлений о процессе событий и его осмыслении. И в этой семантической конвергенции содержится отказ от некоей внеисторической инстанции, которой определяется ход истории. Рефлексивное понятие истории становится предпосылкой для планирования исторического действия и возможности «делать историю». В этот период история как последовательность событий и как рассказ о них отходит на второй план. На первый же план выдвигается возможность социального и политического планирования, т.е. горизонт будущего. И в этом обстоятельстве важны два аспекта: антропологическое обоснование действий в истории, а также их соотнесение с «историей вообще», открывающее горизонт будущего для мировой истории и ставящее дебаты о нем в порядок дня.

Отвечая на второй вопрос о том, как делается история, Козеллек на примерах четырех исторических персонажей – Маркса, Бисмарка, Гитлера и Рузвельта – анализирует деятельность, которую можно назвать «деланием истории». Отмечая особенности каждого случая, автор выделяет и общие черты этого процесса. С точки зрения социальной истории ее творят активные социальные группы, которые хотят внести в нее нечто новое. При этом они часто ссылаются на то, что они помогают ходу самой истории. Прежде всего, это служит самооправданию их действий, а также создает идеологическую основу для вовлечения в их действия других (S. 270). При этом Козеллек замечает, что люди в истории могут вставать над обстоятельствами происходящего и добиваться желаемого, но сами эти данности долгое время существуют в неизменном виде, а если и начинают меняться, то очень медленно, поэтому никакой прямой управляемости они не поддаются.

Третий раздел «*Террор и сны. Методологические замечания о переживаниях времени в Третьем рейхе*», включенный в эту часть книги, касается суждений автора об истории Третьего рейха. Это выглядит не вполне органично, учитывая, что практически вся работа сосредоточена на проблематике раннего Модерна. Это отмечает во введении и сам автор, указавший, что в данном сюжете речь идет не о результатах проведенного исследования, а в основном о методологических проблемах, связанных с публикацией в Германии новых материалов по истории этого периода. В частности, Козеллек дает методологический комментарий к публика-

ции собранных Шарлоттой Берадт свидетельств о сновидениях людей, живших в условиях террористической диктатуры нацистов.

В целом он считает допустимым и полезным для историков публикацию и использование такого рода свидетельств. И даже приводит некие «исторические» трактовки приведенных сновидений. Например, в снах одного врача вдруг исчезали стены его жилища, что можно было трактовать как знак тотальной слежки режима, надзирающего за частной жизнью граждан, а в снах еврейского адвоката появлялись те же признаки дискриминации евреев, что и в реальной жизни того периода, и др. В то же время Козеллек призывает различать разные виды исторических свидетельств, источников и объяснений, давать им свое место и оценивать их достоинства и недостатки. Он, в частности, призывает различать источники и виды диахронных и синхронных исторических объяснений. Для социальной истории характерны первые, конструирующие цепочки каузальных связей и последовательностей. При этом они могут быть как эффективны, так и неэффективны в плане исторического познания, поскольку имеются последовательности, которые никуда не ведут. Приведенные же свидетельства о сновидениях относятся к сфере синхронных свидетельств, где каузальные временные последовательности отсутствуют. Поэтому, уточняет Козеллек, они являются свидетельствами не о событиях, а свидетельствами «внутри» событий. В тексте он различает выражения «сны о терроре» и «сны в терроре», добавляя, что они могут рассматриваться прежде всего как свидетельства психосоматического состояния людей, находящихся в этой ситуации. Также он отличает в данном случае эту семантику (сновидений) от семантики исторических понятий; вторая может проверяться и контролироваться в историческом исследовании средствами истории понятий, первая – нет. В целом же Козеллек призывает к использованию и синхронных и диахронных подходов в исследовании истории, объединяя их сильные стороны.

Четвертый раздел этой части озаглавлен «*“Новое время”*. *К семантике современных понятий движения*». В нем автор снова напоминает, что хотя понятия, служащие для выражения прошедшей истории, и не претендуют на приоритет по отношению к ней, теоретико-методологическая рефлексия языка имеет приоритет по отношению к произошедшему, так как внеязыковые условия и факторы могут быть поняты только посредством языка. Именно находясь в сфере языка, они реагируют или влияют на происходящее. Анализируя понятия прошлого, которые через словесную форму понятны и нам, историк получает доступ к надеждам, же-

лениям, страхам и страстям современников прошлого. Но этот анализ дает и больше – он позволяет обнаружить глубину и границы ответственности языковых единиц прошлого. Пространство прошлого опыта и ожидание будущего можно измерить, поскольку и то и другое фиксируется языковым арсеналом прошлого и выражается в языке его источников.

В связи с этим Козеллек формулирует три задачи исследования. Определить, показывает ли понятие «Новое время» что-то, кроме просто исторического временного отрезка; изучить те выражения, которые через приращение значений понятий показывают движение исторического времени; сосредоточить анализ на тех понятиях движения конкретного политического и социального пространства, которые дают семантические и прагматические критерии для характеристики особенностей Нового времени в немецкоязычном пространстве.

В результате проведенного в соответствии с этой программой исследования автор выделяет пять основных семантических признаков, по которым можно определить, что в Новое время история начинает пониматься как движение исторического времени. 1. Появление исторического понятия «век» (*saecula – Jahrhundert*). Из просто хронологического оно становится историческим понятием, заявляющим особенность и неповторимость исторического опыта определенной единицы происходящего. 2. Появление общего понятия прогресса, базирующего на открытии хронологически одновременно существующего в истории «неодновременного» (обществ и культур на разных стадиях развития). 3. Закрепление в каноне исторического познания учения о субъективной исторической перспективе. Иначе говоря, события потеряли их прочно установленный и исторически определенный характер. Стало возможным одним и тем же предшествующим событиям давать с течением времени разные интерпретации и оценки. 4. Появление нового сознания эпохи как сознания своего времени в качестве переходного, находящегося между прошлым и будущим и как начало новой эпохи истории. 5. Усиление трудностей исторического познания прошлого и, особенно, современности, которое появляется в росте скепсиса к суждениям историков о современности.

Кроме того, в этом разделе Козеллек рассматривает и прагматические измерения понятий Нового времени, выступающих также и факторами исторического движения. В них, в частности, он выделяет внутреннюю темпоральную структуру, в рамках которой могут различным образом сочетаться измерения, ориентированные соот-

ответственно на современность, будущее или прошлое. Это позволяет управлять социально-политическим языком, комбинируя в нем элементы исторического опыта и ожидания и придавая ему идеологические функции. В качестве признаков и тенденций автор отмечает периодически разгоравшуюся в Новое время борьбу вокруг понятий, в которую вовлекалась и в ходе которой изменялась и их внутренняя темпоральная структура. В ней усиливались компоненты ожидания, пробуждавшие желания и устремления.

В последнем пятом разделе этой части работы «*Пространство опыта*» и «*горизонт ожидания*» – две исторические категории автор обращается к анализу этих двух центральных категорий своей концепции. Поясняя их категориальный характер, он отмечает, что, стремясь получить знания об истории из исторических источников, историк всегда действует двумя способами. Либо он изучает то положение дел, которое уже было артикулировано в языковой форме в источниках, либо он реконструирует то положение дел, которое ранее не было артикулировано в источниках. И тогда он использует различные гипотезы и методы, которые позволяют извлечь из них знания. В первом случае он работает с понятиями языка источников, которые выступают для него эвристическими средствами познания прошлого. Во втором историк пользуется понятиями, сформировавшимися не в прошлом, а позднее (ex post) и не имеющими аналогов в самих источниках. В этом случае понятия используются категориально, как познавательные категории исторической науки. Между понятиями того и другого рода необходимо проводить различия, особенно в тех случаях, когда понятие источника и познавательная категория выражаются одинаковыми словами. Этими различиями и прояснениями и должна заниматься история понятий. Но и в ней имеются свои различия между эмпирическим применением и использованием научных категорий.

Основными категориями истории понятий, как указывает Козеллек, являются «пространство опыта» и «горизонт ожидания». При этом он специально оговаривает, что в данном случае хочет рассмотреть их именно как категории, т.е. в духе теории исторической науки, а не историко-генетическим способом, свойственным самой истории понятий. Хотя в одной из ссылок (S. 359) он все же указывает на некий генетический источник своих трактовок понятий «опыта» и «ожидания». В числе прочего там упоминается «Бытие и время» М. Хайдеггера, а также герменевтика Х.-Г. Гадамера, изложенная в работе «Истина и метод».

Сам Козеллек предлагает следующее определение: «*Опыт есть современное прошедшее, события которого могут запечатлеваться в воспоминаниях и переживаниях*» (S. 354). К этому он добавляет, что в опыт включаются как осознанные и рационально осмысленные виды прошлого поведения, так и неосознанные, которые не представлены в форме знания. Кроме того, в каждом собственном опыте опосредованно (через институты и поколения) присутствует и осваивается и чужой опыт. И в этом смысле история издревле является способом понимания чужого опыта.

Сходным образом определяется и «ожидание». Оно «*есть связанное с личностью и одновременно интерперсональное осовремененное будущее, поскольку присутствует в настоящем*» (S. 355). Оно нацелено на еще не ставшее опытом, на то, что только может им стать. Ожидание также конституируется из рациональных элементов – анализа, наблюдения – и из чувственных – страха, желания, надежды и др.

При этом автор, разумеется, говорит и о различиях «опыта» и «ожидания», которые вытекают из различий представляемых ими прошлого и будущего. Он особо подчеркивает, что ожидание нельзя полностью вывести из опыта. Если опыт, имеющий свои предпосылки в прошлом, вполне определенно осуществлен, то в ожидании, нацеленном на будущее, деяние распадается на множество возможных вариантов. С этим различием связано, в частности, и употребление автором различных пространственных метафор применительно к опыту и ожиданию – соответственно «пространство» и «горизонт». Козеллек поясняет, что это сделано для того, чтобы показать, что присутствие прошлого в настоящем отличается от присутствия в нем будущего.

Далее он старается показать это на примерах, которые сами по себе интересны. Первый касается «пространства опыта» и иллюстрируется выдержкой из переписки Гёте с дипломатом Рейнхартом. В ней идет речь о трудностях исторического познания через опыт, ибо в последнем случившееся представляет некое уникальное единство общего и единичного, из которого трудно выделять интересующую историю сходное и повторяющееся. Второй пример касается «горизонта» и иллюстрируется анекдотом про Хрущёва из книги «*Политические шутки в Восточном блоке*» [Drozdynski, 1974, S. 80]. Хрущёв говорит, что коммунизм – на горизонте. Его спрашивают, что такое горизонт. Он отвечает – смотрите в словаре. А там сказано, что горизонт – это линия, которая отдалается по мере приближения к ней.

Таким образом, резюмирует Козеллек, и то и другое познание сталкивается с трудностями, но различного характера. И следовательно, отражающие их понятия не просто противоположны, а находятся в неравновесном отношении и образуют *напряжение*, необходимое для познания исторического времени, в котором историческое будущее никогда не является прямым продолжением исторического прошлого.

Говоря об этом напряжении, автор указывает, что это – напряжение между опытом и ожиданием, которое способно различным образом провоцировать новые решения и тем самым способствовать движению исторического времени. Появление таких новых решений вытекает из связи опыта и ожидания. Неудивительно, если осуществляются ожидания, опирающиеся на опыт. Если же осуществляется то, что не ожидалось, то это свидетельствует о лежащем в его основе новом опыте. Тем самым прорыв «горизонта ожидания» означает и обращение к новому опыту, расширение «пространства опыта», преодоление существовавших до этого ограничений возможного будущего. Таким образом, содержащееся в ожидании «опережение времени» (*zeitliche Uberholung*) приводит к перестроению отношений между двумя этими измерениями.

Общий вывод из анализа понятий «пространства опыта» и «горизонта ожидания» заключается в том, что их отношения не являются статичными и неизменными. В них конституируется сегодняшнее состояние исторического времени, которое характеризуется определенным, неравновесным и ограничивающим друг друга отношением прошлого и будущего. Сознательно или неосознанно это отношение определяет сегодняшнее историческое время и его прогностическую структуру, демонстрируя также и его изменимость.

И в конце работы Козеллек еще раз резюмирует те особенности, которые, по его мнению, отличают современное историческое время от исторического времени прошлого. Мой тезис, пишет он, «состоит в том, что в Новое время дифференциация между опытом и ожиданием заметно увеличивается. Или еще точнее: Новое время позволительно понимать как действительно новое время тогда, когда ожидания и имеющийся опыт стали все больше отдаляться друг от друга» (S. 359). Это время, в котором позиции опыта все больше организуются так, чтобы подтвердить изменения будущего, которое приносит все больше отличий от прошлого и настоящего. Положение о том, что будущее отличается от про-

шлого, ставшее фактически аксиомой философии истории, является, по Козеллеку, результатом Просвещения и отзвуком Французской революции. Оно лежит в основании современного понятия об истории как таковой и прочно связывает его с понятием прогресса. Оба понятия достигают в данном случае своей философской полноты, и оба указывают на одно и то же положение дел, согласно которому ожидание все в большей мере перестает руководствоваться предшествующим опытом. Применительно к познанию истории это означает, что критическое «расширение» прошлого, характерное для исторических школ этого периода, выступает основанием и для «расширения» возможностей прогресса в будущем. В антропологическом плане это означает усиление асимметрии между пространством опыта и горизонтом ожидания, которое ведет к тому, что ожидания формулируются не на основе предыдущего опыта, а на основе его преодоления. И возраставший в течение всего раннего Нового времени этот утопический потенциал образовал питательную среду для событий Французской революции. Не только разрыв между прошлым и будущим становился больше, но и различие между опытом и ожиданием менялось. Между ними возникал новый тип отношений, открывавший новые возможности для действия.

Подводя итог своим рассуждениям, автор снова возвращается к метаисторическим категориям «пространства опыта» и «горизонта ожидания». Эти категории, отмечает он, позволяют нам понять специфику исторического времени эпохи Нового времени через антропологическую специфику асимметрии между опытом и ожиданием, которая состоит в прогрессивной трактовке этой асимметрии. Но не только это. Они также дают нам представление и об односторонности этой интерпретации. Обобщение опыта предполагает повторяемость его элементов в рамках исторических структур большой длительности. Поэтому для связывания опыта и ожидания так важно признание познавательного значения истории, которая может открыть происхождение структур большой длительности. А они могут быть открыты только при переводе исторического опыта на язык исторической науки.

Литература

Drozdzyński A. Der politische Witz im Ostblock. – Düsseldorf: Droste, 1974. – 220 S.
Geschichtliche Grundbegriffe / O. Brunner, W. Conze, R. Koselleck (Hrsg.). – Bd. 1–8. – Stuttgart: Klett-Cotta, 1972–1997. – Bd. 1. – 1972. – 500 S.; Bd. 2. – 1974. – 560 S.; Bd. 3. – 1982. – 1128 S.; Bd. 4. – 1978. – 927 S.; Bd. 5. – 1984. – 1032 S.; Bd. 6. – 1990. – 954 S.; Bd. 7. – 1978. – 774 S.; Bd. 8. – 1997. – 2116 S.

В.С. Авдонин

М. Эдельман

СИМВОЛИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИТИКИ

Реф. книги: Edelman M. *The symbolic uses of politics.* – 5 th ed. – Urbana etc.: Univ. of Illinois press, 1972. – 201 p.

Книга американского политолога М. Эдельмана «Символическое использование политики», впервые увидевшая свет в 1964 г. и выдержавшая несколько изданий, по праву считается первой попыткой систематического анализа политики в качестве символической формы. Отказавшись от традиционного для американской политической науки подхода, сосредоточенного на выяснении того, как люди получают от власти то, чего они хотят, Эдельман попытался поставить проблему иначе: как политика влияет на то, чего люди хотят, боятся, считают возможным и т.п. Стоит напомнить, что эти идеи были выдвинуты в интеллектуальном контексте американской политической науки 1950–1960-х годов: книга «Символическое использование политики» увидела свет через четыре года после публикации «Политического человека» С. Липсета (1960) и результатов исследования А. Кэмпбелла, Ф. Конвёrsa, У. Миллера и Д. Стокера «Американский избиратель» (1960), перевернувшего представления об электоральном поведении. Она опирается на выводы Т. Адорно и его коллег («Авторитарный человек», 1950), а также опубликованные в 1930-х работы Дж.Г. Мида и Г.Д. Ласуэлла. Ее автор разделяет представление о политике как взаимодействии с физической и социальной средой, разрабатывавшееся Д. Истоном и другими теоретиками политических систем, основывается на формальном понимании институтов и применяет доминировавший в то время бихевиоралистский подход. Эдельман критиковал способ социального воображения, развиваемый мейнстримом американской политической науки, в

значительной мере разделяя его парадигму, что обусловило как сильные, так и слабые стороны его теории. Не отрицая последних, нельзя тем не менее не признать, что идеи, сформулированные им в этой и последующих работах [Edelman, 1971; Edelman, 1977], заложили основы тех подходов к изучению политики, которые более успешно реализуются сегодня приверженцами неонституционализма и социального конструктивизма.

В первой, *вводной главе* Эдельман формулирует основной принцип своего анализа: «Эта книга исследует политику как символическую форму, но это возможно только если человек и политика рассматриваются как отражение друг друга» (р. 2). Он подмечает одну характерную черту наблюдаемого поведения: представления людей¹ о политике зачастую расплывчаты, эмоциональны и неадекватны реальности – но это не мешает им верить в мифы, которые они догматически пересказывают. Эта зыбкая система создаваемых людьми смыслов «жизненно важна для постижения широкой публикой действий элит, а следовательно – для социальной гармонии», – заключает Эдельман (р. 2). Политические формы, с одной стороны, несут в себе смыслы, определяемые нуждами, надеждами и заботами масс. Однако, с другой стороны, они также обеспечивают власть и благо более узких групп, борющихся за влияние. Способность политических форм служить средством выражения массовых чаяний и вместе с тем обеспечивать благо особых групп является основным предметом анализа Эдельмана.

Отправной точкой для такой постановки вопроса послужил ряд исследований, выявивших наличие существенных зазоров между логикой функционирования политических институтов, предполагаемой в теории, и тем, как обстоит дело в действительности. Например, было установлено, что публичное обсуждение актуальных общественных проблем имеет минимальное значение для того, как люди голосуют, а решения, принимаемые законодателями и администраторами, не слишком зависят от исхода выборов. Другими словами, то, что люди получают, не определяется тем, как они голосуют. Однако, по мысли автора, это не значит, что избирательные кампании не имеют значения, – видимо, выполняемые ими функции отличаются от тех, которые мы привыкли за ними числить. Они дают людям возможность выразить неудов-

¹ Как многие современные ему исследователи, Эдельман использует для обозначения субъектов политики гендерно-специфический термин «мен».

летворенность и воодушевление, почувствовать свою вовлеченность – играют роль ритуала, призванного подчеркнуть связывающие людей узы и побудить их принять официально утвержденную политику. Разумеется, выборы не смогут выполнять эту жизненно важную социальную функцию, если вера в прямой контроль народа над правительственной политикой посредством данного инструмента будет широко подвергаться сомнению.

Пытаясь найти ответ на вопрос, каким образом ценности, разделяемые людьми, учитываются в решениях властных органов, Эдельман уделяет особое внимание роли мифов, ритуалов и других символических форм в публичной политике. В частности, мифами являются широко проповедуемые представления о том, как работает правительство. Они имеют важные последствия – однако не те, о каких обычно твердят. По словам автора, «систематическое исследование наводит на мысль, что не только самые заветные формы народного участия в управлении имеют преимущественно символический характер, но и многие общественные программы, которые, как везде говорят и считают, выгодны широкой публике, в действительности полезны лишь узким группам» (р. 4).

Эдельман делает особый упор на то, что политика имеет разное значение и разные результаты для активного меньшинства и пассивного большинства. Он пишет: «Разграничение между политикой как спортом для зрителей и политической деятельностью организованных групп, используемой для получения конкретных и вполне осязаемых благ, является фундаментальным для распознавания символических форм в политическом процессе. Для большинства людей большую часть времени политика – это серия картинок, возникающих в уме благодаря телевизионным новостям, журналам и дискуссиям» (р. 5). Данному обстоятельству приписывается фундаментальное значение: в своей обычной жизни люди совершают поступки, имеющие наблюдаемые последствия, которые, в соответствии с постулатами бихевиорализма, побуждают корректировать поведение. Однако иначе дело обстоит в политике: лишь немногие люди вовлечены в нее непосредственно, большинство выступает в роли зрителей и реагирует на продуцируемые политической системой символы.

В своем исследовании Эдельман опирается на работы психологов, антропологов и философов, посвященных проблемам символов, в частности – на работу Эдварда Сапира (Edward Sapir), показавшую, что влияние, оказываемое символами, зависит от удаленности причины и следствия (remoteness). Основываясь

на выводах Сапира, Эдельман различает *символы, отсылающие к референту (referential symbols)*, и *конденсирующие символы (condensation symbols)*, в сжатом виде отражающие отношения и оценки. Несмотря на то что автор «Символического использования политики» признает условность этой типологии («все символы представляют нечто иное, нежели они сами, и все они пробуждают некое отношение, впечатление или паттерн события через ассоциации времени, пространства, логики или с помощью воображения» (р. 6), он придает ей большое значение. Символы, отсылающие к референту, – это экономичный способ указать на объективные элементы вещей или ситуаций; эти элементы одинаково идентифицируются разными людьми. Такие символы помогают логически осмысливать ситуации или манипулировать ими. Например, статистика несчастных случаев в промышленности – это, по Эдельману, отсылающий символ. Напротив, конденсирующие символы пробуждают эмоции, ассоциирующиеся с конкретной ситуацией. «Они соединяют (condense) в одном символическом событии, знаке или действии патриотическую гордость, страх, память о былой славе или унижении, обещание будущего величия, – что-то одно или все вместе» (р. 6). Практически любой политический акт, вызывающий споры, обречен служить конденсирующим символом. Он вызывает политическое успокоение или возбуждение, ибо символизирует уверенность или угрозу. Поскольку смысл актов в таких случаях лишь отчасти зависит от их объективных последствий, о которых массовая публика и не может знать, Эдельман считает возможным связать его с психологическими потребностями самих респондентов.

При этом он ссылается на результаты психологического исследования, которое показало, что политические мнения выполняют для личности функции: 1) оценки объекта, 2) социальной адаптации, 3) экстернализации внутренних проблем. Сопоставление с объектом-референтом принципиально лишь для выполнения первой функции, тогда как психологический эффект двух других не зависит от того, насколько мнение соответствует реальности. В свете этого становится понятно, что политические действия, вызывающие споры и при этом далекие от непосредственного опыта индивида, «обречены становиться конденсирующими символами для значительной части массовой публики» (р. 8). Парад политических новостей поставляет «сырье» для такой символизации. Не случайно СМИ транслируют ограниченное количество новостей, которые стремятся драматизировать. «Если политиче-

ские действия должны обеспечить социальную адаптацию или означать то, что требуется, исходя из наших внутренних проблем, они должны иметь драматические очертания и быть свободными от реалистических деталей. Публика хочет символов, а не новостей» (р. 9).

Разумеется, некоторые виды политической деятельности весьма конкретны: профессиональные политики стремятся получить голоса и работу, бизнесмены – выгодные контракты, гражданские активисты на местах выступают за улучшение работы школ и т.п. Но таким образом использует политику лишь малая доля населения, для большей же части их сограждан «политика – это парад абстракций» (р. 10) или совокупность преимущественно «символических актов». Этот термин Эдельман позаимствовал у шведского социолога Ури Химельштранда (Uri Himmelstrand); он указывает на «действия, имеющие в качестве исключительных объектов символы и игнорирующие объективные или концептуальные референты этих символов» (р. 10).

Отличительной чертой символов является неоднозначность. Однако Эдельман был склонен по-разному интерпретировать восприятие символизма устойчивых политических институтов и текущих политических процессов. В значительной степени разделяя традиционное представление об институтах, он полагал, что «постоянные институты, вроде выборов, дискуссий в парламентах, применения законов и ритуалов судебных заседаний, вызывают примерно одинаковые отклики у всей массы наблюдателей. В демократических странах эти институты усиливают веру в реальность участия граждан в управлении и рациональные основания властных решений вне зависимости от того, что говорится по конкретным поводам» (р. 12). Людям могут не нравиться победившие кандидаты, принятые законы или решения суда, но это не мешает им поддерживать саму форму выборов, законодательной власти и суда.

В противоположность институтам мимолетные политические действия или новости в СМИ для разных групп зрителей обычно означают разные вещи: они рассматриваются как часть различных тенденций, которые группы с разными интересами могут оценивать по-разному. При этом основная дихотомия задается способностью событий ассоциироваться с *угрозой* или *утешением* (threat or reassurance). Некоторые угрозы разделяют почти все: это угрозы, имеющие последствия для целой нации, – неважно, проистекают ли они от других наций, неукротимой природы и группы внутри самой нации.

По мысли Эдельмана, «политические действия, речи и жесты эмоционально включают массовую аудиторию в политику, самой этой включенностью склоняя их к согласию с переменами политического курса» (р. 15). При этом в США безусловно «сохраняется и возможность реального влияния для тех, кто включен в группы, извлекающие выгоду от административных игр и переговоров. Едва ли нужно говорить, что возможность – это не всегда реальность, и нашим уделом по большей части является символическое участие. Оно имеет место отчасти благодаря нашему выбору, но, что более существенно, – благодаря многоликому символизму политических действий и институтов» (р. 16).

Фактически заявляя новую исследовательскую программу, Эдельман утверждал: «Изучать, как работают в этой сфере ритуалы и мифы, – значит исследовать устойчивые политические институты, вместо того, чтобы отслеживать парад новостей» (р. 16). Ритуалы и мифы он считал «двумя символическими формами, пропитывающими наши политические институты» (р. 16).

Ритуал – это моторная деятельность, которая символически включает участников в общее предприятие, концентрируя их внимание на общих связях и интересах. Эдельман отмечает, что все основные политические институты включают моторную деятельность, которая призвана усилить впечатление политической системы, предназначенной транслировать желания индивидов в публичную политику. Особенно важны здесь политические ритуалы, в которых массы непосредственно принимают участие, – прежде всего, церемонии, утверждающие величие, героизм и благородство нации. Не менее убедительны избирательные кампании и политические дискуссии: значительная часть того и другого состоит в обмене клише между людьми, которые согласны друг с другом. Участие в такого рода ритуалах – мощная форма политического убеждения.

Мифы служат тем же целям, что и ритуалы. Наиболее убедительными мифами Эдельман называет представления о рациональном характере голосования, о том, что выборы позволяют контролировать принятие властных решений, а также о механическом характере административного и судебного правоприменения. Однако он не имеет в виду, что элиты сознательно создают политические мифы и ритуалы для достижения этих целей. Потенциальные «конденсирующие символы» создаются в процессе самой жизни, «внутри социальной ткани»; это верно и применительно к политическим формам, которые становятся символами (р. 20).

Во второй главе, имеющей название «*Символы и политический покой*», автор на примере правового регулирования бизнеса уточняет условия, способствующие наступлению «состояния покоя». Он использует терминологию, применявшуюся в то время для описания политических процессов: считалось, что если интересы групп противоположны, успех одной облегчается апатией другой. Однако апатия – это ментальное состояние, которое нельзя наблюдать – в отличие от состояния покоя (*quiescence*). Предполагается, что группа находится в состоянии покоя по отношению к конкретной области политики, если она либо не проявляет к ней интереса, либо удовлетворена проводимым курсом. Эдельман исследует, из чего складывается эта «удовлетворенность», уделяя особое внимание заинтересованности в «символическом утешении (*reassurance*)», которая проявляется при двух условиях: наличии экономических обстоятельств, угрожающих безопасности большой группы, и отсутствии организации, способной позаботиться о ее интересах.

Анализируя эмпирические данные, приводимые другими исследователями, Эдельман выявляет некоторые условия, при которых группы склонны активно реагировать на символические призывы и игнорировать или искажать реальность в политических масштабах. Во-первых, люди склонны вкладывать собственные смыслы в ситуации, с которыми они плохо знакомы, но которые провоцируют их эмоции. Во-вторых, значительная часть публики мыслит стереотипами, прибегает к упрощениям, персонализирует политические процессы. В-третьих, сам факт принятия решений относительно проблемы способен вызывать удовлетворение, даже если он ничего не меняет, – он служит подтверждением того, что власть не дремлет, общество хорошо организовано, проблемы решаются и т.д. В-четвертых, для артикуляции требований имеет значение сравнение с референтными группами, близкими по социальному статусу: поддержка или неодобрение таких групп объясняют как «спокойствие» неорганизованных групп, не требующих дополнительных ресурсов, так и алчность некоторых организованных групп. В-пятых, символизация конституирует объекты в контексте социальных отношений.

По мысли Эдельмана, эти исследования помогают понять, чего разные типы групп ждут от власти и при каких обстоятельствах они могут быть удовлетворены или не удовлетворены. На этой основе он выделяет два больших паттерна поведения групп по отношению к политике, затрагивающей их интересы.

• **Паттерн А** предполагает: относительно высокий уровень организации – рациональные когнитивные процедуры – наличие точной информации – действительную заинтересованность в конкретных и ощутимых ресурсах – восприятие стратегической позиции собственной группы как благоприятной по сравнению с референтными группами – относительно малочисленность группы.

• **Паттерн Б** включает: разделяемую заинтересованность в улучшении статуса с помощью протестной активности – восприятие стратегической позиции собственной группы как неблагоприятной в сравнении с референтными группами – наличие искаженной, стереотипизированной, неточной информации – реакцию на символы, обозначающие угнетение или угрозу – относительно неэффективность в приобретении ощутимых ресурсов с помощью политической деятельности – недостаток организации для целенаправленных действий – состояние покоя – относительно многочисленность группы (р. 36).

Автор уточняет, что элементы, включенные в описания этих паттернов, не нужно рассматривать в логике причинно-следственных связей: они могут проявляться с разной степенью полноты. По его заключению, исследователи политических процессов и организаций неплохо продвинулись в изучении паттерна А, однако представления о паттерне Б, равно как и о связях между двумя паттернами, пока остаются фрагментарными.

Анализ, представленный во второй главе, демонстрирует то, о чем хорошо осведомлены практикующие политики, – группы, притязующие на ресурсы, в некоторых случаях могут удовлетворяться успехом в достижении неосязаемых благ. Они становятся защитниками той самой системы права, которая позволяет организованным группам более эффективно преследовать собственные интересы. Это не значит, что знаки или символы имеют магическое действие, – они лишь оказываются средством приспособления для групп, положение которых не позволяет анализировать сложную ситуацию рационально.

По мысли автора книги, это побуждает скорректировать привычный дизайн политических исследований: анализируя взаимосвязи между поведением и лежащим за ним социальным взаимодействием, следует смотреть шире. «Для всех типов политической деятельности требуется тщательно выяснять, выполняет ли она преимущественно символическую или содержательную функ-

цию. «Что» из знаменитого ласуэлловского определения политики¹ – это целая сложным образом устроенная вселенная» (р. 43).

В третьей главе *«Административная система как символ»* Эдельман на примерах деятельности дорожной полиции и нескольких административных агентств анализирует роль символов в процессе правоприменения. Он показывает роль символических (т.е. основанных на разделяемых представлениях, которые не совпадают с формальными юридическими требованиями) взаимодействий в практике принуждения к выполнению права. На примере ФБР автор демонстрирует, каким образом символическая поляризация общества оправдывает функции этого агентства в глазах сограждан. Он приходит к выводу, что административная система как символ и ритуал служит легитимации целей элит, выступая как гарантия против угроз и иногда – как катализатор симбиотических связей между противниками (р. 68).

Четвертая глава посвящена *«Политическому лидерству»*. Эдельман отмечает, что лидеры, занимающие официальные государственные посты, обладают потенциальной возможностью возбуждать сильную эмоциональную реакцию населения. «Когда индивид получает признание в качестве легитимного государственного лидера (leading official of the state), он становится символом некоторых сторон самого государства – его способности давать блага и причинять вред, нести угрозы и уверенность. По этой причине его действия приобретают публичный характер. Считается, что они имеют значимые, сильные и устойчивые косвенные последствия для большого числа людей» (р. 73–74).

Включаясь в актуальную тогда дискуссию о сущности политического лидерства, автор книги утверждает: «Лидерство... не следует понимать как что-то, чем человек обладает или не обладает всегда и везде. Оно всегда определяется конкретной ситуацией и распознается в реакциях последователей на речи и действия индивида» (р. 75). Теории черт, связывающие лидерство с наличием неких особых качеств, он называет «откровенной идеологией, которая создает впечатление, что некоторые люди рождены, чтобы во всякой ситуации быть лидерами» (р. 75).

По мысли Эдельмана, массовые реакции на политические действия основаны на неразличении лидеров и инкубентов (лиц,

¹ Имеется в виду заглавие книги Г.В. Ласуэлла «Политика: Кто получает что, когда и как» («Politics: Who gets what, when, how», 1935).

занимающих определенные должности). Влияние последних определяется тем, что массы не имеют возможности эмпирически оценивать политические действия и влиять на них. Это усиливает приверженность абстрактным символам. А инкубент, занимающий высокий пост, – самый убедительный символ: он знает, что делать, и готов действовать. Это отношение не описывается веберовским различием бюрократического и харизматического лидерства: оно определяется невозможностью продемонстрировать успех или неудачу и склонностью отчужденных масс проецировать свои физические нужды на лицо, занимающее высокий пост (р. 77). Особенно выигрывают от статуса инкубента президенты: у них больше возможностей стимулировать беспокойность сограждан так, чтобы проявить себя наилучшим образом. Благодаря этому у них больше шансов остаться на своем посту, чем у губернаторов, которые вынуждены много времени проводить в малоинтересном для народа «административном хоре» (р. 83–84).

Столь высокие шансы инкубентов побуждают присмотреться к тому, как осуществляется их селекция – какие качества имеют значение. По мнению Эдельмана, кандидатам имеет смысл адаптироваться к ценностям и стилям, которые импонируют селектору (в зависимости от должности, о которой идет речь, – большинству избирателей или узкой элитарной группе). Однако в случае лидеров сопротивления или протестного движения также имеют значение харизма и «способность распознавать возможности для политических инноваций и осуществлять власть» (р. 89–90). И это не случайно: Эдельман ссылается на исследования, показывающие, что лидерство и официальное лидерство – это не только разные, но в некотором смысле даже несопоставимые вещи.

Он отмечает, что двойственность – важная черта любого успешного политика, ибо он действует в обстоятельствах конфликта. Символическая неоднозначность поведения лидера способствует впечатлению, что он представляет интересы всех групп (р. 93). С этим связано и то, что, став историческими фигурами, лидеры приобретают значение, отличное от того, каким они обладали для современников. Лидеры созданы «служить интересам тех, кто будет следовать за ними, писать о них или вспоминать их» (р. 94). В силу этого при ретроспективном использовании символы лидерства могут быть более могущественными факторами, нежели в бытность соответствующих политиков у власти.

В пятой главе, названной «*Символизм политических мест действия*», речь идет об особых драматургических характери-

ках политических «сцен» – зала заседаний суда, полицейского участка, палаты законодателей, зала, где проходит партийный съезд, офиса мэра и т.п., – которые известны их участникам и зрителям. Случайные отступления от сложившихся правил лишь подчеркивают роль мест действия (settings) для политического процесса. Все «сцены» такого рода спроектированы так, чтобы вырвать человека из привычной для него среды, подчеркнуть особость случая, который привел его в суд, конгресс или на событие исторической важности. При этом символизм мест политического действия адресован более широким аудиториям, нежели круг непосредственных участников: он помогает легитимировать действие для тех, кто мог бы его оспорить. «В действительности, – пишет Эдельман, – места действия не могут выполнять свою функцию, если они адресованы массовым аудиториям...» (р. 100).

Шестая глава «*Язык и восприятие политики*» посвящена роли речи в политике. Эдельман задается вопросом: если политика – это действительно «кто получает что», то почему она предполагает так много разговоров? Ведь сами по себе они ничего не дают и даже, напротив, – могут вызвать реакцию сопротивления. Он подчеркивает, что использование языка для санкционирования действий – это именно то, что отличает политику от иных методов распределения ценностей: речь предполагает использование символов, отсылающих к референтам и вызывающих воспоминания, благодаря которым достигается ощущение сосуществования. Речь сильна не словами, а потребностями и эмоциями. Культура формирует слова и смыслы, и люди реагируют на вербальные сигналы, причем делают это в зависимости от выполняемых ролей / принадлежности к группам.

Эдельмана особенно интересует то, каким образом язык формирует восприятие и поведение. Опираясь на современные ему исследования, он пытается выделить некоторые механизмы такого воздействия, например, повторение стандартных фраз, использование понятий, формирование знаковых структур, задающий порядок, который позволяет группам действовать, рассчитывая на определенную реакцию других и статус, и др.

Тему политической речи он продолжает в седьмой главе «*Формы и значения политического языка*», в которой выделяет несколько особых речевых стилей, характерных для политического процесса (назидательный стиль, используемый в политических кампаниях, юридический стиль, характерный для законодателей, административный стиль, практикуемый назначенными чиновни-

ками, а также используемый приватно язык переговоров), и анализирует то, каким образом они содействуют разрешению групповых конфликтов.

В восьмой главе «*Постоянство и изменение политических целей*» Эдельман подвергает критике часто используемое политологами предположение о наличии у людей политических целей или интересов, от степени удовлетворения которых зависит их политическое недовольство. С одной стороны, он показывает, что на практике не подтверждается зависимость между достижением цели и удовлетворенностью (напротив, неудачи способствуют снижению запросов, а успех – выдвижению новых требований). С другой стороны, он задается вопросом о том, что есть политические цели, и приходит к выводу, что это – всего лишь имя, ярлык, связанный с доминирующими представлениями (например, «превосходство белых», «высокие зарплаты», «обновление городской среды», «сохранение свободного мира» и т.п.). Это метафорические понятия, которые призваны вызывать реакцию. Причем, как показывает Эдельман, эта реакция не является постоянной: она зависит не только от языка, но и от интересов, надежд, страхов, присущих данной культуре или субкультуре (например, лозунг «превосходство белых» будет вызывать разную реакцию у расистов Юга и либералов Севера).

Следовательно, то, что мы называем политическими целями, в действительности «есть априорные категории, которые мы используем для классификации восприятия политического мира. Они не вытекают из наблюдаемого поведения и явно не могут его предсказывать или контролировать кроме как с помощью вербальных ассоциаций, уже включенных в формальные категории» (р. 158–159). Это подтверждает тезис о том, что удовлетворение масс отчасти зависит от широкого распространения мифов.

Формальные категории, именуемые политическими целями, есть не что иное, как выражение культурно сформированных ценностей. Они служат катализаторами, а отнюдь не генераторами массового поведения, которое зачастую бывает иррациональным. Понимание данного обстоятельства помогает объяснить как постоянство, так и изменчивость политических целей. Однако не ими объясняется формирование политики. По словам Эдельмана, «интересы выражаются в политике лишь в той мере, в какой они служат посылками решений, принимаемых организациям» (р. 161).

Девятая глава – «*Массовые реакции на политические символы*». В ней Эдельман более обстоятельно аргументирует идею о

том, что массовая публика реагирует не на «факты» или моральные коды, а на бросающиеся в глаза политические символы – жесты и речи, которые составляют драму государства. Люди не изучают и не анализируют информацию, они игнорируют ее до тех пор, пока политические действия и речи не сделают ее символически значимой в качестве факторов угрозы или утешения, – но и тогда они реагируют на сигналы, содержащиеся в действиях и речах, а не на факты.

В *заключение* Эдельман суммирует свои выводы, делая упор на то, каким образом они меняют привычные представления об американской политике.

Литература

- Edelman M. Politics as symbolic action. Mass arousal and quiescence. – Chicago: Markham Publishing Company, 1971. – IX, 188 p.
- Edelman M. Political language: Words that succeed and policies that fail. – N.Y.: Academic press, 1977. – XXII, 164 p.

О.Ю. Малинова

ТЕХНОЛОГИИ СИМВОЛИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Дж. Александер

НОВОЕ СИМВОЛИЧЕСКОЕ НАПОЛНЕНИЕ: БАРАК ОБАМА И ПОСЛЕДНЯЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ¹

Во время выборов в Конгресс в ноябре 2010 г. оппоненты-республиканцы нанесли серьезный урон Демократической партии президента Обамы: она потеряла 63 места в Палате представителей. Это самое большое поражение в промежуточных выборах с 1938 г. Демократы утратили контроль над основным законодательным органом, уступив его республиканскому большинству. Они также потеряли несколько ключевых мест в Сенате, хотя и сумели сохранить там контроль с небольшим перевесом.

I

СМИ драматически интерпретировали этот факт как Смерть Героя.

За несколько дней до выборов Морин Дауд (Maureen Dowd) пророчила, что «коалиция и правительственное большинство вокруг президента рассыплется вдребезги» (31.10.2010). На следующий день после поражения «Нью-Йорк таймс» вышел с грозным, почти шекспировским заголовком: «Победа республиканцев, крутой поворот вспять» (2.11.2010).

¹Перевод с англ. Пленарный доклад на XI Ежегодной конференции Сообщества профессиональных социологов «Поле социологии в России и мире: Кризис, критика, изменения» 16 марта 2013 г. Публикуется с разрешения автора. Оформление, а также система ссылок и сносок соответствуют оригиналу статьи.

В воздухе витал запах крови. Движение Чаепития усилило свои позиции. Восхождение Обамы оказалось не свидетельством возрождения либерализма, а случайной вспышкой на горизонте политического времени. «Лично я думаю, что он уже потерял шанс на переизбрание», – торжественно возвещал Дик Арми (Dick Armeu). Активист-неоконсерватор и бывший член кабинета министров Буша, очевидно, знал, что говорил: он был ключевой фигурой в реакционно-популистском Движении Чаепития, которое возникло летом 2009 г. с целью противостоять реформе здравоохранения Барака Обамы (2.11.2010).

Консервативные ученые мужи Америки интерпретировали столь массовый поворот в сторону республиканцев как своеобразный упрек американского электората левому президенту и его правительственным программам, направленным на перераспределение, которое простиралось от регулирования Уолл-стрит до спасения автомобильной промышленности от банкротства и реформы здравоохранения, официально названной Законом о доступном медицинском обслуживании (Affordable Care Act), но уничижительно именуемой «Obama care». <...>

Принадлежащий Руперту Мердоку «Уолл-стрит джорнал» с трудом скрывал удовлетворение: в редакционной статье, посвященной итогам 2010 г. (31.12.2010), утверждалось, что результаты выборов ясно свидетельствуют о резком изменении отношения граждан к либеральной социальной политике: «Действительная история 2010 г. заключается в том, что избиратели наконец смогли увидеть его [Барака Обамы] либеральную программу без прикрас и оценить ее».

II

Если рассматривать эти утверждения о значении выборов 2010 г. с культурно-социологической точки зрения, они предстают тем, чем, собственно, и являются, – высказываниями о значении произошедшего, конструирующими его смысл. Их корни – не в социальной реальности, а в идеологии и рекламе. Придавая убедительную форму надеждам и страхам, они *интерпретируют* результат голосования, а не *описывают* его объективно. В терминологии Остина (Austin), эти утверждения представляют собой перформативные, а не констатирующие действия. Вместо того чтобы обозна-

чать состояние, которое уже существует, они стремятся сделать воображаемое состояние реальным с помощью говорения о нем.

Действительно ли электорат так рационален, как предполагается этими утверждениями? Так ли ясны мнения избирателей? Откуда нам известно, на что именно указывает голосование? Можем ли мы вообще говорить об «электорате» как таковом? Будет ли эмпирически корректно утверждать, что результаты выборов в Конгресс в 2010 г. говорят нам что-то об «американском народе»? С культурно-прагматической точки зрения голосование должно рассматриваться как символическая коммуникация.

Это политический спектакль, который открыт для герменевтической интерпретации – и действительно нуждается в ней. Без сомнения, те, кто участвовал или не участвовал в выборах, реагировали на кое-что, связанное с действиями президента Обамы в первые годы его пребывания на посту, но действительно ли они реагировали на левизну его политики?

Активисты Движения Чаепития хотели бы, чтобы это было так. Всего лишь шестнадцатью месяцами ранее они возникли на публичной сцене на гребне волны продвигаемого Обамой левого социально-экономического законодательства, которое стали яростно перетолковывать.

Но может быть, сдвиг в голосовании в пользу республиканцев – это не столько результат «прозрения» граждан в отношении политики либералов, сколько реакция на культурную несостоятельность либерального политического перформанса? Быть может, он отражает неспособность левых найти подход к центристской аудитории, а также неадекватность их приемов, не позволивших эмоционально увлечь даже потенциально симпатизирующую им аудиторию?

Культурно-социологическая модель демократии, о которой я говорил на прошлой неделе, не представляет дело так, будто политические лидеры предлагают политический курс избирателям, которые ясно видят ситуацию, способны рационально взвешивать эффективность политики и при голосовании выражают делиберативно принятые решения. Напротив, она предполагает, что политические лидеры выступают перед аудиториями со сложными и многоуровневыми представлениями (performances). Аудитории граждан могут вовлекаться в эти представления с большим или меньшим энтузиазмом, более или менее критически – или не вовлекаться вообще. Эти реакции даже не являются интерпретацией представления, которое дает лидер, ибо гражданам доступна лишь

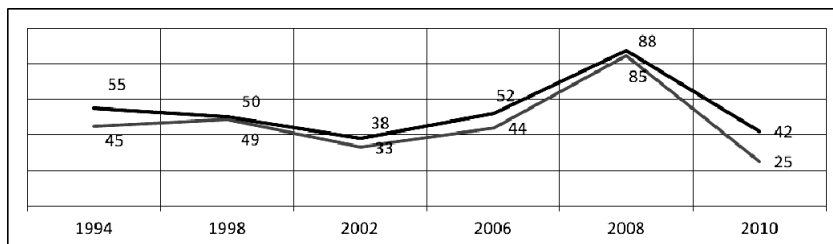
его журналистская реконструкция в СМИ. Кроме того, эти опосредованные СМИ интерпретации выступлений лидеров еще и подвергаются герменевтической реконструкции в опросах общественного мнения и комментариях журналистов.

Согласно опросам общественного мнения на выходе с избирательных участков, в 2010 г. лишь 37% голосовавших за местных представителей Конгресса рассматривали национальные выборы как референдум администрации Обамы, 24% не считали, что это так, еще 40% голосовавших не были в этом уверены (2.11.2010).

А как быть с теми, кто не голосовал? Значительные сегменты электората, доверившего власть Обаме в 2008 г., не участвовали в выборах в Конгресс двумя годами позже (см. диаграммы 1, 2). Опросы общественного мнения показали, что Обаму поддержало беспрецедентное большинство молодых избирателей в возрасте от 18 до 30 лет; однако в 2010 г. немногие из них воспользовались своими голосами (16.11.2010). Несмотря на еще более глубокую и широко распространенную приверженность Обаме афроамериканцев, уровень их участия на ноябрьских выборах 2010 г. также понизился. Один темнокожий комментатор за несколько дней до выборов заметил: «Чувства надежды и исторической значимости, которые собрали явку в 2008-м, сейчас в дефиците» (17.10.2010).

Диаграмма 1

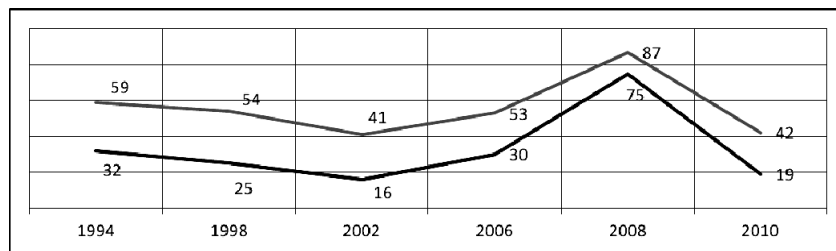
Намерение принять участие в голосовании: Промежуточные выборы 1994–2010 гг. и президентские выборы 2008 г.¹
Ответы «весьма вероятно» / «с некоторой вероятностью», в %



Темный цвет – неиспаноязычные белые; светлый – темнокожие. «С некоторой вероятностью» было произвольным ответом.

¹ Данные опросов 1994–2008 гг. получены в октябре-ноябре; в 2010 г. данные основаны на опросах 23–29 августа «Gallup daily tracking».

Намерение принять участие в голосовании: Промежуточные выборы 1994–2010 гг. и президентские выборы 2008 г.¹
Ответы «весьма вероятно» / «с некоторой вероятностью», в %



Темный цвет – от 18 до 29 лет; светлый – старше 30. «С некоторой вероятностью» было произвольным ответом.

Осуществление политической власти имеет не только инструментальное, но и культурное содержание. Избиратели реагируют на манеру и стиль исполнения.

С инструментальной точки зрения президент Обама осуществлял исполнительную власть весьма эффективно и добился далекоидущих перемен в гражданских отношениях (*far-reaching civil repairs*), которые могли бы существенно изменить социальную организацию американской гражданской сферы. Однако одерживая эти организационные победы, он не сумел представить их смысл прежними способами. Он потерял символическую опору. Его выступления, несмотря на инструментальную эффективность, были лишены блаженного дара (*were not felicitous*), используя эстетический термин Остина. Пока президентские выступления теряли символическую власть, возникло Движение Чаепития, которое бесцеремонно столкнуло бывшего и будущего американского героя с публичной сцены. «Теперь уже несколько месяцев повышенный интерес и напряжение имеют место на правом фланге, ведомом Движением Чаепития», – отмечал «Нью-Йорк таймс» в марте 2010 г. (7.03.2010). Известная политическая журналистка Элизабет Дрю писала в «Нью-Йоркском книжном обозрении»: «Президент Обама, кажется, на глазах съезжается и превращается в неудачника» (23.12.2010).

¹ Данные опросов 1994–2008 гг. получены в октябре-ноябре; в 2010 г. данные основаны на опросах 23–29 августа «Gallup daily tracking».

Поражение демократов в 2010 г. было отражением этого перформативного провала. Сознвая длившуюся годами дефляцию своего символического лидера, организаторы политической кампании демократов пытались «зажечь» (3.10.2010) гражданские аудитории, но им не удалось высечь искры. Демократы «искали энергию» в избирателях, но не смогли ее найти. Вот почему они проиграли в ноябре 2010 г.

III

В том же году, но раньше был момент, когда после принятия закона о здравоохранении, со скрипом проведенного Обамой, лучи героической славы сверкнули из-под покрова туч. После этого законодательного триумфа заголовки чествовали Обаму как «победителя великанов, чувствующего свою силу». «Может, Обама непобедим?», – спрашивал «Нью-Йорк таймс» (20.03.2010). Журнала «Тайм» сравнивал его с супергероем (4.04.2010). Президент охотно согласился с такими оценками своих выдающихся достижений. Апеллируя к своей первой президентской кампании 2008 г., во время которой он обещал стать двигателем социальных реформ, Обама заявлял: «Мы сделали исторически важный шаг. Вот как выглядят перемены».

Он действительно совершил исторические преобразования, и действительно именно ТАК выглядят политические перемены.

Но после того как демократам в Конгрессе все-таки удалось принять Закон о доступном здравоохранении (Affordable care act), лишь 34% граждан в опросах общественного мнения одобрили его. Через две недели после принятия закона рейтинги оценки деятельности Обамы упали до 44% (3.04.2010). А в начале апреля нефтяное пятно от платформы в Мексиканском заливе нанесло ущерб затянувшейся славе. Президент США казался беспомощным и пассивным перед силой беспощадно разрушающей природу «Бритиш петролеум». После 56 дней нефтяного кризиса колумнистка «Нью-Йорк таймс» написала: «Человек, который ходил по воде, пойман в ловушку кризисом под водой» (2.06.2010). <...> «Мистер Непопулярный», – гласил заголовок «Тайм» в конце августа. Когда выборы в Конгресс 2010 г. замаячили на горизонте, «Нью-Йорк таймс» выступила с предостережением: «Обаме нужно вдохновить американцев» и «сплотить нацию вокруг великой идеи» (29.08.2010).

Но к тому времени было уже поздно. Исполнение (performance) власти не прошло тест блаженного дара (the test of felicity); когда-то восприимчивые аудитории отвернулись от нее – и не пришли в день выборов.

А двумя годами позже, в ноябре 2012 г., они вернулись и с энтузиазмом аплодировали представлению «Последней кампании». Президент Обама стал вторым демократом за 70 лет, переизбранным на второй срок, и третьим, получившим более 50% голосов на двух президентских выборах. Он наконец понял, как вдохновлять американцев, управляя ими. Он собрал нацию вокруг великой идеи – идеи социального равенства, которая стала главным фреймом исполнения президентской власти (performance of presidential power) во время его второго срока.

В оставшееся время я попробую объяснить, как это было сделано, и назвать некоторые причины успеха.

IV

Спусковым крючком для изменений в судьбе Обамы стали эстетические рефлексии (aesthetic reflexivity). В марте 2010 г., в разгар снижения популярности демократов глава предвыборного штаба Обамы, его главный имиджмейкер Дэвид Аксельрод во время одного из своих публичных выступлений признался, что «недоумеает», «почему мы не потеряли еще больше». Обвиняя «грязный фильтр» медиа, известный консультант раскритиковал журналистов за то, что они мыслят «как если бы каждый день был днем выборов».

Однако президенту Обаме нужно было научиться мыслить именно так. Чтобы править успешно, нужно каждый день вести себя так, как если бы это был день выборов. Как Макиавелли и Гоббс объяснили задолго до Ричарда Нойштадта, управлять – значит вести кампанию (governing is campaigning).

В начале февраля 2009 г. недавно вступивший в должность президент Обама назвал себя «вечным оптимистом», верящим, что «со временем люди отзываются на цивилизованные и рациональные аргументы» (2.02.2009). Год спустя, после того, как появилось Движение Чаепития, Тедди Кеннеди потерял долгое время занимаемое им кресло сенатора от Массачусетса, и стало расти сопротивление законодательству о здравоохранении, президент Обама уже не выказывал такого самодовольства. В интервью одной газе-

те он признался: «Я был так занят делами, связанными с устранением надвигающегося кризиса, что мы, я думаю, потеряли этот дух – когда мы напрямую говорим с американским народом о том, каковы его основные ценности и почему нам нужно быть уверенными, что эти институты им соответствуют». Президент хотел сказать, что он не «чувствует» свою аудиторию. Что американский народ увидел, продолжал он, так это то, «как далеки от него все эти вашингтонские технократы».

Два с половиной года спустя, в июле 2012 г. изменивший свое символическое наполнение (*symbolically reinflated*) Обама сидел рядом с Мишель на телешоу канала CBS «Этим утром». Отвечая на вопрос знаменитого журналиста Чарли Роуза о видимых изменениях в его политической судьбе, президент именно так описал кривую своего обучения: «Ошибка моего первого срока, первой пары лет заключалась в том, что я думал: главное в этой работе – делать хорошую политику. И это важно. Но суть этой должности еще и в том, чтобы рассказывать историю американского народа, которая дает ему чувство единства, и цель, и оптимизм, особенно в трудные времена. Забавно – когда я баллотировался, все говорили: “Ну что ж, он хорошо говорит, но сможет ли он работать?”. А в мои первые два года, думаю, все отмечали: “Что ж, он крутится и управляется с большим количеством дел, но где же история, которая объяснит, куда он нас ведет?”. Думаю, это была законная критика». Чарли Роуз настойчиво выпрашивал президента: что такого он должен был объяснить американскому народу? На что президент отвечал: да, он хотел бы больше «объяснять, но при этом еще и вдохновлять». Мишель Обама тут же добавила: «Потому что надежда все еще здесь». Предварительно записанное видео разлетелось по всем воскресным утренним шоу.

V

Если либеральная и центристская части электората в конце концов обрели надежду, то произошло это потому, что президент Обама нашел способ вновь стать неким обобщенным отображением идеалов гражданской сферы. Чтобы это случилось, должны были измениться временные характеристики его героического нарратива. В 2008 г. кандидат в президенты Обама представлял себя в роли преобразователя. Но в первые два года его президентства, казалось, ничто не изменилось: экономика по-прежнему за-

стряла в канаве, и несмотря на амбициозное новое законодательство о банках и здравоохранении, повседневная жизнь простых американцев оставалась такой же, как раньше.

Нарративы – это культурные структуры, которые разделяют время на начало, середину и конец. Если время президентства Обамы было отмечено экономической депрессией и политической поляризацией, то конец его истории должен был оказаться трагическим; его нарратив – это движение от надежды к отчаянию. В конце 2010 г. Обама и его команда мягко, но существенно изменили такой порядок исторического времени. Они переопределили «сейчас» – современное время – в качестве середины, а не конца Пути Пилигрима. Нарративная дуга истории Барака Обамы была растянута, обещания разбавлены, спасение обещано, но еще не сейчас. Оно придет в будущем, позже, но не намного, где-то ближе к концу второго президентского срока.

В разгар падения 2010 г. Мишель Обама выступала с речью на мероприятии по сбору средств для сенатора-демократа Русса Фэйнголда. Она сказала: «Многие из нас ожидали увидеть те перемены, о которых мы говорили, сразу, буквально через минуту после того, как Барак вошел в овальный кабинет Белого дома... Но правда в том, что для того, чтобы выбраться из этой ямы, в которой мы сидим, потребуется больше времени, чем нам хотелось бы» (13.10.2010). Практически аналогичным образом временную схему переопределил секретарь фракции демократического большинства, сенатор от Южной Каролины Джеймс Э. Клайберн, публично заявив: «Думаю, люди начинают видеть... эти ожидания не были бы реализуемы, даже если бы президент был волшебником» (16.10.2010). За две недели до выборов 2010 г. президент Обама старался заверить толпу молодежи: «Это только начало пути» (17.10.2010).

Появление символического и арифметического большинства у республиканцев в Палате представителей в результате унижительного поражения демократов на выборах 2010 г. сделало принятие «прогрессивного» законодательства невозможным. Столкнувшись с новой реальностью, президент Обама мог бы чуть-чуть сдвинуться с левого фланга в центр, симитировать умеренно консервативную форму законодательного компромисса. Именно это сделал Билл Клинтон, когда примерно 20 лет назад столкнулся с собственным законодательным «Армагеддоном».

Вместо этого Обама предпочел государственным решениям публичные выступления. В начале 2011 г. Мэтт Бай, близкий к

властным кругам репортер «Нью-Йорк таймс», сообщил о «полном повороте... от законодательных приоритетов к рассказыванию более четкой американской истории» (16.01.2011). Примерно тогда же, в начале февраля 2011 г. высокопоставленные помощники главы Белого дома на брифинге для журналистов накануне президентского послания, стремясь сформировать их ожидания, использовали такие выражения, как «история» и «рисовать картину». В самом послании президент предложил объединить усилия двух партий, чтобы «выиграть будущее» (26.01.2011). В своем отчете о речи президента журнал «Тайм» намекнул, что «спустя два года после начала своего президентства Обама открыл для себя, как много может дать рассказывание историй» (7.02.2011).

Во время этого поворота к «рассказыванию историй» в Тусоне, штат Аризона, было совершено покушение на члена Конгресса от штата Аризона Габриэль Гиффордс, женщину либеральных взглядов. Это было ужасное, кровавое покушение на политическое убийство, в результате которого погибли шесть случайных свидетелей. В кратчайшие сроки после этого события у Барака Обамы появилась возможность оказаться в центре национальной драмы траура и покаяния. Используя благоприятный для представления момент, он произнес перед притихшей и благоговейной тусонской аудиторией речь, транслировавшуюся по национальному телевидению, в которой призвал американцев к новой эре гражданственности (13.01.2011) и потребовал от политиков в Вашингтоне прекратить заниматься сведением счетов (12.01.2011). После этого почти восемь из 10 американцев в проведенном соцопросе заявили, что были сильно впечатлены тусонской речью президента.

VI

Осенние выборы 2010 г. прошли под знаком нарративных схваток аморфно определяемого «демократического Конгресса» и Движения Чаепития. А затем реальные политические представители последнего получили контроль над Палатой представителей. По ту сторону Вашингтонского Молла эти вполне определенные политические фигуры увидели не туманный «демократический Конгресс», а конкретного человека – Барака Обаму. При наличии столь легко опознаваемых героев и противников возникала возможность нагнетания драматической напряженности. Президент Обама занял место главного героя истории о добром демократиче-

ски избранном лидере, который борется за гражданские идеалы, сталкиваясь с упорным, очевидно пристрастным и антигражданским соперником. И действительно, обретя власть, консерваторы в Палате представителей начали ссориться между собой, объединяясь лишь для противостояния мерам, предпринимаемым президентом-демократом. Эти распри побудили влиятельного политического советника республиканцев саркастически заметить, что в толпе «неистовых консерваторов», которые кажутся американцам ненормальными, в республиканской фракции нижней палаты трудно найти «разумные голоса» (19.01.2011).

Президент Обама успешно представлял себя в качестве общественного деятеля, стремящегося «найти общий язык». Этот образ резко контрастировал с той крайней политической позицией, в которой он оказался в первые два года предыдущего срока. Три четверти американцев теперь видели президента в этом новом образе, и меньше чем половина из них приписывали аналогичные гражданские устремления республиканскому Конгрессу.

Благодаря этим вновь созданным символическим кредитам Обама смог приумножить свою перформативную власть. Впервые за время своего президентства он сумел найти золотую середину в гражданской сфере, платформу, с которой он мог бы говорить от имени всего народа – или по крайней мере тех, кто был не слишком правым, не слишком богатым или не слишком склонным к насилию.

Республиканская палата объявила приоритетом номер один сокращение дефицита бюджета. По-новому играющий свою роль президент тщательно воздерживался от внесения предложений, пока Палата не раскрыла свои карты. Республиканцы наконец приняли так называемый «Бюджет Райна», предполагавший трансформацию *Medicare* – бесплатной системы медицинской помощи для пожилых американцев – в ваучерную систему и сокращение бесплатной медицинской помощи для бедных и при этом сохранявший принятые во времена Буша налоговые послабления для богатейших американцев. Настал черед для главного героя Белого дома вступить в драку. Он объявил, что не позволит выстраивать бюджет на спинах «среднего класса» ради того, чтобы самые богатые американцы, которые уже извлекли выгоду из десятилетний налоговых поблажек, могли сохранить послабления при уплате налогов. Наоборот, настаивал Обама, налоговые ставки для богатых должны быть подняты, что добавит средства в бюджет без сокращения услуг для среднего класса.

Президент внес эти предложения в своем собственном бюджете и на этой основе стремился договориться о «великом компромиссе» с лидером республиканцев в Палате представителей Дж. Бейнером. Когда, как ожидалось, республиканцы из Движения Чаепития отказались идти на компромисс, президент отправился в тур по стране. Продвигая бюджет, который переносил бы гражданскую солидарность в налоговую сферу и сулил бы сокращение экономического неравенства, президент эффективно пробуждал «образ Америки, в которой мы связаны друг с другом...» (11.04.2011).

После этого многомесячного противостояния 70% американцев обвиняли в разрыве переговоров не президента, но республиканцев (5.08.2011). Начало расти негативное отношение к Движению Чаепития. В день выборов 2010 г. четверо из десяти избирателей объявляли себя его сторонниками. Спустя девять месяцев, летом 2011 г. всего лишь 18% американцев утверждали, что согласны с позициями этого движения, а четверо из десяти называли себя его противниками.

Президент заявил, что он не надеется на достижение соглашения с республиканским большинством, которое, как он сказал, упрямо и фанатично отстаивает привилегии. «Я не намерен заключать одностороннее соглашение, которое причинит вред тем, кто больше всего уязвим», – объяснял он (20.09.2011). Он заявил, что намерен дать американцам возможность самим решить, кто прав, и определить направление развития страны на президентских выборах, предстоящих через год.

Осенью 2011 г. заряженный новой энергией президент-нарратор засучил рукава. Отказавшись от компромиссов, он переквал орала на мечи и приступил к активным действиям. Президент отныне представлял себя героем, отважно защищающим нацию от попыток республиканцев разрушить общественную солидарность.

И тут не случайно в поле зрения возникал стан соперников, возглавляемый весьма обеспеченным Миттом Ромни. Для команды Обамы Ромни был идеальной фигурой, прекрасно подходящей на роль шута или черного рыцаря в сценарии переизбрания президента. <...> Стоило Обаме обнаружить благодатную почву социальной солидарности и начать защищать средний класс и простых мужчин и женщин, как появилась фигура правого политика, честно ратующего за «экономические интересы» и «свободные рынки» против интересов гражданской сферы. Ромни играл персонажа,

обращенного назад в будущее. Имея выдающийся успех в частной жизни, публичный Ромни представлял своего рода антисимвол; фактически его «дрессировщики» решили сделать умеренного губернатора штата Массачусетс еще более «самодовольно односторонним: самым скучным супергероем, воплощенным в идеальный тип бизнесмена» (11.12.2011).

Как обобщенный представитель менталитета, присущего бизнесу, персонаж Ромни говорил такие вещи: «Мне нравится увольнять людей», «Корпорации тоже люди» и «Меня не беспокоят проблемы бедняков». Он скрытничал, избегал говорить о размерах и источниках своего состояния, отказывался сообщать о вычетах по налогам или раскрывать, какая часть его активов выведена в офшоры. Хотя все это было в рамках закона и с чисто экономической точки зрения имело смысл, с точки зрения гражданской сферы это было неуместно. У Ромни наблюдались отчетливые трудности при переходе от экономических проблем к гражданским.

Как только Обама начал позиционировать образ Ромни как воплощение антисолидарности, на публичной арене появилось движение «Захвати Уолл-стрит» (Occupy Wall Street movement).

Говоря привычным политическим языком, протест левых не принес существенных результатов, и в организационном плане он быстро исчез с американской сцены. Однако в культурном плане это движение достигло гораздо большего. Оно способствовало кристаллизации риторики о растущем экономическом неравенстве, которая до той поры оставалась в рамках сугубо академической дискуссии. Движение «Оссиру» стало поворотным пунктом, открыв двери для более отчетливых требований равенства в риторике мейн-стрима. Как сообщал в начале декабря 2011 г. «Таймс», президент теперь «привносит в свои речи моралистический язык, возникший в протестах «Оссиру» по всей стране» (7.12.2011).

В конце 2011 г. Обама ездил из штата в штат, осуждая усиленно продвигаемый Миттом Ромни лозунг «Вы и есть ваша экономика» (7.12.2011). Это «бросает вызов всему, на чем мы стоим», – сокрушался президент, помещая себя в центр прогрессивного нарратива гражданской сферы. Он и его команда начали представлять республиканского кандидата в образе «Бейн-капиталиста», не только метонимически, но и метафорически связывая его с агрессивной инвестиционной компанией “Бейн капитал” (Bain capital), управление которой в 1980-х и 1990-х принесло Ромни столь большое состояние. <...>

Весной 2012 г., когда состоялась номинация Ромни и нарратив президентского состязания окончательно оформился вокруг двух персон, очерняющая Ромни риторика усилилась, и нарратив о борьбе с неравенством и возрождении гражданской солидарности стал более возвышенным и амбициозным. «Это определяющий вопрос нашего времени», – объявлял президент Обама в апреле (14.04.2012). «Это судьбоносный момент для среднего класса», – заявлял он в мае (6.05.2012). В президентском обращении прозвучало, что Америка в 2012 г. опять балансирует в поворотной точке истории. Речь идет о том, будет ли страна двигаться вперед в лучшее будущее или вернется назад в опасное антидемократическое прошлое. «Каким-то образом [г-н Ромни] и его друзья в Конгрессе полагают, что те же плохие идеи [как те, что существовали в годы правления Буша] приведут к другому результату. Мы были там. Мы помним. И не собираемся возвращаться назад. Мы продвигаем эту страну вперед».

В августе партийные конвенции по номинации кандидатов, лишенные политической эффективности в силу наличия праймериз, обрисовали два сценария. Республиканское представление, развернувшееся первым, выглядело как «победитель получает все», что соответствовало этике экс-бизнесмена – кандидата в президенты. Продлившаяся неделю конвенция демократов прошла под девизом «Один за всех и все за одного» и вызывала ассоциации с идеалами кандидата – бывшего общественного организатора. Несмотря на свои консервативные пристрастия, обозреватель «Таймс» Дэвид Бруск с горечью отмечал «гипериндивидуализм» политического спектакля республиканцев: «Спикер за спикером, они прославляли героя-одиночку. Об обществе и сострадании почти не говорили» (31.08.2012).

К этому времени политические комментаторы и организаторы опросов общественного мнения уже говорили о «разрыве сочувствия». В августовском обращении к донорам штаб республиканцев предупреждал, что «избиратели полагают, что Обама им ближе» (11.08.2012). Согласно новостным репортажам, советники Ромни «лихорадочно работали над тем, как убедить избирателей, что Ромни может повлиять на их жизни, даже если он не похож на них» (11.08.2012). В ближайшие недели республиканская кампания обязалась «усиливать ее связь с избирателями». В начале сентября в неопределившемся штате Огайо в ответах на вопрос «Кто больше заботится о ваших проблемах?» президент лидировал над соперником-республиканцем с перевесом в 18% (12.09.2012).

VII

С момента закрытия избирательных участков вечером 6 ноября и известия о победе Обамы комментаторы, которые анализировали результаты экзит-пулов и объявляли результаты голосования, указывали, что фактически исход последней кампании Обамы определила «демография». Например, они отмечали, что в неопределенных штатах имели место изменения в расовом составе: на 3% сократилось число белых избирателей, принадлежащих к рабочему классу, и на 2% возросла доля небелого электората. Проводились корреляции между этими изменениями в составе населения и распределением голосов. 67% выходцев из Латинской Америки голосовали за Обаму и только 26% – за Ромни. Президент увеличил свою поддержку среди афроамериканцев с 90 до 95%. Он получил почти 60% голосов женщин. <...>

Как мы, однако, знаем из занятий по статистике на первом курсе, корреляции – это не причины. Паттерны голосования демографических групп – не прирожденные, но социально созданные. Отношения между политическими лидерами и социальными группами – этническими, религиозными, расовыми, сексуальными, гендерными или экономическими – это вопрос создания смыслов. Какие символические проекты проецируются в этих результатах? Как они принимаются?

Ко времени избрания Барака Обамы в 2008 г. он стал вполне «наполненным» (inflated) и чрезвычайно мощным символом той социальной революции, которая за последние полвека постепенно, но, по-видимому, неумолимо реконструировала американскую гражданскую сферу. Он был не только черным мужчиной со светлым оттенком кожи, женатым на черной женщине с более темной кожей, который получил десятки миллионов голосов белых. Он был афроамериканцем, позиционировавшим себя как последователя традиций Мартина Лютера Кинга и «Борьбы за свободу», необыкновенно одаренным, экономически и профессионально опытным политическим лидером, который посвятил свою общественную жизнь защите и расширению прав меньшинств в Соединенных Штатах. Обама стал первым президентом, который провел в Белом доме седер – еврейский ритуал, который повторяется при нем ежегодно.

В разгар кампании 2012 г. он издал указ, блокирующий депортацию 800 тыс. детей нелегальных иммигрантов, большинство из которых составляли выходцы из Латинской Америки и ни один

из которых не был рожден в США. Он отменил печально известную политику: «Не спрашивай, не говори» и постановил, что геям и лесбиянкам разрешено открыто служить в Вооруженных силах. Летом 2012 г. он выступил в поддержку легализации однополых браков. Оба судьи Верховного суда, назначенные Обамой, – женщины, одна с латиноамериканскими корнями, другая еврейка, а его политика здравоохранения требует, чтобы страховка покрывала и контроль за репродукцией.

В то время как Обама оккупировал священную почву новой американской социальной революции, открыто идентифицируя себя с интересами меньшинств, республиканцы дистанцировались от него, сделав из него Другого, изображая его как символ осквернения и даже угрозы всему тому, что традиционно считалось хорошим и даже правильным. Опросы показывают, что примерно 30–40% убежденных республиканцев считали его тайным мусульманином, 50% утверждали, что он родился не в США, его свидетельство о рождении подделано, чтобы он мог баллотироваться на высокий государственный пост; и только 28% республиканцев верят, что Обама на самом деле рожден в США (2.02.2011).

В то время как сам Ромни в значительно степени избегает публично подтверждать эти предрассудки республиканской аудитории, его ближайшие советники кампании более откровенны. Бывший губернатор Нью-Гемпшира Дж. Сунуну сказал: «Я бы хотел, чтобы президент научился быть американцем» (18.07.2012). В пылу борьбы Ромни хвастался, что в случае избрания его иммиграционная политика будет настолько суровой, что заставит латиноамериканских иммигрантов вернуться на родину по собственной воле.

Интересы, связываемые с демографическими категориями, не являются врожденными; они формируются. Именно перформативная проекция смыслов и их восприятие определили то, как группы меньшинств проголосовали на выборах в 2012 г. Символ «Барак Обама» слился с утопическими надеждами стигматизированных меньшинств, и эти символические связи позволили Обаме во время предвыборной кампании построить новую электоральную карту. Миллионы новых избирателей были зарегистрированы тысячами энтузиастов – малооплачиваемых сотрудников и волонтеров, которые затем поддерживали эти сети из новых связей, чтобы получить нужные голоса.

VIII

В этой лекции я выдвигаю культурно-социологическое объяснение победы Обамы в его последней избирательной кампании. Ни одно социологическое объяснение не может учесть те случайные факторы, которые предопределяют подводные камни, влияющие на траектории политической борьбы.

- Убийство Усамы Бен Ладена.
- Устойчивое снижение уровня безработицы.
- Поддержанный незначительным большинством голосов в Верховном суде Акт о доступном медицинском обслуживании.
- Публичное высказывание Ромни о 47% сторонниках Обамы как о жертвах.
- Провал Обамы в первом раунде президентских дебатов.
- Убийство в посольстве Ливии.
- Ураган «Сэнди».

Эстетически безупречное прогрессивное движение Обамы к политической победе могло претерпеть крах из-за любого из этих событий. Не только потому, что возникновение таких событий нельзя предсказать, но и потому, что их последствия бессрочны. Суть культурно-прагматического подхода заключается не в отрицании значимости подобных случайных факторов, а во включении их в анализ. Акторы создают смыслы, но они не выбирают обстоятельства. Задача культурсоциологии – определить социальные структуры, в рамках которых производятся эти смыслы.

Перевод О.Ю. Малиновой

А.И. Щербинин

**ИГРЫ С РОДИНОЙ: К ВОПРОСУ
О ТЕХНОЛОГИЯХ КОНСТРУИРОВАНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ**

Индивидуальный и коллективный смыслы прошлого, настоящего и будущего крайне редко приходят из сферы рационального. Наша оценка, так или иначе, опирается на фантазийную схему (или проект) интерпретации образа действительной или примысленной реальности. Интерпретативные схемы, инициируемые событиями или желаниями, даже опосредованные самими современными средствами коммуникациями, опираются в конечном счете на базовые модели интерпретации, уходящие корнями в миф, сказку, клише и т.п. [Большц, 2011, с. 47]. Нередко именно на подобных нерелексированных основаниях базируется «единственно верное» понимание. В этом плане ритуально-символическая трактовка становится основой конструирования, в том числе, и актуальной политической реальности.

Игра, как одна из наиболее древних форм социальной коммуникации, была, на наш взгляд, и одной из самых первых форм осмысления окружающего мира, моделирования его в самой доступной форме. Наряду с ритуалом игра является и самым ранним сводом правил / законов, известных человечеству. А принимая правила, ты принимаешь и навязанный смысл мира в его символическом представлении.

Осмысление мира связано с базовыми концептами, определяющими пространственно-временные координаты для человека и общества. В игре освоение такого рода базовых концептов происходит в органичной форме. На примере одного из них – концепта «Родина» – мы и рассмотрим работу этого механизма. Даже если

остаться в рамках поверхностных сравнений, у современной России много общего с СССР середины 30-х годов. Вновь поднимаются проблемы освоения Дальнего Востока, Арктики, состояния российской границы. Более глубокое прочтение этих тенденций показывает, что современная Россия, подобно своему историческому предшественнику, пытается вырваться из плена переходного периода, и одним из неперемненных условий этого выхода является осмысленный и целенаправленный процесс нацистроительства. Отсюда и исследовательский интерес к концепту «Родина», который выходит за рамки уже поднадоевших поверхностных «игр патриотов», если воспользоваться названием знаменитого романа Тома Клэнси. На наш взгляд, анализ предшествующих конструктивистских практик заслуживает самого пристального внимания, разумеется, с поправкой на различие политических режимов.

Обратим внимание на то, что тема Родины на протяжении практически 20 лет после победы Советской власти играла вспомогательную роль в осмыслении значения и перспектив мировой революции. Более того, стоит отметить одну важную особенность: как в официальном дискурсе, так и в политическом концепте «Родина» в 20-е – начале 30-х годов не употребляется. «Родина» – это конструкт, относящийся, по нашему мнению, уже к «Культуре Два», если воспользоваться метафорой Владимира Паперного. Рассматривая в качестве бинарных оппозиций «Культуру Один» и «Культуру Два», автор отмечает, что «Культуре Один» свойственна горизонтальность, и указывает на главные ее проявления: «Это значит, что ценности периферии становятся выше ценностей центра. И сознание людей, и сами люди устремляются в горизонтальном направлении, от центра». «Культура Два», характеризующаяся вертикальностью, перемещением ценностей в центр, изменяет и само общество, которое «застывает и кристаллизуется» [Паперный, 2006, с. 20]. Карен Петроун в связи с этим пишет: «Понятие “Родина”, которое использовалось в дореволюционной патриотической культуре, исчезло из советского официального дискурса в 1920-х годах, но опять появилось в середине 1930-х годов» [Petrone, 2000, p. 54]. Более того, даже в первые послереволюционные годы Родина рассматривалась преимущественно как родной край [Звягинцев, 1919].

«Наша Родина – Революция / Ей, единственной, мы верны», – пелось в песне А. Пахмутовой на слова Н. Добронравова. Конструкт «Родина-Революция» 20-х – начала 30-х годов имеет сложную временную структуру. Прежде всего он символически и риту-

ально корреспондировал с общим великим прошлым. И игры 20-х годов нам интересны как источники по политико-временной ориентации пионеров и школьников. Мы взяли для анализа подвижные игры, предлагаемые журналом юных пионеров «Барабан» за 1925 и 1926 гг., а также настольные игры-соревнования [Вишневский, 1929]. Отметим, что технически настольные игры, как и подвижные, не отличались от своих «неполитических» предшественников: в их основе лежали казаки-разбойники, кошки-мышки, шашки, шахматы, лото и т.п. Содержательно же они *политически* маркировали новую реальность – реальность революции. Это мы наблюдаем в подвижных играх типа «Красные и белые», «В тылу у белых», «Взорвать пороховой склад белых», «Секретный документ», «Буденновцы», «Буденновец за махновцем», «Поймать банду атамана Маруськи», «Красноармейцы на маневрах» и т.п. [Щербинин, 2012, с. 43–44]. Примером настольных игр, обращенных к революционному времени, может служить игра на основе шашек «Гражданская война (Колчак)» [Вишневский, 1929, с. 119–120]. Символика игры немудреная: шашки белых – белые, шашки красных, соответственно, покрашены в красный цвет. Игровая доска расчерчена, на ней границей являются Уральские горы. Если шашка белых попадает в Москву, она становится дамкой. То же происходит с красной, добравшейся до Владивостока. Как видим, в 1929 г. у игровых «белых» еще есть шанс. Чуть сложнее игра «Красный Перекоп», где один играет за Врангеля, а другой за Красную армию (стараясь последовательно завоевать города противника).

Таким образом, перед нами своего рода пространственно подобная модель истории Гражданской войны. И если взять за основу ее осмысления модели «Культуры Один» и «Культуры Два» В. Паперного, то антагонизм «красных» и «белых» шашек фактически является примером, подтверждающим не только горизонтально-плоскостную символику «Культуры Один», но и сущностную качественную ее характеристику: «Культура Один» «почти не выделяет отдельного человека из массы, она его, в сущности, не видит» [Паперный, 2006, с. 143]. Точно такими же «шашками» являлись шашки-«пионеры» и шашки-«беспризорники» в игре «Всегда готов», где «те и другие стараются перетянуть друг друга на свою сторону» [Вишневский, 1929, с. 122–125]. Разумеется, здесь идет борьба прошлого и будущего, но прошлое имеет свой шанс (игровой), как и в играх «Гражданская война» или «Красный Перекоп». И это еще раз подтверждает саморефлексию «Культуры

Один» в качестве начала истории [Паперный, 2006, с. 59]. Добавим, что такой тип культуры имеет смелость экспериментировать с этим началом, пока еще не осознавая конечности революционной эпохи.

Игры, уводящие в начало советской истории, были не единственными в арсенале методистов-игротехников. В период «Культуры Один» налицо были и игры иного типа. Поскольку революция не закончилась, вокруг страны – враги, игры такого рода тематически были связаны с активной деятельностью Коминтерна, революционеров (зарубежных и наших) по распространению мировой революции, противоборству фашистам по всем фронтам. Среди них игры с названиями «Путешествие по Европе», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», «Делегация западных рабочих», «Прорвать кольцо блокады», «Красный летчик», «Агитаторы», «Срочная депеша», «Переход границы». С борьбой западных трудящихся против собственных режимов связаны игры «Слепой жандарм» и, соответственно, «Находчивый революционер», «Ловля организатора школьной группы», «Поищи-ка», «Демонстрация», «Радиодепеша».

Подвижные игры, как правило, предваряла краткая беседа, а распределение ролей коммунистов и фашистов, красных и белых происходило на основании знаний политической / исторической темы игры. Так какое же представление о политическом мире навязывали детям игры того периода? Обращаясь в связи с этим к модели «Культура Один», мы видим, как конструируется скорее не временная, а пространственная модель осмысления прошлого и будущего через принадлежность к советскому настоящему. Окруженная врагами страна Советов – это настоящее, на глазах превращающееся в лучшее будущее, а остальной мир – это прошлое. Например, в «Путешествии по Европе» при пересечении «поездом» «границы с Польшей» ребята фактически погружаются в прошлое, получая первые знания об этом враждебном мире. По ходу игры следует команда: «Граница – осмотр». Все останавливаются, и один из октябрат производит осмотр, а пионер по ходу рассказывает, для чего это делается на границе. Дальше образование переходит на уровень безусловных рефлексов. «Во время поездки через Польшу поезд вдруг останавливается, а пионер кричит: “Штыки, спасайся”. Октябраты разбегаются по комнате и делают вид, что прячутся от штыков». Дальнейшее путешествие продолжается на автобусах, но вот в Германии они встречают отряд фашистов. «Раздаются крики: “Фашисты,

фашисты». Октябрюта разбегаются и собираются в каком-нибудь углу» и т.д. [Путешествия по Европе, 1925, с. 19].

Спрашивается, зачем детям переходить границу? Согласно Паперному, относящему феномен границы к «Культуре Два», она «постепенно приобретает значение рубежа Добра и Зла... Там, где границ не было, они возникают, а те границы, которые существовали, например, государственные, приобретают значение Главной Границы и Последнего Рубежа» [Паперный, 2006, с. 78]. На деле, как показывает наш анализ политических игр, все это происходило уже в условиях «Культуры Один». Игра поясняет – допустим, хотят перейти границу пионеры для празднования Международной детской недели. Но были и другие, более «романтически» цели и способы пересечения границы. К примеру, в игре «Красный летчик» перед «коммунистами» ставится задача «пробраться через границу, охраняемую фашистами, в город и похитить там с аэродрома военный самолет с бомбами (в виде звеньев фляжка) и, возвращаясь на границу... убивать фашистов по одиночке и по два...» [Красный летчик, 1925, с. 19]. Игра учит четкой классификации: в нашей стране под символом звезды находятся рабочие, коммунисты, а вражеские страны (на рисунках) помечены свастикой – там жандармы, шпики, фашисты с неизменным атрибутом – тюрьмой. И вот уже перед двумя партиями «агитаторов», «посылаемых Коминтерном на Запад и Восток», стоит задача перебраться в коммунистические ячейки Германии или Китая [Агитаторы, 1925, с. 19]. Цель коммунистов и пролетариев этих стран – поднять восстание, оказывать сопротивление Системе и, конечно, воплотить в жизнь главный лозунг коммунистов: «За границей врасыпную находятся пролетарии, цель которых пробраться сквозь ряды буржуазии и соединиться всем в СССР» [Пролетарии всех стран, соединяйтесь, 1925, с. 19]. Так на уровне детского сознания создавался образ Мекки и Медины мирового социализма. Однако по условиям игры, если за полтора часа игры в СССР пробралось меньше половины «пролетариев», «то значит, эта попытка соединиться всем пролетариям была неудачной, так как капиталисты им помешали». В играх наша страна всеми силами старается помочь западным рабочим, хотя бы на время проникнуть к нам: «Рабочие стараются проникнуть за черту СССР, не будучи пойманными жандармами. Советские пограничники стараются передать пропуска для гарантий последних от ареста» (игра «Делегация западных рабочих») [Щербинин, 2012, с. 44–47].

Обратим внимание также и на то, что в «догеографический» период (до 1934 г. география была исключена из предметов школьного образования) пространство СССР все же отражалось, как в нейтральных играх на знание страны типа «Путешествие на аэроплане по СССР» [Вишневский, 1929, с. 94–95], «Складная карта», «Где вы родились» [Вишневский, Панова, 1934, с. 134, 135], так и в играх идеологизированных. К примеру, «Путешествие в историю» предлагает тему «Жизнь Ленина»: «Я путешествовал по России и встретил величайшего из русских людей». Игрок, которому дан знак путешественником, говорит: «Ленин». Дальше надо было опознать город, в котором Ленин родился, сказать, как он называется теперь. Другие важнейшие события из жизни Ленина также обыгрываются на фоне знания о городах, где они происходили [Вишневский, Панова, 1934, с. 136]. Игра «Путешествие на аэроплане по СССР» даже имеет карту-вклейку страны, условно поделенной на губернии [Вишневский, 1929, с. 94–95]. Так или иначе, игры формировали идентичность постреволюционного поколения школьников со своей страной.

Более того, «Педагогическая энциклопедия», фиксируя своеобразный итог игровой дидактики, достигнутый к концу 20-х годов, отмечала эмоционально-дидактические особенности политической игры. «*Политигры*, составляясь из тех или иных подвижных игр... являются верным средством эмоционального воспитания. Цель политигры – в своем развитии естественно передать участникам определенную политическую тему, содействуя в то же время физическому развитию пионера. В политигре ребенок становится как бы участником революционных событий, чем мы достигаем того, что ребенок не только понимает, но и переживает прорабатываемую тему. Переживание глубоко врежется в душу пионера, оставляя в его памяти прочные следы. Основным принципом политигры является ее коллективность, массовость; это делает политигру могучим средством спайки пионеров, их коллективистского воспитания. Составление и подбор политигр – дело весьма нелегкое, но мы уже имеем некоторые достижения в этой области; есть ряд сборников пионерских игр, специально подобранных со стороны их значимости как для физического, так и для политического развития пионера» [цит. по: Щербинин, 2012, с. 43].

К середине 30-х годов задачи формирования единой советской нации (в ее надэтническом понимании) требовали прочной связи конструкта Родины и самого конструктора – Вождя в контексте «Культуры Два». К. Петроун пишет: «Образ Родины созда-

вал связь между государством и семьей. Как показано в работе Катерины Кларк, посвященной соцреализму, одним из центральных мифов Советского Союза 1930-х годов была “великая семья”. Советские публицисты часто представляли Советский Союз как семью со Сталиным в роли великого патриарха и советских людей в роли детей Сталина. Например, песня той эпохи представляла советские республика как “девять сестер” советской семьи. Тем не менее единственным материнским образом была сама страна, Родина [Petrone, 2000, p. 55]. Это положение Петроун можно проследить и по конструктам, транслируемым на детей. В опубликованном в журнале «Мурзилка» стихотворении «Колыбельная» Л. Квитко рассказывается, как ребенку снится страшный сон: в лесу на него нападают волки, он зовет маму, однако там же во сне он получает помощь самого сильного и могущественного человека: «Но Сталин узнал, что в лесу я стою, / Прослышал, проведаль про гибель мою. / И танк высылает за мною. / И мчусь я дорогой лесною». Детский кошмар продолжается: мальчик уже на море, от акулу его спасает посланный Сталиным гидроплан. Путешествие счастливо заканчивается у стен Кремля. «Мамочка, мама, голубка моя! / Настежь открылись ворота Кремля. / Кто-то выходит из этих ворот, / Кто-то меня осторожно берет, / И поднимает, как папа, меня, / И обнимает, как папа, меня. / Сразу мне весело стало. / Кто это был? Угадала?» [Квитко, 1937, с. 14–15]. Созданный взрослыми конструкт в том же журнале мешается с детскими фантазиями в «самодельных» стихах: «Я был недавно в Москве-столице, / Летал в большой железной птице. / Когда к Кремлю мы подлетали, / То весь парад мы увидали. / Но вдруг оркестры заиграли, / И мы вождей всех увидали. / А люди уж в ряды все встали, / И вдруг я вижу, входит СТАЛИН» [Мануилов, 1937, с. 21].

Подобно Петроун Виктория Боннелл, анализируя советский плакат в главах «Иконография вождя» и «Сталин и Родина», отмечает те же смысловые связи и тенденции (автор их называет имперскими), характерные для СССР начиная с середины 30-х годов и в течение последующих 20 лет. Так, по поводу плаката «Да здравствует творец конституции свободных, счастливых народов СССР, учитель и друг трудящихся всего мира, наш родной Сталин!» (1936) Боннелл пишет: «Термин “родной” имеет тот же корень, что и слово “родина”. Сам корень “род” является основой для всех слов, относящихся к родственным отношениям по крови, например, род – кровные родственники, семья, рождение; родить, родители, родственники, родной – той же крови, дорогой, люби-

мый, очень близкий. Применение прилагательного “родной” при описании Сталина означает семейные отношения между ним и народом – в данном случае отношения отца и его детей» [Bonnell, 1999, p. 165–166].

Судя по источникам, радость обретения Родины-матери и Вождя-отца была практически одновременной – вторая половина 30-х годов. Но, на наш взгляд, стоит обратить внимание на то, что Родина не вырастает из детского состояния Страны Советов «Культуры Один», а сразу возникает в славе. Глориализм конструкта Родины ранее отмечался нами в работе, посвященной воздействию советской календарной модели, в том числе и на сознание детей [Щербинин, 2008, с. 65–67]. Уже к 20-летию Октябрьской революции журнал «Мурзилка» передовую статью полностью, и по форме, и по содержанию, посвятил славе нашей Родины:

«Далеко на весь мир гремит слава нашей родины. По всей земле знаменит СССР – единственная в мире страна, где все – и власть, и богатство, и свобода, и счастье, и почет – принадлежат тем, кто трудится.

Наше государство славится великой дружбой народов, самыми мудрыми, самыми справедливыми законами.

Добрая и грозная слава у нашей Рабоче-крестьянской Красной армии, самой храброй и сильной в мире.

Веселая и звонкая слава у наших ребят, самых счастливых на всей земле.

Высоко гремит слава наших советских летчиков, самых смелых, настойчивых и умелых во всем небе.

Громко поют славу нашей родине советские артисты, народные поэты, музыканты, самые лучшие, самые знаменитые в мире.

Великая слава нашей родины создана за 20 лет советскими людьми, которых взрастили и воспитали ленинская коммунистическая партия, наш вождь и учитель товарищ Сталин.

И родина отмечает своих знатных питомцев знаками славы и уважения – орденами Советского Союза» [Слава нашей родины, 1937, с. 2].

Таким образом, к середине 30-х годов мы уже сталкиваемся с конструированием новой политической реальности – Родины. В данном случае речь идет не о тривиальной пропаганде и даже не об индоктринации в ее механическом понимании, а о комплексном конструировании образа Родины как некоего предельного значения и, следовательно, о базовом конструкте сознания, в создании которого участвовала и политическая игра. В связи с этим спор-

ными представляются некоторые выводы Карен Петроун, которая в главе «Образ Родины» высказывает сомнение по поводу того, что игры советских детей в Чкалова, челюскинцев способствовали «принятию множества изменчивых идентичностей, очень слабо связанных с официальной культурой». Опираясь на автобиографическую повесть М. Алексева «Драчуны», она пишет:

«На тех, кто не получал государственных сообщений о летчиках и полярниках посредством медиакоммуникаций, воздействовали другими способами. По воспоминаниям одного советского мальчика можно предположить, что хотя некоторые советские дети воображали себя советскими героями, советские пропагандисты не могли всегда предвидеть результат: 14-летний советский мальчик вспоминает: “В нашем дворе мы всегда играли в полет АНТ-25 с Чкаловым, Байдуковым и Беляковым. Но всегда все заканчивалось дракой, так как каждый хотел быть Чкаловым”. Тот факт, что Чкалов был популярнее других летчиков-героев, превратил игру, которая должна была восхвалять советские коллективные достижения, в ссору о личном статусе.

Игра, о которой вспоминает писатель Михаил Алексеев в своем автобиографической повести “Драчуны”, показывает, что огромные различия в престижности героя и жертвы создавали напряженности в детских играх типа челюскинцев. После того, как их местная речка замерзла, ребяташки из деревни Алексева построили лагерь и назвали его “Челюскин”. Затем “целыми днями напролет мы спасали девочек, которых мы заставляли играть роль пассажиров тонущего корабля. Конечно, мальчики были летчиками. Так как я первым придумал эту игру, то получил право взять себе имя летчика-героя”. То есть, как идентификация советских героев отражала иерархию советского общества, так и игры в героев показывали иерархию в детском обществе. Дети, играя в челюскинцев и в подобные игры, могли начать принимать официально установленные идеалы героизма и общества, но в игре они трансформировали эти модели, чтобы те подходили их собственному социальному миру. В результате было принятие множества изменчивых идентичностей, очень слабо связанных с официальной культурой. Вдохновляя детей на патриотические игры, советские пропагандисты создавали спонтанность, которая могла существенным образом трансформировать государственные цели» [Petrone, 2000, p. 52].

Однако воздействие, о котором пишет К. Петроун, не могло быть абсолютно информационно-пропагандистским, поскольку по

своей природе игра является видом человеческой деятельности, исключая принуждение. Подтверждение тому факту, что образ Родины был связан с интенцией на защиту (как в играх в пограничников) или на героическое освоение ее рубежей, мы можем найти не только у М. Алексеева. Аналогичную ситуацию с девочкой Женей в 1940 г. нарисовал в своей сказке «Цветик-семицветик» Валентин Катаев: это не доски, а льдины, мы – папанинцы, и девчонок на полюс не берем. Игра в Северный полюс в те времена начиналась в весьма раннем возрасте. В альбоме 1937 г. издания «Жены инженеров. Общественницы тяжелой промышленности» на фото изображена комната в детском саду, декорированная «снегом» из ваты. На задней стене портрет Сталина, десяток маленьких детишек, далеко не арктический мишка, велосипед, лошадки. И подпись: «Как играют наши дети? Чем увлекаются они? Происходят события в Арктике, и воображение ребят начинают занимать ледовые походы и арктические экспедиции. Как не пойти навстречу ребятам?! – И в яслях на харьковском заводе активистки организуют на несколько дней арктическую комнату» [цит. по: Щербинин, 2012, с. 200]. Конечно, массовики не упускали возможности регламентировать игру. Так, в 1939 г. публикуется «По следам Папанинцев (массовая игра)» [По следам Папанинцев, 1939]. А Галина Орлова в своей интереснейшей статье «Заочное путешествие: управление географическим воображением в сталинскую эпоху» показывает, как игра-путешествие превращается в один «из самых изощренных способов политического использования географических знаний», определяемый автором как «интерриоризированная география» [Орлова, 2009].

С нашей точки зрения, все это представляло разновидность индоктринационной техники, нацеленной на формирование конструкта «Родина». В силу того, что в поле исследования автора попал методический материал, относящийся к 1947 г., данная игра уже утратила конструктивистскую актуальность, превратившись в методический материал по географии СССР. Точно так же героический дрейф папанинцев инерционно включался в послевоенные учебники по русскому языку, хотя налицо уже были другие, более актуальные герои и подвиги: во время войны и в результате Победы появились новые черты в образе Родины. Подчеркнем, что феномен «географических» игр середины 30-х годов невозможно объяснить сугубо географическими причинами. Это было важнейшее направление работы по конструированию советской идентичности с помощью формируемого конструкта Родины.

Игры в пограничников, Чапаева, Чкалова, папанинцев, Челюскинцев – естественная черта советской эпохи. Как писал С. Маршак, «...Дети нашего двора, / Летчики, пилоты, / И для вас придет пора / Боевой работы. / И взлетая на простор / Или волны роя, / Вы припомните тот двор, / Где живут герои» [Маршак, 1968, с. 53]. И новое поколение детей будет играть в героев другой войны, в космонавтов. Противопоставлять литературные произведения Алексея и Маршака, даже в качестве примеров, – задача непростая. Но до сих пор живы люди той эпохи, для которых знакомство с Родиной начиналось с игры. Мне довелось несколько лет тому назад выступать с докладом о ностальгии по советскому на международной конференции, посвященной юбилею кафедры социологии и психологии политики МГУ им. Ломоносова. В своем исследовании я опирался на тексты детских песен о Родине советского периода. В перерыве ко мне подошел, скажем так, «возрастной» коллега из Санкт-Петербурга и сказал примерно следующее: «Песен я не помню, а вот в политические игры играли постоянно». И это были не придуманные методистами политические переделки из «кошек-мышек», а игры, идущие из фактов героической эпохи, из фильмов, подобных «Чапаеву», «Александру Невскому» и др. Согласимся с В. Боннелл, которая в рамках своего предмета констатирует, что в итоге «патриотизм и имперский дух заменили класс в качестве основ преданности, культивируемых советским режимом среди граждан. Можно заметить, что отождествление с классом уже сошло со сцены в середины 1930-х годов, а Сталин стал новым священным центром, заменившим пролетариат. В течение Второй мировой войны священное имя Сталина стало неразрывно связываться с “родиной” как объектом почитания. Прямым следствием войны стал тот факт, что Сталин и патриотизм стали двумя опорами, на которых покоилась советская мифология» [Bonnell, 1999, p. 256–257].

Остатки данной мифологии в сознании россиян прослеживаются и поныне, и они тем заметнее, чем острее дефицит ощущения Родины, характерный для постсоветской России. Неудивительно, что этот дефицит перманентно воскрешает и вторую фигуру парного конструкта – Сталина. Разумеется, речь идет о разных эпохах, различных политических режимах. Тоталитарный режим мог использовать пропагандистскую машину, и в кратчайшие сроки появлялись десятки и сотни песен о моряках, летчиках, пограничниках, полярниках, бойцах и командирах, пионерах и комсомольцах, где главной темой была Родина. Родина стала клю-

чевым концептом плакатов, как, впрочем, и учебников, выходящих миллионными тиражами. Обретение Родины, слава Вождя и героического народа стали идеологическим стержнем советских праздников. Естественно, что политические игры были лишь символической и семиотической «провинцией» общей тенденции.

Очевидно, что сегодня, даже в условиях кратно возросших коммуникативных возможностей, в том числе, и государства, нынешнему политическому режиму вряд ли по силам повторить эксперимент. И дело здесь даже не в отсутствии государственной идеологии. Как раз ее-то и надо начинать строить с осмысления и символического конструирования концепта Родины, а не с патриотизма – в нашем случае умозрительного проекта, осуществляющегося в интересах нескольких групп, которые небескорыстно и нерезультативно (с точки зрения смысла) монополизируют право на понимание самой идеи и техник ее реализации. На деле все же стоит тщательнее переосмыслить опыт конструирования Родины и в целом советской нации, включая и его дидактическую часть, связанную с игрой. Пока же мы можем констатировать, что игры с подобной тематикой исчезли в «негероическую эпоху» [Щербинина, 2011, с. 193–194] на фоне поблекшего образа Родины. Но если эта тема исчезает из игры как добровольного вида действия, приносящего удовлетворение, идея Родины превращается в фантом, бессмысленная тем самым «игры патриотов».

Литература

- Агитаторы // Барабан. – М., 1925. – № 11–12. – С. 19.
Больш Н. Азбука медиа. – М.: Изд-во «Европа», 2011. – 136 с.
Вишневский А.И. Настольные игры-соревнования. – М.; Л.: Молодая гвардия, 1929. – 189 с.
Вишневский А.И., Панова Т.А. Игры юных пионеров. – М.: ОГИЗ «Молодая гвардия», 1934. – 160 с.
Звягинцев Е.А. Родиноведение и локализация в народной школе. – М.: Изд-во журн. «Народный учитель», 1919. – 96 с.
Квитко Л. Колыбельная // Мурзилка. – М., 1937. – № 2. – С. 14–15.
Красный летчик // Барабан. – М., 1925. – № 11–12. – С. 19.
Мануилов М. Парад // Мурзилка. – М., 1937. – № 7. – С. 21.
Маршак С.Я. Произведения для детей. – М.: Художественная литература, 1968. – Т. 1. – 120 с.
Орлова Г. «Заочное путешествие»: управление географическим воображением в сталинскую эпоху // НЛО. – М., 2009. – № 100. – Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/nlo/2009/100/or21.html> (Дата посещения: 10.12.2013.)

- Паперный В. Культура Два. – 2-е изд., испр., доп. – М.: НЛЮ, 2006. – 408 с.
- По следам Папанинцев (массовая игра). – М.: Б. и., 1939. – 15 с.
- Пролетарии всех стран, соединяйтесь // Барабан. – М., 1925. – № 11–12. – С. 19.
- Путешествия по Европе // Барабан. – М., 1925. – № 13. – С. 19.
- Слава нашей родины // Мурзилка. – М., 1937. – № 10. – С. 2.
- Щербинин А.И. «Красный день календаря»: формирование матрицы восприятия политического времени в России // Вестник Томского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Политология. – Томск, 2008. – № 2(3). – С. 52–69.
- Щербинин А.И. Тоталитарная индоктринация как управление сознанием: Учеб. пособие. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2012. – 274 с.
- Щербинина Н.Г. Мифо-героическое конструирование политической реальности России. – М.: РОССПЭН, 2011. – 287 с.
- Bonnell V. Iconography of power: Soviet political posters under Lenin and Stalin. – L.A.: Univ. of California press, 1999. – 363 p.
- Petrone K. Life has become more joyous, comrades: Celebrations in the time of Stalin. – Bloomington; Indianapolis: Indiana univ. press, 2000. – 266 p.

ПОЛИТИКА КАК ПРОИЗВОДСТВО СМЫСЛОВ

Н.М. Мухарямов

«ПЛАНЕТАРНАЯ ВУЛЬГАТА» КАК ПОЛИТИКО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН¹

Соотнесение глобализации и языка как предмет теоретического освоения – относительно недавнее направление исследований (иногда датируемое первыми годами XXI в.), которое получило претенциозное наименование «глобализационная лингвистика» или «лингвоглобалистика». Последний термин взят на вооружение и российскими исследователями [см.: Кирилина, Гриценко, Лалетина, 2012, с. 18]. Очевидно, что основным предметом лингвоглобалистики должны становиться прежде всего языковые измерения глобальных феноменов. Однако этим не исчерпывается взаимная направленность двух онтологических комплексов, с достаточной мерой условности обозначаемых как «глобализация», с одной стороны, и «язык» – с другой.

Исследование связей, заданных данными понятиями, диктует необходимость, во-первых, кроссдисциплинарного видения, во-вторых, учета диалектики всех предполагаемых к изучению начал – семантики, коммуникации, волевых и нормативно-регулятивных установлений, тенденций интеграции / дезинтеграции в современных мирополитических масштабах.

¹Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, грант 13-03-00 334а.

Язык и глобализация: Способы концептуального освоения

Множественность объяснительных моделей, описывающих взаимную детерминированность языковой жизни и того, что обобщенно определяется как глобализация, естественным образом вытекает из разнообразия способов понимания первого и второго в современной обществоведческой мысли. Наиболее заметными стали несколько теоретических ракурсов этого тематического круга, представленных в научной литературе.

Наиболее традиционный из них связан с социолингвистическим изучением языков в их системном качестве – как национальных языков. При этом в первую очередь учитываются характеристики их демографической и коммуникативной мощности, жизнеспособности (витальности). Анализ различных моделей дву- и многоязычия на локальном, национальном, трансграничном и международном уровнях сочетается с построением стратификаций, иерархий языков, которые рассматриваются в терминах соперничества.

Языковое многообразие распределено в мире крайне неравномерно (прежде всего, с точки зрения количественных показателей носителей того или иного языка). Если бы языки распределялись одинаково по численности говорящих, то каждый из них имел бы в среднем 860 тыс. человек. В действительности подобный медианный показатель в мире равен 7,5 тыс. носителей. Указанная неравномерность выглядит следующим образом (см. табл. 1)

Таблица 1

Распределение языков по «рангам» и удельному весу говорящих

Количество языков	Доля говорящих в %
3,586 «малых» языков	0,2
2,935 «средних» языков	20,4
83 «крупных» языка	79,4

Источник: [Romanie, 2009, p. 49].

В исследовательской и научно-популярной литературе довольно широко представлена концепция «языковых систем», выстраиваемых по аналогии с геометрией концентрических кругов. Образующаяся конstellляция языков включает периферию,

иферию и «ядро». На языках, относящихся к «периферии» и насчитывающих 98% языков мира, говорят в общей сложности менее 10% человечества. Это – «языки памяти», не имеющие чаще всего письменности и средств media. Используя метафору гелиоцентрического плана, А. де Сваан сравнивает эти языки со спутниками планет [см.: Swaan, 2001, p. 11–16].

По оценке этого автора, следующую категорию образуют примерно 150 языков, занимающих, соответственно, положение «небесных тел», вращающихся на определенных орбитах (их еще называют «центральными» языками). Их доля составляет около 3%. На этих языках, как правило, входящих в кластер «национальных» языков с закрепленным официальным статусом, разговаривает 95% человечества. Им присущ высокий уровень стандартизованности с точки зрения грамматики, синтаксиса, словаря, орфографии и произношения. Они представлены в многообразных сферах функционирования, используются в образовании, в печати, в научной и художественной литературе, в законодательстве, управлении и судах. Наконец, они характеризуются наличием обширного корпуса классических текстов, созданных предыдущими поколениями.

Языки, используемые наиболее широко, занимают высшую ступень в иерархии и образуют группу «суперцентральных» языков, или «планет», на сей раз, уже собственно Солнечной системы. Определяющим признаком в данном случае является то, что эти языки применяются в международных коммуникациях, протяженных в пространстве. Численность носителей этих языков по большей части (кроме суахили) превышает 100 млн человек. К данному разряду А. де Сваан относит арабский, китайский, английский, французский, немецкий, хинди, японский, малайский, португальский, русский, испанский, суахили и турецкий языки.

Наконец, в рассматриваемой конstellации «гиперцентральной» положение занимает английский язык – своеобразный «хаб» языковой галактики [см.: Swaan, 2001].

Отношение со стороны экспертов и исследователей к неоспоримому факту доминирования английского языка в современном мире варьируется довольно широко – от «проглобалистского» и нейтрального (объективистского) до непримиримо критического. Оценочный спектр имеет явную идеологическую окраску. В качестве одного из крайних флангов может рассматриваться теория лингвистического (нео)империализма – одно из

заметных направлений в литературе, посвященной языковым процессам в условиях глобализации.

В контексте критической интерпретации глобальные тенденции расцениваются как губительные по отношению к культурно-языковому многообразию современного мира. Роль английского языка как безраздельно доминирующего, гегемонистского языка квалифицируется как роль «языка-киллера», наносящего невосполнимый ущерб миноритарным языкам в качестве инструментов образования и объективно ведущего к ущемлению языковых прав на уровне меньшинств, языка, повинного в «лингвициде». В рамках экологической парадигмы составляются сценарии стремительного исчезновения малых языков – процесса, обстоятельно документированного в официальных публикациях международных организаций и описанного в научной литературе [см., например: Skutnabb-Kangas, Phillipson, 2010]. Концептуальная логика Т. Скютнабб-Кангас и Р. Филлипсона строится в виде линии преемственности: колониализм – лингвистический (нео)империализм – корпоративная глобализация. Если «империалистическая глобализация» строилась на военном доминировании, то «корпоративная глобализация» квалифицируется как более изощренный инструмент гегемонии. Наряду со многими характеристиками, ассоциирующимися с неолиберальным экономическим курсом, эта версия глобального господства ведет к культурно-языковой гомогенизации, к приватизации и «коммодификации» государственных услуг. Английский язык как «*лингва франка*» (или, по словам этих авторов, – «*лингва экономика*», «*лингва эмотива*» в случае с *Голливудом*, «*лингва академика*», «*лингва беллика*» в милитаристском смысле и даже – «*лингва франкеништейна*») вовлекает современный мир в «понятийную вселенную» американизированного бизнеса, становясь при этом доминирующим капиталистическим языком [см.: Skutnabb-Kangas, Phillipson, 2010, p. 80–81; Phillipson, 2008, p. 191–192].

Несмотря на то что на ранних этапах английский не имел никакого специального статуса в институтах европейской интеграции, он уверенно занял здесь позиции языка-гегемона став, например, единственным официальным языком Европейского Центробанка, в целом – основным языком первичной подготовки всех документов ЕС (см. табл. 2)

Таблица 2

Языки, на которых составляются документы Евросоюза (в %)

Год	Французский	Немецкий	Другие	Английский
1970	60	40	0	0
1996	38	5	12	46
2004	26	3	9	62
2006	14	3	11	72

Источник: [Phillipson, 2008, p. 193].

Несмотря на ширящиеся масштабы влияния английского языка, глобализацию нельзя рассматривать как однонаправленный политико-лингвистический феномен. В этой области происходит соперничество нескольких «субглобализаций», нескольких претендентов на супранациональное влияние [см.: Бергер, 2004, с. 22]. Это – составляющая общих процессов усиления взаимозависимости и проницаемости границ либо в пространственных пределах макро- и мезорегионов, либо в контексте так называемых транслокальных взаимодействий. То, что происходит, к примеру, на постсоветском пространстве, нельзя сводить к схемам «американизации». В восточноевропейской зоне действуют факторы культурной европеизации, в странах Балтии – это скандинавское влияние, в Центральное Азии – турецкое и пр.

Явления языковой субглобализации связаны с историческими обстоятельствами постколониального (в случаях франко-, испано-, португалоязычных сообществ), постимперского (применительно к бывшим континентальным империям – Российской, Оттоманской, Габсбургской), посткоммунистического (зона бывшего Советского блока) и религиозного характера. Можно, далее, видеть сущностные различия в функциональных вариантах устройства трансграничных языковых сообществ и движений. Некоторые из них консолидированы на базе глубоко укорененных связей, на использовании общего языка в различных общественных сферах. Так, сообщество Франкофонии представляет собой своего рода парадигмальную модель институционально консолидированной зоны общего коммуникативного кода. Движения за интеграцию тюркоязычных стран и регионов или, например, финно-угорского мира (на базе соответствующих языковых семей) при всей объединительной риторике не имеют единого языка

(соответственно – общего средства совместного международно-политического функционирования) и могут расцениваться, скорее, как сообщества дискурсивно-символического типа. Иначе говоря, языковая субглобализация имеет место в таких разновидностях, когда коммуникативные и символические аспекты представлены в органическом сочетании, а также в таких, когда то и другое существует само по себе или даже в конфликтной ситуации. Тому есть красноречивые, а иногда и парадоксальные, на первый взгляд, свидетельства.

Русский язык, как известно, стал вторым по популярности в Интернете (если судить по доле веб-сайтов) и бесспорно лидирует среди пользователей Всемирной сети в Белоруссии, на Украине, в странах Центральной Азии. Есть международные организации, официальными и рабочими языками которых являются английский и русский, – например «Организация за демократию и экономическое развитие – ГУАМ». И хотя странам, декларирующим в качестве стратегической цели «ослабление зависимости от России», таким, как Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова, естественно было бы символически отказаться также и от использования русского языка, реальные коммуникативные возможности в сегодняшних условиях им этого, по-видимому, не позволяют. В качестве еще одного примера можно привести «исламскую глобализацию»: при всех тенденциях фундаментализации и радикализации в сетевых формах активности молодых мусульман Кавказа в качестве основного средства коммуникации – в том числе и в проповедях – используется не арабский (турецкий или персидский), а русский язык [см.: Ярлыкапов, 2012, с. 610].

Один из признаков отказа от «пораженческого» взгляда на международные перспективы русского языка – спорная, разумеется, инициатива придания ему статуса официального языка Евросоюза, для чего требуется создать инициативную группу, а затем собрать миллион подписей сторонников такого решения [см.: Башлыкова, 2013, с. 1]. Впрочем, эта инициатива при наличии достаточных коммуникативных оснований натолкнется, вероятнее всего, на непреодолимые препятствия политико-символического характера.

Приведенные подходы построены на логике показа взаимоотношений, если так можно выразиться, языков как таковых – своего рода «игроков» на международной арене, «идиотнических» образований – «национальных» языков, которые по условной аналогии с межгосударственными отношениями претендуют на статус суверенного равенства. Любой язык обладает самоцен-

ной значимостью, будучи формой хранения уникального культурного опыта и неповторимым средством описания мира. В контекстах глобализации в связи с этим языки занимают в известном смысле уникальное положение. С одной стороны, язык как основное средство человеческого общения находится в эпицентре всех кардинальных перемен, которые происходят сегодня в связи с коммуникативной мобильностью, с дешевизной и скоростью передачи информации. С другой стороны, в отличие от финансов, товаров, технологий, культурных продуктов, любых других физических и нематериальных объектов, перемещаясь «поверх границ», языки не образуют «потоков». Язык как система, как единство фонетических, морфологических, лексических и синтаксических свойств не поддается произвольному экспорту в режиме ускоренной доставки потребителям. Языки в указанном смысле, пусть даже самые влиятельные и коммуникативно мощные, не могут беспрепятственно и спонтанно циркулировать в сколь угодно «глобализированном» мире. Возможно, когда-нибудь появится девайс с опциями неограниченного машинного перевода и в графическом, и в акустическом вариантах и лингвистические барьеры, разделяющие человечество утратят свое значение. Языки распространяются, в то время как культуры могут устремляться через границы в виде «потоков» [см.: Jasquet, 2005, p. 258]. В этом смысле созвучно не столь парадоксально выглядит тезис Вл. Елистратова: «Сфера национального языка – я говорю не столько о словаре, сколько о той самой сакраментальной “непереводимой игре слов” и “местных идиоматических выражениях” – единственное, что неподвластно глобализации» [Елистратов, 2009].

Глобализация вовлекает в свои орбиты не системно-целостные «идиоэтнические» языки, но их элементы и отдельные языковые явления. Языки в виде лингвистически определяемых объектов со своими обозначенными пределами, названиями, языки в качестве исчисляемых отдельных образований, часто сводящиеся к лексическим и грамматическим структурам, взятые вне времени и пространства, – это предмет для исследования в парадигме «социолингвистики распространения». Альтернативное решение – «социолингвистика мобильности» – оперирует показателями языковых (точнее – речевых) ресурсов, их доступностью и соответственно коррелятами в плане власти и неравенства [см.: Blommaert, 2010, p. 12]. Путешествуют в пространстве, таким образом, не столько сами языки, сколько их «фрагменты» или языковые «продукты». Посредством современных медиа- и коммуникационных

технологий, как пишет Н. Фэркло, образуются потоки образов, репрезентаций, нарративов и дискурсов. Глобализация, с его точки зрения, отчасти представляет собой дискурсивный процесс, а дискурсы порождают конструирующие эффекты по отношению к материальным переменам, которые ассоциируются с глобализацией [Fairclough, 2007, p. 11].

Метафора «планетарной вульгаты», предложенная П. Бурдьё и Л. Воканом, либеральный новояз (NewLiberalSpeak) – это идеологическая характеристика сдвигов, произошедших на пороге двух столетий под прикрытием «модернизации». Серия оппозиций, отражающих трансформации в свете «вульгаты», предполагает однонаправленные смысловые ходы:

государство	→ глобализация →	рынок
принуждение		свобода
закрытость		открытость
жесткость		гибкость
неподвижность		динамика,
прошлое		самотрансформация
статика		будущее, новация
группа, лобби,		рост
коллективизм		индивид,
однообразие,		индивидуализм
искусственность		многообразие,
авторитаризм		аутентичность
(тоталитаризм)		демократия

В роли носителей такой языковой деятельности выступают, по мнению П. Бурдьё и Л. Вокана, «эксперты из теневых коридоров министерств и корпоративных штаб-квартир», оперирующие техническими, экономико-математическими языками для оправдания политического выбора в иных (не технических) областях. Вторая категория в этом ряду – это «консультанты по коммуникациям», «перебежчики» из академической среды, ответственные за декорирование политических проектов [Bourdieu, Wacquant, 2001, p. 4, 5].

Лексические эффекты глобализации: Российский случай

Одно из наиболее наглядных слагаемых глобализации, влияющих на современный русский общественно-политический язык, это избыточное пришествие иноязычных слов, и прежде всего англицизмов / американизмов. Слова-«гастарбайтеры», например

«менеджмент» вместо «управление», означают, как заметил писатель Дм. Данилин, не нечто вообще, а что-то очень конкретное [Архангельский, 2012, с. 41]. В применении в нынешнем отечественном политическом, политико-административном или в целом управленческом обиходе понятий иностранного происхождения нет ничего необычного или неожиданного. Исторически в русском языке всегда было много заимствований – тюркизмов, полонизмов, германизмов. В подтверждение этому можно привести бесчисленное количество примеров из сфер государственной службы, военного дела, науки, топониимики. Пред- и послереволюционная эпоха только усилила словесные потоки из-за границы. Времена «железного занавеса», не говоря уже об «оттепели» и, разумеется, перестройке, также не ограждали словарь советской политики ни от ранее укоренившейся терминологии, ни от каких-то словарных новшеств.

То, что ассоциируется с новейшим пониманием глобализации, таким образом, не несет в себе ничего непривычного. Как пишет В.М. Алпатов, «процессы языковой глобализации пока сравнительно мало влияют на языковую ситуацию внутри России... В русском языке число английских заимствований, безусловно, резко увеличилось... Но это – развитие пусть “плохого”, но русского языка» [Алпатов, 2010, с. 204].

Происходящее в последние годы обладает рядом особенностей. Можно, вероятно, говорить об обоснованной гипотезе: в изобилии употребляемые отглагольные существительные заморского происхождения (английские «инговые» формы) очевидным образом берут верх над «измами», которые вытесняются в область политико-языковой архаики. «Инговое цунами» открывает новые и «легкие» пути для появления неологизмов «двойного гражданства» в экономике, политике, бизнесе, массмедиа, искусстве, хайтеке, спорте [см.: Григорьев, 2005].

Характерной иллюстрацией может служить стенограмма заседания Правительственной комиссии по координации деятельности Открытого правительства (от 9 ноября 2012 г.):

«**А.А. Ослон** (президент Общероссийского общественного фонда “Общественное мнение”): ...Я здесь перечислил только для того, чтобы обозначить, какие профессии возникают рядом с проектом “Открытое правительство”. И без участия людей этих профессий Открытое правительство будет правительством не совсем открытым. Краудсорсинг, который я понимаю как работу, как привлечение людей к работе (как аутсорсинг, так и краудсорсинг – это работа, где есть все аспекты производственного процесса),

фасилитация (это создание человеческих отношений), маркетинг (это фокусирование коммуникации с людьми, таргетированные коммуникации с целевыми группами с учетом специфики дифференциации целевых групп), вирусное распространение, сетевое распространение, самоподдерживающиеся коммуникативные процессы, элементы игры (гейминг) с элементами выигрыша и так далее – это только узкий, начальный круг слов, которые надо произносить, для того чтобы описать эту проблематику, для того чтобы людям было интересно...

Д.А. Медведев: Такие слова страшные, что я прочитал. Сразу зубы свело от скуки – то, что связано с интересом и движухой в этом плане.

А.А. Ослон: А нашим гражданам, которым предлагается Открытое правительство, иногда зубы сводит от тех слов, которые они слышат и читают там. Проблема именно в том, что это не то, что разные миры, это разные языки.

Д.А. Медведев: Просто я про язык краудсорсингов, фасилитации, маркетинга, таргетинга, вирусности и гейминга, – только в этом смысле, Александр Анатольевич.

А.А. Ослон: Я ровно для того, чтобы это не прошло незамеченным, эти слова здесь и привел.

Д.А. Медведев: Это вам удалось.

А.А. Ослон: Вы повелись на эти слова. Но дальше будет еще веселее...».

В дальнейшем на том же заседании применительно к деятельности Министерства образования и науки РФ употреблялись еще и такие слова, как «стейкхолдеры» или «бенефициары» образования и науки («т.е. люди, которые учатся или работают») [Заседание... 2012].

Систематизация иноязычных заимствований, используемых в современном российском общественно-политическом языке, представляет собой отдельное и самостоятельное исследовательское направление. Его перспективы предполагают разработку специальных процедур и оснований типологии, которые учитывали бы как собственно лингвистические (политико- и социолингвистические), так и экстралингвистические характеристики. В данном случае уместно остановиться на некоторых соображениях общего порядка.

Как отмечалось в научной литературе, в российской политической жизни последних десятилетий интенсивность и концентрация новаций иноязычного происхождения несколько ниже по срав-

нению с тем, что происходит, например, в области бизнеса, коммерции, финансов и пр. [см.: Шапошников, 2009, с. 114]. Это объясняется радикальностью перемен, связанных с переходом на ранее неведомые рыночные принципы, отношения собственности. Этот процесс сопровождается не просто обновлением словаря, но и переходом на совершенно новый язык взаимодействия субъектов экономического поведения. В политике дело обстоит иначе, и привычные языковые реалии здесь сохраняют определенную инерцию.

Для новейших лексико-семантических процессов в России характерны тенденции усиления «предметно-понятийной мультисферизации», размывания функционально-стилистических границ и смешения стилей (в частности, по оси «официальность – неофициальность»), более свободного и активного перехода слов из одних тематических сегментов в другие [см.: Шапошников, 2009, с. 128, 158].

Лексическая аранжировка политики в современной России происходит под влиянием не просто заимствований, но и невероятно расширившегося набора «донорских» источников. Это не только прямая и непосредственная «донорская» зона – собственно политический лексикон Запада, но и пополнение за счет таких областей первичного восприятия, как маркетинг, индустрия потребления и развлечений, массовая культура (шоу-бизнес), реклама и PR, спорт и многое другое. Нынешние информационно-коммуникативные технологии принесли с собой революционные способы и скорости непрерывного тиражирования всех мыслимых новаций, кардинально меняющих всю языковую среду обитания человечества. Неудивительно, что интернет-сленг по вездесущей агрессивности и пандемическим размерам не знает аналогов ни в прошлом, ни в настоящем.

Задача идентификации рассматриваемого явления вряд ли может быть разрешена при помощи односложных действий или приемов, характерных для отдельных гуманитарных наук (в нашем, к примеру, случае – социолингвистики). В самом деле, с чем мы имеем дело – с жаргоном, с социолектом, с какой-то специфической языковой подсистемой?

В «наивной» картине современной российской языковой жизни часто используется понятие «птичий язык». Примером его пародийной словарной фиксации может служить следующая дефиниция: «...мертворожденный язык, сочетающий в себе непереводимые английские маркетинговые термины, русские предлоги и междометия, а также в некоторых случаях и нецензурные выраже-

ния» [Словарь великорусского языка делового общения, 2005, с. 25]. Вместе с тем феномен «политтехнологической фени», как отмечают лингвисты, не характеризуется преобладанием англицизмов, но выглядит весьма эклектичным и испытывает влияние со стороны академических терминов, разговорного языка, других сленгов [см.: Данн, 2006]. В этом специализированном сленге присутствует доля новейших иноязычных заимствований, причем иногда в высшей степени бесперспективных в смысле широкого распространения в непрофессиональной среде и в плане долгосрочной приживаемости (например: *скедьюлер* – работник *отдела медиаплэннера*). В целом же когнитивное обеспечение предлагаемых потенциальным клиентам услуг согласуется с использованием доступной (клиенто-ориентированной, если угодно) жаргонной лексики: *варяг, вброс, гасильщик, засветка, зачистка, карусель, кидалово, паровоз, подстава* и пр.

Особенность нынешнего российского общественно-политического языка состоит не просто в избыточном присутствии англицизмов (без них политическую жизнь сегодня уже невозможно представить). Эти заимствования отличаются многоуровневым характером и разнообразием с точки зрения лексических регистров – как «высоких» и официальных, так и приниженных и неофициальных. Есть пласты, отмеченные вполне respectable статусами словоупотребления (*импичмент, лобби, мессидж, праймериз*). Наряду с этим присутствуют и сленговые образования.

Применительно к рассматриваемой теме речь скорее должна идти о механизме своеобразного вторичного заимствования – через иные опосредствующие сферы, через бизнес-терминологию, через словари рынков, маркетинга и, что наиболее симптоматично, менеджмента, корпоративной культуры. «В бизнес-школах учат общаться на особом жаргоне, главная цель которого – помочь консультанту по управлению в продаже своих услуг, – пишет Л. Бершидский. – ...Раньше по MBA-жаргону узнавали друг друга выпускники бизнес-школ. Теперь им владеют госчиновники, выпускники негосударственных вузов, стартаперы, сбегавшие на презентации для инвесторов с уроков алгебры, – про те же самые бизнес-процессы легко можно услышать на собеседовании от кандидата, который не может сходу извлечь квадратный корень из ста» [Бершидский, 2013].

Вопрос, повторимся, не столько в национальных, лингвокультурных корнях используемых понятий, сколько в их первоначальной специализации, связанной с конкретными областями дея-

тельности. В подтверждение сказанного можно привести пример Ассоциации местного самоуправления (Local Government Association) в Англии, составившей перечень терминов, запрещенных к употреблению из-за ущерба для функционирования политического языка по меркам честности, доступности и понятности. К такой категории слов были отнесены, например: *бэнчмарк*, *лучшая практика (best practice)*, *вызов (challenge)*, *клиент (client)*, *коллаборация – сотрудничество (collaboration)*, *контекстуальный (contextual)*, *покупатель (customer)*, *демократическая легитимность (democratic legitimacy)*, *функционал / функциональность (functionality) (management capacity) (network model) (paradigm) (priority)*, *пошаговое изменение (step change)*, *транши (tranche)*, *видение (vision)* [LGA banned words, 2009]. В специальном докладе, подготовленном под эгидой Палаты общин британского парламента, случаи злоупотребления официальным языком квалифицировались и как избыточное использование латинизмов (что можно также расценивать в качестве заимствований), и как включение в речь близких к бессмыслице абстракций, и как применение профессионального жаргона и «технического языка», в том числе « сетевого языка » или « кибер-языка » (« cyberspeak »). Симптоматично, что в этом же перечне отмечена и другая тенденция злоупотребления политическим и административным языком, которые в совокупности составляют подсистему официального языка, – это избыточное функционирование « языка менеджмента » (« management speak ») [см.: Bad language, 2009, p. 6–8]. Иными словами, вытеснение собственно языка политики иными субкодами – языковыми образованиями иной (принципиально неполитической) природы – это симптом семантической деградации в речевом поведении не только наших отечественных элит, но явление более универсального международного характера. « Вульгата » становится поистине « планетарной », захватывая, в том числе, и английский язык.

Задачи исследовательской идентификации этой « вульгаты » и разработки способов возможного реагирования на ее поистине агрессивное пришествие предполагают как поиски междисциплинарного синтеза, так и многосторонних усилий. В мировой литературе по проблематике политической лингвистики предложены некоторые концептуальные и аналитические наработки, связанные с интеграцией языка и политики в качестве предмета для изучения. В программных предложениях А. Буркхардта, выдвинутых в середине 90-х годов, содержатся многообещающие методологические подходы и процедуры:

- лексико-семантическая техника анализа (слова-«ловушки», слова-ценности, эвфемизмы, идеологическая полисемия);
- анализ предложений и текстуально-семантическая техника анализа (анализ тропов и «семантических изотопов», стратегий интеграции и исключения);
- прагматическая текстуально-лингвистическая техника анализа (формы обращения, речевые акты, аллюзии, пресуппозиции, беседа, аргументация, риторика, цитация, жанры, интертекстуальность);
- семиотическая техника анализа (иконы, символы и архитектурно-семиотический анализ) [см.: Wodak, Cillia, 2006, p. 708].

Лексический контур, таким образом, – важная, но не исчерпывающая часть политико-лингвистического предметного поля, связанного со сдвигами в языковой аранжировке публично-политической коммуникации.

Какова природа этой «планетарной вульгаты» с точки зрения перехода от семантики к семиотике, от лексики – к символике?

По Бурдые и Вакану, это – современная глобальная, либеральная разновидность «новояза». Сама ассоциативная связка «вульгата» – «новояз» провоцирует некоторые законные вопросы. Насколько уместно использовать метафору, изначально подразумевающую вульгарную латынь – народный, разговорный идиом Римской империи. Возможно, здесь имелась в виду оценочная маркировка, означающая стилистическое отклонение от «высокого» языка, его просторечное опошление. В этом случае метафора работает: политико-управленческий язык сегодня и в самом деле стремительно деградирует от литературных норм к набору стремительно меняющихся штампов. Когда вместо «передового опыта» говорят «лучшие практики», вместо «председательствующего» – «модератор», а вместо «комплексных планов» – «форсайты» и «дорожные карты», это еще не означает состоявшуюся модернизацию. Напротив, чаще всего дело сводится к подражанию престижным образцам – «давосской культуре» или стилистике «яппи-интернационала» [см.: Бергер, 2004, с. 10, 11].

«Новояз» ли это? Очевидно, что образный строй оруэлловского языка задан со стороны высших особых профессиональных инстанций как набор идеологем. Перевод современного политико-управленческого словаря в технико-экономическую плоскость, в семантику маркетинга или менеджмента каких-то особых универсальных, мироустроительных, ценностно-идеальных притязаний, кажется, не выдвигает. Он, скорее, демонстративно аидеологичен. Это, по всей вероятности, не столько «новояз», но «канцелярит»

эпохи *power point*'а или «бюрояз» при переходе (как с недавних пор стали говорить) от вселенной Гутенберга к вселенной Цукербергера [см.: Соколов, 2013, с. 96]. Идеология как текст, распространенный по каналам пропаганды, есть даже нечто прямо противоположное нынешней «риторике спонтанности» [Живов, 2005]. Наконец, язык современных «эффективных менеджеров» бесконечно далек от идеологии и не имеет ни малейших оснований на какие-либо претензии в этой области. Хотя бы потому, что он, не успев стать публичным, сразу же стал предметом не просто критики (часто – с позиций наивного пуризма), но высмеивания, изживания через убийственную иронию [см., например: Новиков, 2011]. Можно ли представить ситуацию, когда субъекты – инициаторы идеологии сами про себя шутят: «Месседж нерелевантен» [см.: Словарь великорусского языка делового общения, 2005]?

Новейшая версия «канцелярита» или рыночно-менеджерская стилизации в области политики причудливо соединяют разнородные свойства.

С одной стороны, это – признаки определенной генетической стихийности, когда никто ничего, казалось бы, планомерно не культивирует. Здесь было бы уместно привести суждение В. Вахштайна: «Мы привыкли думать, что если решения принимаются, это “кому-нибудь нужно”. А значит, есть группы “игроков”, преследующих собственные корыстные интересы, есть “правила игры”, система институтов, борьба элит и другие любопытные вещи... Социолог, оказавшийся внутри политической машины, с удивлением обнаруживает, сколько слов произносится “просто потому, что что-то должно быть сказано”, сколько решений принимается “просто потому, что что-то должно быть сделано”... Именно в этот момент язык описания получает автономию от своих носителей и начинает говорить через них, объясняя им – что же именно они делают» [Сакоян, 2013]. «Вульгата», таким образом, – специфический лингвокультурный феномен, природа которого связана преимущественно с естественными (а не искусственными) факторами.

С другой стороны, «планетарная вульгата» – отнюдь не случайный каприз моды или неведомо откуда взявшийся сдвиг в языковых вкусах времени. У сегодняшнего политико-управленческого субкода нет отчетливо выраженных признаков социолекта (а также сленга, жаргона или арго). Им пользуются «продвинутые» чиновники и депутаты, партийные функционеры и политтехнологи, эксперты и консультанты. Это – и те, кто принимает решения, и «семиотические работники» [Jasquemet, 2005, p. 261]. Вместе с тем

этот субкод как таковой символизирует ресемантизацию политического в особом контексте – в ситуации «фатальности глобализации». Как об этом писал У. Бек, «девиз “все глобально, а значит – сделать ничего нельзя” позволяет заранее разделить слова и дела... Налицо (не) возможное смешение риторики нового начала и сложившегося *статус-кво*» [Бек, 2012, с. 38].

Перемены в деле лексического и символического оснащения политического языка и его социальной прагматики в современных российских условиях – это не столько показатель новой конфигурации правящего класса за счет кооптирования «креативного» элемента, сколько признак отказа от самореференции политики в собственном качестве. Происходит символическая самопрезентация власти и ее окружения в каком-то другом – неполитическом – словесном обрамлении, что само по себе сулит разрыв с риторикой представительства от имени общественных интересов, с риторикой ответственности и что, наконец, чревато новыми формами коммуникативного отчуждения.

Литература

- Абрамов Р.Н. Менеджерализм: экономическая идеология и управленческая практика // Экономическая социология. – М., 2007. – Т. 8, № 2. – С. 92–101.
- Алпатов В.М. Что угрожает русскому языку? // Решение национально-языковых вопросов в современном мире. Страны СНГ и Балтии / Под ред. акад. Е.П. Чельшева. – М.: Азбуковник, 2010. – С. 202–211.
- Архангельский А. «Человек всегда такой мелкий и был» // Огонек. – М., 2012. – № 16. – С. 40–41.
- Башлыкова Н. Русский может стать официальным в Евросоюзе // Известия. – М., 2013. – № 227, 3 декабря. – С. 1, 2.
- Бек У. Глобальная внутренняя политика: пять заблуждений относительно национальной политики в эпоху глобализма // Партнерство цивилизаций. – М., 2012. – № 2. – С. 37–42.
- Бергер П. Культурная динамика глобализации // Многоликая глобализация / Под ред. П. Бергера и С. Хантингтона. – М.: Аспект Пресс, 2004. – С. 8–26.
- Бершидский Л. Птичий язык: Что скрывают красивые слова нового менеджмента «Газеты.ру» // Forbes. – М., 2013. – 7 марта. – Режим доступа: <http://www.forbes.ru/print/node/235307> (Дата посещения: 21.10.2013.)
- Григорьев В. Светлое будущее «инговых форм» в русском поэтическом языке: Доклад на конференции «Художественный текст как динамическая система». – М., 2005. – 21 мая. – Режим доступа: <http://www.vavilon.ru/textonly/issue13/grigoriev.html> (Дата посещения: 10.11.2013.)
- Данн Дж.А. Что такое «политтехнологическая фея» и откуда она взялась? // Политическая лингвистика. – Екатеринбург, 2006. – Вып. 20. – С. 116–125.

- Елистратов В. Язык как зеркало эпохи // Дружба народов. – М., 2009. – № 10. – Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/druzhba/2009/10/e111-pr.html> (Дата посещения: 23.11.2009.)
- Живов В.М. Язык и революция. Размышления над старой книгой А.М. Селищева // Отечественные записки. – М., 2005. – № 2 (23). – С. 175–200.
- Заседание Правительственной комиссии по координации деятельности Открытого правительства 9 ноября 2012 г. // Правительство России. – М., 2012. – 9 ноября. – Режим доступа: <http://www.archive.government.ru/docs/21422> (Дата посещения: 4.11.2013.)
- Кирилина А.В., Гриценко Е.С., Лалетина А.О. Глобализация в аспекте лингвистики // Вопросы психолингвистики. – М., 2012. – № 1 (15). – С. 18–37.
- Куприна Т.В., Минасян С.М. Многофакторный билингвизм в межкультурной интеграционной среде. – 2012. – 7 с. – Режим доступа: <http://www.rurik.se/UserFiles/File/Svetlana2012.doc> (Дата посещения: 11.09.2013.)
- Морозов А. Язык террора: Сталинизм и новая гражданская нация в России (читая Гасана Гусейнова) // Slon.ru. – М., 2009. – 1 декабря. – Режим доступа: http://slon.ru/russia/yazyk_terrora-201277.xhtml (Дата посещения: 01.12.2009.)
- Новиков Вл. Словарь модных слов. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2011. – 256 с.
- Парамонов Д. Загогулины партпроектирования. – М., 2013. – 23 сентября. – Режим доступа: <http://denparamonov.livejournal.com/218179.html> (Дата посещения: 24.09.2013.)
- Сакоян А. Как рождаются городские пиджины // ПОЛИТ.РУ. – М., 2013. – 7 декабря. – Режим доступа: <http://polit.ru/article/2013/12/07/urban/> (Дата посещения: 7.12.2013.)
- Словарь великорусского языка делового общения: Версия 4 / Погребняк Е. (ред., сост.). – М., 2005. – 35 с. – Режим доступа: <http://www.vixri.ru/d2/Pogrebnyak%20E.%20Slovar%20velikorusskogo%20jazyka%20delovogo%20obshenija.%20Korporativnyj%20slovar%20biznes-slenga%20kompanii%20Schwarzkopf.%20M.,%202005.%2035%20s.pdf> (Дата посещения: 21.01.2014.)
- Соколов М. Наступающая катастрофа и как с ней бороться // Эксперт. – М., 2013. – № 48, 2–8 декабря. – С. 96.
- Шапошников В.Н. Русская речь 1990-х: Современная Россия в языковом отображении. – 3-е изд. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. – 280 с.
- Хазагеров Г.Г. Ось интенции и ось конвенции: к поискам новой функциональности в лингвокультурологических исследованиях // Социологический журнал. – М., 2006. – № 1/2. – С. 40–62.
- Хазагеров Г.Г. Риторика vs. стилистика: Семиотический и институциональный аспекты // Социологический журнал. – М., 2008. – № 3. – С. 30–44.
- Ярлыкапов А.А. Ислам и конфликт на Кавказе: направления, течения, религиозно-политические взгляды // Этничность и религия в современных конфликтах / Отв. ред. Тишков В.А., Шнирельман В.А. – М.: Наука, 2012. – С. 607–629.
- Bad language: The use and abuse of official language: First report of session 2009–2010. – L.: House of Commons. Public administration select committee, 2009. – 52 p.
- Blommaert J. Sociolinguistics of globalization. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2010. – xii, 213 p.
- Bourdieu P., Wacquant L. NewLiberalSpeak: Notes on the new planetary vulgate // Radical philosophy. – L., 2001. – N 105, January/February. – P. 2–5.

- Chiapello E., Fairclough N. Understanding the new management ideology: A transdisciplinary contribution from critical discourse analysis and new sociology of capitalism // *Discourse & society*. – L., 2002. – Vol. 13 (2). – P. 185–208.
- Fairclough N. *Language and globalization*. – L.; N.Y.: Routledge, 2007. – 167 p.
- Jacquemet M. Transidiomatic practices: Language and power in the age of globalization // *Language & communication*. – Amsterdam, 2005. – N 25. – P. 257–277. – Mode of access: <http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic543017.files/Transidiomatic%20Subjects/Jacquemet.pdf> (Дата посещения: 21.01.2014.)
- Kuzmanić T.A., Sedmac S., Kobeja B. Managerial discourse as an aspect of globalization: from self-management to management. – Koper, 2005. – 24–26 November. – P. 349–358. – Mode of access: <http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/961-6573-03-9/kuzmanic.pdf> (Дата посещения: 7.10.2013.)
- LGA banned words – full list // *BBC NEWS*. – L., 2009. – 18 March. – Mode of access: <http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/1/hi/ukpolitics/7949077.stm> (Дата посещения: 7.11.2013.)
- Phillipson R. The new linguistic imperial order: English as an EU lingua franca or lingua frankensteinia? // *Journal of Irish and Scottish studies*. – Aberdeen, 2008. – Vol. 1, N 2. – P.189–203.
- Romanie S. Linguistic diversity and poverty: Many languages and poor people in a globalizing world // *Contemporary applied linguistics*. – L., 2011. – Vol. 2: Linguistics for the real world / Wei L. (ed.). – P. 46–64.
- Skutnabb-Kangas T. Language policy and linguistic human rights // *An introduction to language policy* / Ricento T. (ed.). – Oxford: Blackwell Publishing, 2006. – P. 273–291.
- Swaan A. de *Words of the world*. – Oxford: Blackwell Publishers, 2001. – 247 p.
- Skutnabb-Kangas T., Phillipson R. The global politics of language: Markets, maintenance, marginalization, or murder? // *The handbook of language and globalization* / Coupland N. (ed.). – Oxford, Malden: WILEY-BLACKWELL, 2010. – P. 77–100.
- Wodak R., Cillia R. de *Politics and language: overview* // *Encyclopedia of language and linguistics*. – 2nd ed. – Oxford: Elsevier, 2006. – Vol. 9. – P. 707–719.

М.В. Гаврилова

**СЕМАНТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ПОНЯТИЯ «ДЕМОКРАТИЯ» В РУССКОМ
ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ**

Актуальность описания политических понятий обусловлена концептуальной разногласием в русском политическом дискурсе, т.е. вариативным содержательным наполнением слов, выражающих ценности русского социума и основные политические термины (патриотизм, справедливость, свобода, демократия и др.). В рамках понятийного направления в политологии (М.В. Ильин, А.А. Казанцев, В.П. Макаренко, В.М. Сергеев, В.Л. Цымбурский, R. David, J. Gandhi, J.L. Gibson, G.L. Munck, J. Verkuilen и др.), политической лингвистике (М.В. Гаврилова, Н.А. Купина, Е.И. Шейгал, T. van Dijk, R. Wodak и др.) исследуются способы употребления ключевых понятий политических теорий и вкладываемые в них содержательные различия. Ученые ставят перед собой цель «прояснить понятия, помогать им обретать большую четкость и строгость. Такое прояснение при одновременном усложнении понятий является важнейшей составляющей созидательной работы в политике» [Ильин, 1997, с. 4].

Данная статья посвящена описанию семантического развития понятия «демократия», поскольку демократия провозглашается целью и ценностью постсоветской России, а также является ключевым понятием современной западной политики. Материалом исследования служат выступления российских президентов и предвыборные программы парламентских политических партий.

Смысловая динамика слова «демократия» в русском политическом дискурсе

Слово *демократия*, известное в русском языке со времен Петра I, является символически насыщенным термином, описывающим особенности социалистического движения, советской системы управления и идеал постсоветской России.

Семантическое развитие слова *демократия* на протяжении XX в. таково: народодержавие, народовластие, мируправство (начало XX в.) → *форма правления, при которой власть осуществляется самим народом, массами, непосредственно или через представительные учреждения* (30-е годы XX в.) → *форма политической организации общества, основанная на признании народа в качестве источника власти, на его праве участвовать в решении государственных дел, и наделение граждан достаточно широким кругом прав и свобод* (60–80-е годы XX в.) → *государственный строй и организация всей жизни общества, основанные на признании народа источником власти и всеобщего равноправия в сочетании с широким кругом политических и гражданских прав и свобод* (90-е годы XX в.) → *политический строй, основанный на признании принципа народовластия и наделения граждан широким кругом прав и свобод* (начало XXI в.).

Сравнительный анализ выявил прототипическое основание лексического значения слова – *народ как источник власти* – и различные смысловые акценты, отражающие изменение общественных настроений: *то, что противоположно единовластию* (начало XX в.) → *осуществление власти народом = массами через представителей* (30-е годы XX в.) → *форма политической организации общества, право народа участвовать в решении государственных дел, наделение граждан достаточно широким кругом прав и свобод* (60–80-е годы XX в.) → *всеобщее равноправие, широкий круг политических и гражданских прав и свобод* (90-е годы XX в.).

В исторической перспективе сменяют друг друга слова, противоположные по значению *демократии*. В начале XX в. *демократия* противопоставлялась *самодержавию*, в советский период – *мнимой, буржуазной демократии*, в конце XX в. антонимом демократии является *тоталитаризм*, в начале XXI в. антагонистом выступает *терроризм*.

Особенность русской ментальности состоит в образно-символическом восприятии термина. Различные политические

силы имеют свой образ этой формы правления и очень часто навязывают его своим оппонентам под видом согласованного понятийного. Образных представлений о демократии может быть бесконечно много: на это указывает возможность ограничивающих понятие уточнений типа *внутрипартийная, пролетарская демократия*. В советский период словосочетания участвовали в идеологической борьбе, формируя и поддерживая оппозицию «свой» (*социалистическая, советская, народная, революционная, подлинная демократия*) – «чужой» (*буржуазная, мнимая демократия*).

В постсоветский период «демократия» вновь оказывается в центре идеологической борьбы, но уже внутривидовой. В 90-е годы наблюдается разнонаправленность оценочных смыслов понятия. С одной стороны, пейоративная (отрицательная) оценка, выраженная с помощью неологизмов (*демократизатор, демократура*) и развития новых значений (демократка – резинотка дубинка). С другой стороны, «взрыв» сочетательной активности прилагательного *демократический*, которое стало употребляться в положительном (пейоративном) контексте со словами *мышление, основа, сознание, ценности, процедура, культура, движение, обновление, правительство* и др.

В начале 2000-х годов слово *демократия*, разделявшее в 90-х годах общество на непримиримые группы, не способствовало политической стабильности, вероятно, поэтому наблюдается процесс перемещения *демократии* на периферию политического лексикона. Во-первых, уменьшается количество словоупотреблений. Примечательно, что в таком важном идеологическом тексте, как инаугурационная речь в 2004 [Путин, 2004] и в 2008 гг. [Медведев, 2008], не прозвучали слова *демократия, демократический, власть*. Во-вторых, ограничиваются коммуникативные ситуации использования понятия. Оно звучит преимущественно во внешнеполитических документах, на пресс-конференциях с главами иностранных государств, в интервью и ответах на вопросы иностранных журналистов. Таким образом, слово *демократия* обращено, прежде всего, к зарубежной аудитории. Для российской аудитории слово используется в программных выступлениях (послание Федеральному собранию) и торжественных текстах (выступление на приеме в честь Дня России). Актуализируются утраченные в советский период лексические значения, где *демократия* означала «государство с такой формой правления»: «...именно эта Конституция открыла для России возможность войти в круг развитых мировых демократий» [Путин, Коидзуми, 2003]. Кроме того, подчеркивается

важность некоторых положений демократического централизма. В частности, то, что для развития демократии необходимо соблюдать принцип «подчинения меньшинства большинству»: «*И нам нужно, основываясь на фундаментальных принципах демократии, выработать такие инструменты, которые позволяли бы подавляющему большинству людей в нашей стране влиять на внутреннюю и внешнюю политику, именно большинству, и чтобы при этом это большинство уважало мнение меньшинства и учитывало это мнение*» [Путин, 2013].

В начале XXI в. русское языковое сознание постигает демократию преимущественно с помощью аналитически представленных понятий: *атрибут, принципы, философия, ценности, цели, уровень, модель, механизмы, основы, пространство, институты демократии*. Мы наблюдаем процесс определения и расширения понятия. Можно предположить, что политической элите и обществу важно определить ту совокупность предметов, к которому должно прилагаться понятие «демократия».

С 2004 г. в русском политическом дискурсе начинается процесс осмысления содержания понятия посредством приписывания признака. Так, в начале 2006 г. термин актуализируется в общественном сознании благодаря словосочетанию *суверенная демократия*. Важно подчеркнуть, что создание новых слов и выражений – одна из составляющих политической деятельности, поскольку борьба за номинацию – это борьба за фундаментальные групповые ценности.

Отметим, что «имя прилагательное + имя существительное» – основная грамматическая формула позиционирования материального и интеллектуального продукта в современном мире. Однако, как правило, используется не относительное, а качественное прилагательное (эпитет). Кроме того, в целях речевого воздействия в названии новой политической идеи следует использовать метафорическое выражение, так как метафора обладает преобразующей силой.

Словосочетание *суверенная демократия* составлено с нарушением лексической сочетаемости. В создании нового сочетания отчетливо проявилась тенденция внедрения иноязычных значений в русское языковое сознание. С одной стороны, говорится о необходимости «доказать, что о свободе и справедливости можно и должно думать и говорить по-русски» [Сурков, 2006]. С другой стороны, в политической речи актуализируются основные значения английских слов. На наш взгляд, словосочетание *суверенная*

демократия можно «перевести» как соревновательное движение россиян к свободному обществу и справедливому миропорядку.

С 2008 г. в русский политический дискурс вводятся новые сочетания – *электронная демократия, интернет-демократия*: «*Все современные средства коммуникации, тот же самый интернет создают совершенно новые условия для развития демократии и в России, и в других странах мира*» [Медведев, 2010]. В связи с развитием современных технических средств общения актуализируются сочетания *непосредственная демократия, прямая демократия*. В общественное сознание внедряются пропозиции: а) реформы 1990-х годов привели к понятийному конфликту, поскольку «*люди перепутали понятие “демократия” и понятие “благополучие”*», и «*демократия как явление слепилась с бедностью и дискомфортом от разрушения большой страны*» [там же]; б) демократия связана с ответственностью: «*Демократия – это не только свобода высказывать свои суждения, свобода принимать решения о том, кому отдать голос при выборах. Но это и внутреннее чувство ответственности, которое каждый человек должен испытывать за себя, за своих близких, за свою страну*» [там же]; в) демократия имеет национальную специфику («*российская демократия*»); г) это «*молодая демократия и несовершенная демократия*».

С 2012 г. понятие участвует в семантическом противопоставлении «свой – чужой», актуализируя новую сочетаемость: *подлинная демократия* («*А подлинная демократия – это неременное условие построения государства, нацеленного на служение интересам общества*»), *настоящая демократия* («*Настоящая демократия не создается одномоментно*» [Путин, 2012]). Неправильная демократия была в 90-е годы, когда «*под флагом воцарения демократии мы получили не современное государство, а подковерную борьбу кланов и множество полуфеодалных кормлений. Не новое качество жизни, а огромные социальные издержки. Не справедливое и свободное общество, а произвол самоназначенных “элит”, откровенно пренебрегавших интересами простых людей*» [там же]. Сейчас имплицитно представленная ИХ «*демократия сводится к вывеске, когда за “народовластие” выдается развлекательное политическое шоу и кастинг кандидатов, где содержательный смысл выхолащивается эпатажными заявлениями и взаимными обвинениями*» [там же].

Таким образом, *демократия* как символически насыщенный термин активно участвует в идеологической борьбе. Новые слово-

сочетания и смысловые наращивания слова навязывают оппонентам образное представление о демократии в качестве согласованного понятийного. Лексическая структура понятия «демократия» постоянно обогащается новыми значениями.

Особенности осмысления понятия «демократия» в инаугурационных выступлениях российских президентов

Идеологическая ориентация и программный характер выступления, призванного объединить нацию на основе провозглашаемых президентом ценностей и целей; речевой конструкт, созданный на основе результатов социологических опросов, – все эти признаки делают инаугурационное выступление полезным материалом для описания концептуализации политических понятий. Рассмотрим динамику семантического развития слова *демократия* в торжественных речах российских президентов с 1991 по 2012 г.

В 1991 г. Б.Н. Ельцин единожды произносит существительное *демократия*. Однако данное словоупотребление является одним из смысловых центров выступления благодаря использованию когнитивного механизма выдвижения значимой информации (слово стоит в сильной позиции в составе несогласованного определения *путь демократии*) и такому риторическому средству, как синтаксический параллелизм («*это путь демократии, путь реформ, путь возрождения достоинства человека*»). Сочетание слова *путь* с существительным, обозначающим цель общественного и государственного строительства, традиционно использовалось в советском политическом тексте. Например, *путь коммунизма*. Словосочетание *путь демократии* употребляется в синонимическом ряду с *реформами, возрождением достоинства человека*. Кроме того, Б.Н. Ельцин трижды использует прилагательное *демократический*, которое сочетается с существительными *способ (преобразований), движение, государство* [Ельцин, 1991]. В 1996 г. Б.Н. Ельцин единожды употребляет существительное *демократия*, соположенное со словом *свобода*, придавая словам смысловую близость, а также дважды употребляет прилагательное *демократический*, определяющее слова *страна и преемственность (власти)* [Ельцин, 1996].

В 2000 г. В.В. Путин трижды использует прилагательное *демократический*, при этом дважды с существительным *государство* и одно словоупотребление со словом *образ (передачи власти)*. При

этом уточняется значение прилагательного *демократический* при помощи сочетания «*по воле народа, законно и мирно*». Таким образом, понятие о демократии содержит семы 'воля народа', 'закон' и 'мир' [Путин 2000]. Примечательно, что в инаугурационном выступлении 2004 г. не используются слова *демократия*, *демократический*, а также слово *власть* [Путин, 2004].

Добавим, что в 2008 г. Д.А. Медведев также не употребляет слова *демократия* и *демократический*. Однако говорит о том, что «*высшей ценностью в нашем обществе*» является охрана «*прав и свобод человека*». Президент произносит выражения («*высокие стандарты жизни*», «*торжество закона*», «*институты гражданского общества*», «*свободные и ответственные граждане*»), которые тематически близки демократической риторике [Медведев, 2008].

В 2012 г. В.В. Путин вновь вводит в словник инаугурационной речи слова *демократия* и *демократический*. При этом президент говорит о том, что демократию необходимо сделать более сильной и прочной, т.е. укрепить. *Демократия* сочетается с прилагательным *российская*, что подчеркивает специфику ее национального развития. Кроме того, демократия наряду с единством и патриотизмом является условием достижения идеального устройства государства: «*Мы добьемся наших целей, если будем единым, сплоченным народом, если будем дорожить нашим Отечеством, укреплять российскую демократию*». Вместе с тем демократия понимается и как перспектива развития страны: «*Мы хотим и будем жить в демократической стране, где у каждого есть свобода и простор для приложения таланта и труда, своих сил*». В этом случае демократия связана со свободой и возможностями для самореализации граждан [Путин, 2012].

Мы выяснили, что в инаугурационном выступлении Б.Н. Ельцина прилагательное *демократический* имеет положительное контекстуальное значение и трактуется как «социальные изменения в обществе», «активное участие людей в жизни общества». В инаугурационных речах В.В. Путина это прилагательное употребляется без эмоционально-экспрессивной оценки, означает «участие граждан в выборах» и ассоциативно связано с понятием «государство».

В понимании сути демократии Б.Н. Ельцин делает акцент на личной инициативе граждан, В.В. Путин заявляет об ответственности демократического государства перед обществом.

В системе представлений Б.Н. Ельцина демократия связана с идеей мира и права, о чем свидетельствует ряд контекстуальных сино-

нимов, используемых в обоих инаугурационных выступлениях: «*процветающее, демократическое, миролюбивое, правовое и суверенное государство*»; «*мирного, правового, демократического способа преобразований*» (1991) – «*мирной, демократической преемственности власти*» (1996). Для В.В. Путина демократический синонимичен простому и современному. В 2000 г. в инаугурационном выступлении употребляются контекстуальные синонимы: «*самым демократическим, самым простым образом*»; «*Россия становится по-настоящему современным, демократическим государством*» [Путин, 2000].

Рассматривая лексическую сочетаемость прилагательного *демократический*, мы обнаружили преемственность политического взглядов российских президентов в употреблении словосочетания *демократическое государство (страна)*. Кроме того, в системе политических представлений Б.Н. Ельцина и В.В. Путина демократия связана с ключевым концептом русской ментальности «мир» и понятием «право». Таким образом, понятие «демократия» обладает национально-культурной спецификой, поскольку в недавних диссертационных исследованиях было выяснено, что в американском политическом дискурсе демократия соположена равенству, свободе, всеобщему благу [Филиппова, 2007; Миронец, 2007].

Анализ показал, что изменяются концептуальные ряды, в которые включено понятие «демократия»: демократия, реформы, достоинство человека (1991) → демократия, свобода, преемственность власти (1996) → демократия, (мирные) выборы, закон (2000) → демократия, единство, патриотизм (2012). Разнонаправленные семантические векторы могут отражать изменение общественных настроений, политические знания и ценности лидера.

Концептуализация понятия «демократия» в выступлениях президента В.В. Путина

Рассмотрим особенности концептуализации понятия «демократия» в выступлениях президента В.В. Путина. Изучая тексты президента, мы выявили специфические интерпретации и смысловые наращивания в значении слова *демократия*.

1. Демократия признается абсолютной политической ценностью («*общепризнанные институты демократии*», «*общепринятые идеалы демократии*», «*общие ценности свободы и демократии*»).

2. Цель развития страны – демократия, которая метафорически осмыслена как путь: «*То, что мы сделали однозначный выбор*

в сторону демократии, и то, что мы не представляем себе другого пути развития, это очевидно», «Но мы понимаем, куда идем, и с этого пути не свернем» [Путин, 2013].

3. Демократия развивается в странах с рыночной экономикой, демократии сопутствует процветание: *«современная, процветающая демократия»*.

4. Демократия связана с юридическим понятием «право»: *«...демократия – это же не анархия, не вседозволенность. Это правила, прописанные в законах, принятых конституционно избранным представительным органом власти – парламентом страны»* [Путин, 2002].

5. Демократия является необходимым условием сотрудничества между странами: *«Российская Федерация и Япония, разделяющие универсальные ценности свободы, демократии, верховенства права и уважения основных прав человека, и впредь будут...»* [Путин, Коидзуми, 2003].

6. Демократия должна развиваться с учетом культурно-исторических особенностей страны: *«демократия – это внутренняя субстанция развивающегося общества», «демократия – это набор известных принципов и ценностей, которые должны реализовываться в каждой отдельной стране в соответствии с ее традициями»* [Путин, 2005]. В русском политическом дискурсе формируется новая идеологическая оппозиция «становление vs внедрение демократии»: *«Однако институты демократии, принципы демократии не могут эффективно внедряться на той или иной территории без учета национальных традиций и истории», «демократия не может быть предметом экспорта из одной страны в другую»* [Путин, Мубарак, 2005].

7. Установление демократического устройства – это длительный эволюционный исторический процесс: *«А вы хотите, чтобы мы за два десятилетия преодолели путь, который другие страны преодолевали за 200, 300, 400 лет? Всё, конечно, делается постепенно, шаг за шагом»* [Путин, 2013].

8. Демократия предполагает влияние народа на власть, что возможно при условии двусторонней коммуникации: *«Демократия, на мой взгляд, заключается как в фундаментальном праве народа выбирать власть, так и в возможности непрерывно влиять на власть и процесс принятия ею решений. А значит, демократия должна иметь механизмы постоянного и прямого действия, эффективные каналы диалога, общественного контроля, коммуникаций и “обратной связи”»* [Путин, 2012].

9. Плюрализм мнений, соревновательность, отсутствие партийной монополии – основа развития демократии: *«Политическая конкуренция – это нерв демократии, ее движущая сила»* [Путин, 2012].

10. Для укрепления демократии важно желание граждан участвовать в общественной жизни: *«Необходимо, чтобы общество было готово к использованию демократических механизмов. Чтобы большинство людей почувствовали себя гражданами, готовы были бы на регулярной основе тратить свое внимание, свое время, свои усилия на участие в процессе управления. Другими словами, демократия работает там, где люди готовы в нее что-то вкладывать»* [Путин, 2012]. В связи с этим большое значение уделяется развитию *«муниципальной демократии»*: *«Местное самоуправление – школа демократии»* [там же].

Таким образом, постоянное обогащение слова (со) значениями отражает динамику политических представлений (т.е. увеличение объема политических знаний и усложнение политического опыта (взаимо) действия) президента о демократии, а также изменение общественных настроений, которое должен учитывать глава государства. В различные политические периоды в толковании понятия «демократия» актуализируются различные семантические области: 2000–2004 гг. – государство, участие граждан в выборах; 2004–2008 гг. – государство, национально-культурные особенности развития демократии, новое политическое явление; с 2012 г. – ответственность государства перед обществом и желание граждан активно участвовать в общественной жизни, прежде всего, на уровне муниципалитетов.

Можно предположить, что в картине мира В.В. Путина понятие «демократия» ассоциируется с такими прототипическими атрибутами, как государство, выборы, современный. Демократия признается целью и условием развития России, а также ценностью в мировой политике.

Понятие «демократия» в предвыборных программах ведущих политических партий

Лингвокогнитивный анализ предвыборных программ политических партий (2011) показал, что на глобальном уровне организации дискурса, т.е. на уровне тематической макроструктуры, включающем название программы, лозунги, тематические рубри-

ки, слово *демократия* не употребляется. Иными словами, демократия не является значимым политическим символом для парламентских партий.

Рассмотрим программные документы партии «Справедливая Россия» (далее СР). В программе партии демократия не упоминается, но в манифесте единожды используется слово *демократия* и *социал-демократия* [Предвыборная программа партии «Справедливая Россия», 2011]. При этом демократия концептуально близка таким политическим ценностям, как свобода и справедливость, правовое государство, равные возможности: *«Здоровые силы общества может объединить стремление к свободе и справедливости, становлению демократии и правового государства, обеспечению равных возможностей для всех граждан»* [там же]. Следует обратить внимание на сочетание *становление демократии*, которое эксплицирует представление партийных идеологов СР о стадии развития демократии в России. Становление – это начальный этап, этап формирования.

В программе КПРФ не употребляются слова *демократия*, *демократический*, но единожды используется слово *демократизация*: *«Мы гарантируем демократизацию политической системы и повышение ее эффективности»* [Предвыборная программа КПРФ, 2011]. Партия считает важным реорганизовать систему на более демократических основах для того, чтобы она работала результативно.

В программе партии «Единая Россия» (далее ЕР) есть единичные употребления слов *демократия* и *демократический*. Члены ЕР сообщают избирателям, что они заинтересованы в усилении демократических принципов внутри партии и в политической конкуренции: *«Наша партия намерена и дальше последовательно улучшать условия для политической конкуренции и развития внутрипартийной демократии»* [Предвыборная программа Всероссийской... 2011]. По мнению идеологов ЕР, инновационная экономика, демократические институты и правовое государство – это стратегические задачи развития страны: *«Мы должны построить инновационную экономику, укрепить демократические институты и современное правовое государство»* [Предвыборная программа Всероссийской... 2011].

В программе ЛДПР мы выявили семь словоупотреблений *демократия* и шесть словоупотреблений *демократический*. ЛДПР единственная парламентская партия, в программе которой эксплицитно представлено понимание демократии, которое связано, во-первых, со *«свободными и честными выборами»* («Демокра-

тия – это, прежде всего, свобода выбирать и быть избранным») и, во-вторых, с «многопартийной системой» [Предвыборная программа ЛДПР... 2011]. Мы выяснили, что является демократическим, т.е. что относится к понятию «демократия»: формы управления государством, название партии, институты общества.

Примечательно, что в тексте дано идеологическое противопоставление: реальная – имитационная демократия («Вместо реальной демократии в стране складывается система демократии имитационной» [Предвыборная программа ЛДПР... 2011]). Политической импликацией можно считать мнение о том, что существующая сейчас в России демократия – это ненастоящая, неподлинная демократия. ЛДПР недовольна политической ситуацией, поскольку в общественной жизни страны отсутствует движение («Единственной разумной альтернативой “наследственному” застою в общественно-политической мысли страны» [там же]). Кроме того, партия власти использует административный ресурс и осуществляет противоправные действия на выборах. Иными словами, есть ИХ демократия и НАША (ЛДПР) демократия. «Наша демократия – это свобода без анархии и выборность без давления со стороны партии власти и без использования административного ресурса» [там же]. Члены ЛДПР предлагают провести политическую реформу («следует сделать парламент однопалатным») и дать Государственной думе право «совершенствовать демократию». Таким образом, важную роль в развитии демократии в России должны играть парламентарии. Неслучаен и выбор слова *совершенствование*: совершенствовать – делать лучше. Таким образом, актуализируется инструментальная функция демократии. Вместе с тем в системе политических представлений членов ЛДПР демократия осмысливается как ценность и стоит в одном концептуальном ряду с либерализмом и патриотизмом: («идеология ЛДПР, основанная на проверенных временем ценностях демократии, либерализма и патриотизма» [там же].).

В программе ЛДПР проявилась лингвокреативная способность авторов текста в создании новых сочетаний «демократический экстремизм»: «Мы считаем, что деятельность гражданского общества должна заключаться не в “демократическом экстремизме”, когда исполнение решения саботируется через организацию протестов, а в постоянном надзоре за деятельностью чиновников, в конструктивном и предметном диалоге с властью» [там же].

Сделанные наблюдения приводят к выводу о том, что в предвыборных программах российских партий демократия не является ключевым политическим понятием (единичные использования в слабых текстовых позициях) и входит в различные ценностные ряды: *свобода, справедливость, правовое государство* (СР) – *инновационная экономика, современное правовое государство* (ЕР) – *либерализм, патриотизм* (ЛДПР). При этом партии по-разному осмысляют уровень демократии в России: становление, т.е. начальный этап (СР) – уже существующее политическое явление, которому необходимо развитие, т.е. укрепление (ЕР) и совершенствование (ЛДПР).

Разнообразные интерпретации слова «демократия» ведущими политическими акторами свидетельствуют не только о его многозначности, но и о неустойчивости его понятийных границ, и о его семантическом развитии. Процесс постижения понятия «демократия» осуществляется преимущественно путем расширения объема. Однако в последнее десятилетие мы наблюдаем увеличение содержания понятия, что свидетельствует о расширении знаний и изменении установок относительно демократии. При этом сочетательные возможности слова *демократия* участвуют в идеологической поляризации «мы» и «они».

Понятие «демократия» ассоциируется с рядом прототипических атрибутов: *правовое государство, мир, выборы*.

Ценностный компонент понятия постоянно развивается, поскольку и российские президенты, и ведущие политические партии включают демократию в различные концептуальные ряды.

Аксиологический компонент понятия изменяется: в начале 1990-х годов демократия воспринималась как абсолютная ценность и была помещена в положительный контекст. В начале 2000-х годов наблюдается нейтрализация эмоционального восприятия демократии.

Осмысление понятия «демократия» имеет национально-культурные особенности: соотносится с ключевым концептом русской ментальности «мир», а также метафорически осмысляется при помощи модели «путь».

В общественном сознании политическими деятелями актуализируются такие характеристики демократии, как свободные прозрачные и альтернативные выборы на равноправной основе, наличие и гарантия политических свобод, политический плюрализм.

Литература

- Ельцин Б.Н. Выступление на церемонии вступления в должность Президента России // Российская газета. – М., 1991. – 11 июля. – С. 1–2.
- Ельцин Б.Н. Выступление на церемонии вступления в должность Президента России // Российская газета. – М., 1996. – 11 июля. – С. 1.
- Ильин М.В. Слова и смыслы: Опыт описания ключевых политических понятий. – М.: РОССПЭН, 1997. – 432 с.
- Медведев Д.А. Встреча с ведущими российскими и зарубежными политологами // Президент России. – Ярославль, 2010. – 10 сентября. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/news/8882> (Дата посещения: 11.11.2013.)
- Медведев Д.А. Выступление на церемонии вступления в должность Президента России // Президент России. – М., 2008. – 7 мая. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/transcripts/1> (Дата посещения: 11.11.2013.)
- Миронец Е.С. Эволюция и особенности языковой репрезентации аксиологического концепта «Демосгасу» в инаугурационных речах президентов США: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Владивосток, 2007. – 19 с.
- Предвыборная программа Всероссийской политической партии «Единая Россия» на выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва (Программное обращение Партии «Единая Россия» к гражданам России). – М., 2011. – 24 сентября. – Режим доступа: <http://er.ru/party/program/> (Дата посещения: 11.11.2013.)
- Предвыборная программа КИРФ. – М., 2011. – Режим доступа: <http://kprf.ru/crisis/offer/97653.html> (Дата посещения: 12.12.2011.)
- Предвыборная программа ЛДПР на выборах 4 декабря 2011 года. – Режим доступа: http://ldpr.ru/party/regions/Kostroma_region/Kostroma_events/Election_Program_LDPR_election_December_4_2011/ (Дата посещения: 11.11.2013.)
- Предвыборная программа партии «Справедливая Россия» – 2011. – М., 2011. – Режим доступа: http://www.spravedlivo.ru/5_48384.html (Дата посещения: 11.11.2013.)
- Путин В.В. Выступление на церемонии вступления в должность Президента России // Президент России. – М., 2012. – 7 мая. Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/transcripts/15224> (Дата посещения: 11.11.2013.)
- Путин В.В. Демократия и качество государства // Коммерсант. – М., 2012. – № 20, 6 февраля. – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc/1866753> (Дата посещения: 11.11.2013.)
- Путин В.В. Выступление на приеме, посвященном 10-летию принятия Конституции Российской Федерации // Президент России. – М., 2003. – 12 декабря. – Режим доступа: <http://archive.kremlin.ru/text/appears/2003/12/57140.shtml> (Дата посещения: 11.11.2013.)
- Путин В.В. Выступление на церемонии вступления в должность Президента России // Президент России. – М., 2000. – 7 мая. – Режим доступа: http://archive.kremlin.ru/appears/2000/05/07/0002_type63374type82634type122346_28700.shtml (Дата посещения: 11.11.13.)
- Путин В.В. Интервью американскому телеканалу «Фокс Ньюс» // Президент России. – Вашингтон, 2005. – 17 сентября. – Режим доступа: <http://archive.kremlin.ru/text/appears/2005/09/93985.shtml> (Дата посещения: 11.11.2013.)

- Путин В.В. Интервью немецкой телерадиокомпании ARD // Президент России. – М., 2013. – 5 апреля. – Режим доступа: <http://www.president.kremlin.ru/news/17808> (Дата посещения: 11.11.2013.)
- Путин В.В. Интервью польской газете «Газета wyborca» и польскому телеканалу ТВП // Президент России. – М., 2002. – 15 января. – Режим доступа: <http://archive.kremlin.ru/text/appears/2002/01/28773.shtml> (Дата посещения: 11.11.2013.)
- Путин В.В. Обращение к гражданам страны при вступлении в должность Президента России // Президент России. – М., 2004. – 7 мая. – Режим доступа: http://archive.kremlin.ru/appears/2004/05/07/1240_type63374type82634_64130.shtml 1 (Дата посещения: 11.11.2013.)
- Путин В.В., Коидзуми Дз. Совместное заявление президента Российской Федерации и премьер-министра Японии о принятии российско-японского плана действий // Президент России. – М., 2003. – 10 января. – Режим доступа: <http://archive.kremlin.ru/text/docs/2003/01/30606.shtml> (Дата посещения: 11.11.2013.)
- Путин В.В., Мубарак Х. Совместная пресс-конференция с президентом Египта Хосни Мубараком // Президент России. – Каир, 2005. – 27 апреля. – Режим доступа: <http://archive.kremlin.ru/text/appears/2005/04/87243.shtml> (Дата посещения: 11.11.2013.)
- Сурков В.Ю. Национализация будущего // Эксперт. – М., 2006. – № 43 (537), 20 ноября. – Режим доступа: http://expert.ru/expert/2006/43/nacionalizaciya_buduschego/ (Дата посещения: 11.11.2013.)
- Филиппова М.А. Идеологический концепт «демократия»: (на материале лингвокультуры США): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Волгоград, 2007. – 20 с.
- Шейгал Е.Б. Семиотика политического дискурса. – М.: ИТДГК «Гнозис». – 326 с.

О.В. Попова

**СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ СОТРУДНИКОВ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ**

Понятие «ценности» в отечественной общественной науке остается многозначным. В социологии эту категорию традиционно определяют как «нехватку чего-либо, имеющего в сознании людей значимость». В рамках теории политического сознания ценности рассматривают как базовый компонент сознания, включающий ценности смысложизненные и собственно политические, на основе которых формируются политические установки, ориентации и предпочтения граждан, затрагивающие их оценки политической жизни и формирующие определенный стиль поведения в публичной политической жизни. Кроме того, ценности в политической науке рассматриваются как стандарты правомерности представлений, норм действий и собственно действий индивидов.

В данной статье ценности понимаются как недоступные непосредственному наблюдению, но выражающиеся в повседневной практике и спонтанном дискурсе «глубоко скрытые общие принципы, лежащие в основе мотиваций, установок и ориентаций, направляющих те или иные человеческие действия» [Рукавишников, Халман, Эстер, 1998, с. 255]. Ментальные структуры обладают достаточно высокой степенью устойчивости во времени и детерминируются как сложившимися в обществе отношениями, так и некоторыми личностными характеристиками; безусловное влияние на систему ценностей индивидов оказывают их пол, возраст, особенности социализации, жизненный опыт и т.д. Представления индивида о себе, семье, работе, религии, экологии, политике и межличностных отношениях, как показали эмпирические исследования

конца 1990-х годов – первого десятилетия XXI в., соотносятся с двумя шкалами поляризации: а) традиционных и секулярно-рациональных ценностей; б) ценностей выживания и самовыражения. Однако прямой каузальной связи между ценностями и точкой зрения их носителя на тот или иной вопрос, а также его поведением как эмпирически фиксируемой зависимостью «стимул – реакция» чаще всего не наблюдается. Кроме того, дискурсивные практики и действия людей обычно являются производными не одной самостоятельной проявляющейся ценности, а целого их спектра.

У современных исследователей не вызывает сомнений основной тезис теории ценностей Рональда Инглхарта, согласно которому социально-экономическое развитие государства влияет на трансформацию ценностей в сознании граждан этой страны. Считается, что ценности влияют на характер деятельности людей и в результате – на характер модернизационных процессов в стране. Но хотя социально-экономическое развитие государства обращается предсказуемыми изменениями в мировоззрении людей, культурные традиции социума также оказывают существенное влияние на их мировоззрение. Преобладающие ценностные ориентации любой социальной группы – продукт взаимодействия движущих сил модернизации и сдерживающего влияния традиции. Распространение ценностей самореализации (самовыражения) превращает процесс модернизации социума в процесс развития человека, повышающего степень его индивидуальной свободы и расширяющего спектр выбора в широком смысле этого слова.

Р. Инглхарт выделяет ценности материальные и постматериальные. Ценности самореализации / самовыражения (согласно его терминологии, они относятся к разряду постматериальных) напрямую связаны с демократизацией режима. Как отмечает Р. Инглхарт, «модернизация влечет за собой изменения культурного характера, результатом которых становится формирование и расцвет демократических институтов. Лейтмотивом процессов модернизации, утверждения ценностей самовыражения и демократизации является усиление личной независимости. Эти процессы придают обществу все более гуманистический характер, т.е. ставят в его центр человека» [Инглхарт, Вельцель, 2011, с. 16–17]. В связи с этим неизбежно возникает вопрос о смысловых и идеологических ценностях, которыми руководствуются элитные группы, прежде всего, связанные с исполнительными структурами власти, поскольку именно они имеют реальные возможности влиять на качество жизни других

людей, организовывая, преобразуя экономические, социальные и политические условия и управляя ими.

Теория Р. Инглхарта зиждется на эмпирическом доказательстве тезиса о том, что в богатых странах межпоколенческие разрывы связаны с доминированием среди молодежи секулярно-рациональных ценностей и ценностей самовыражения, в то время как в бедных странах эти разрывы связаны не с межпоколенческими разрывами, а с изменениями исторического характера. Но в любом случае, становясь старше, люди не становятся большими приверженцами традиционных ценностей, как это можно было бы ожидать, исходя из теории «жизненного цикла».

Р. Инглхарт в своей теории исходит из тезиса о связи ценностей и институтов, как сам он признает, «очень спорного тезиса» [Инглхарт, Вельцель, 2011, с. 21]. По мнению этого исследователя, формирование пула постматериалистических ценностей формирует серьезные предпосылки для демократизации политических институтов. Эта концепция развивается ученым с конца 1970-х годов и прошла серьезную апробацию в рамках четырех волн исследований программы «Values survey», основанной на анкетировании с жестким альтернативным вербальным выбором ценностей, последняя из которых – «World values survey» – охватила уже 80 стран. Про Россию часто шутят, что она – всегда исключение. Однако в исследованиях по методике Р. Инглхарта она занимает некое «среднее положение».

Крупное межрегиональное социологическое исследование «Рекрутирование политических лидеров муниципального и регионального уровня в современной России: проблемы оптимизации и повышения общественно-политической эффективности», проведенное членами Российской ассоциации политической науки в 2012 г. в девяти субъектах Российской Федерации (Алтайском крае, Воронежской области, Краснодарском крае, Ленинградской области, Омской области, Пермском крае, Республике Коми, Республике Татарстан, Санкт-Петербурге), основано на сочетании качественных и количественных методов. Основные методы сбора информации – глубинное нестандартное интервью (90) и фокус-группы (18), в том числе с представителями региональной политической элиты – 54 и девять фокус-групп. Интервью и фокус-группы были посвящены личной и профессиональной биографии региональных политиков, становлению и развитию их карьер. Задача вычленив в ходе свободных интервью (продолжительностью от 35 минут до 2 часов) и фокус-групп (длвшихся от 1 до

1,5 часов) значимые для представителей этой группы ценности представляется весьма интересной как в содержательном, так и в методическом отношении. Свободный, спонтанный характер речи в неформализованном интервью и фокус-группе дает прекрасную возможность с помощью качественных методов выявить систему ценностей респондентов.

Мы исходим из представления о том, что в современном российском обществе именно элитные группы являются ведущей силой социальных и политических изменений – основными политическими акторами, поскольку именно эти группы обладают основными социальными ресурсами. В силу этого от их установок и доминирующих ценностей во многом зависят изменения в стране. Предполагается, что значимым субъектом модернизационных процессов в стране могут быть представители региональной политико-административной элиты как наиболее вероятные и преданные проводники политики федерального центра.

Российская региональная политическая элита объединяет собственно публичных политиков, избираемых на уровне субъектов Российской Федерации (депутаты региональных законодательных собраний и госсоветов республик, а также губернаторы регионов), и административно-управленческой элиты, включающей членов регионального правительства («команду губернатора» (вице-губернаторов), ведущих сотрудников административного аппарата, руководителей и ведущих сотрудников комитетов и отделов и т.д.). Но отнюдь не избранные избирателями депутаты, а административно-управленческая элита обладает бóльшим объемом ресурсов, позволяющим ей существенно влиять на социально-экономические и политические процессы в субъектах Российской Федерации. В настоящее время эта группа оказалась в достаточно неоднозначной ситуации, поскольку занимаемые этими людьми должности, с одной стороны, дают им серьезные социальные и экономические преимущества, обеспечивая высокий (по российским меркам) и стабильный материальный уровень жизни их обладателям и позволяя активно участвовать в экономических, социальных и политических реформах; с другой стороны, принадлежность к региональной политической элите сопряжена с достаточно высокими рисками, связанными с возможностью утраты этих преимуществ и с морально-психологическими особенностями работы в политико-управленческой сфере. По сравнению с 1990-ми – первой половиной 2000-х годов принципиально изменились расстановка сил на региональной политической арене, харак-

тер отношений региональной власти и федерального центра, системные характеристики политической жизни в стране, что существенно влияет на особенности самоопределения российской региональной политической элиты и их ценности.

Дискурсивный анализ высказываний региональных чиновников, проведенный в рамках исследования «Рекрутирование политических лидеров муниципального и регионального уровня в современной России: проблемы оптимизации и повышения общественно-политической эффективности», позволил сделать следующие выводы.

Среди смысложизненных ценностей выделяются материальные и карьерные приоритеты. Доминирующей ценностью остается высокое материальное обеспечение (*«материальные стимулы в какой-то степени повлияли, потому что, конечно, я никогда не стремился к большим деньгам, но всегда хотел иметь средства для нормального комфортного проживания: хорошее жилье, одежда, машины, возможность завести детей»*). Работа в сфере собственно публичной политики и политического управления признается исключительно значимой, но именно как источник и условие личного благополучия (*«Те люди, которых я знаю в политике, они все исключительно работоспособны, спят мало, работают много»; «Материальные, социальные какие-то вещи, которые всем дороги и с которыми не хочется расставаться»*).

Ценность семьи признается как базовая, общение в семье представляет для региональных чиновников определенную ценность, но явно не доминирующую. По крайней мере, для большего числа респондентов эта ценность менее значима, чем работа. Проявляется влияние гендерного фактора: женщины в большей степени ценят межличностное общение с родными, чем мужчины (*«...да, важно пообщаться там с детьми, внуками, женой, естественно... да нет, достаточно»* [на вопрос о потребности общаться больше. – О.П.]).

Возрастные межпоколенческие разрывы в смысложизненных ценностных представлениях связаны с тремя моментами. Во-первых, ценность самовыражения в большей степени присутствует в дискурсе представителей старшей возрастной группы от 50 лет (*«Стимулы – это самореализация, самоутверждение, ну, материальные стимулы тоже». «Он должен найти для себя то, что будет ему соразмерно, и быть счастлив в своем деле... человек постоянно должен стремиться к совершенствованию, но помнить о том, что пределов совершенствованию нет»*).

Во-вторых, представители старшей возрастной группы декларируют несущественность статусности собственной профессии (*«Для меня это десятая роль. Это не приоритет, даже не первая десятка, это совершенно не принципиально, кем я являюсь по должности, хотя, может быть, так видится с высоты многолетнего стажа работы... Тут главное не должность, а то, как ты работаешь»*). Для молодых управленцев статусность занимаемой должности исключительно важна, и они считают необходимым говорить об этом открыто (*«я считаю себя профессиональным чиновником, горжусь этим»*). В-третьих, представители старшей возрастной группы в административно-управленческой элите подчеркивают коллективистские ценности, в том числе значимость сплоченности коллектива по месту работы (*«Коллектив – это важно. Если тебя уважают, если у тебя выстраиваются конструктивные отношения в команде – это основа»; «Самое главное – принятие решений и выстраивание стратегии и тактик управления коллективом»*). Молодые региональные чиновники проявляют себя как исключительные индивидуалисты, конкурирующие в коллективе и ориентирующиеся на мнение вышестоящего начальства (*«Как только начинается карьерный рост, отношения с коллегами сразу переходят в другую форму – сдержанного скрытого противостояния. У меня – так»*). Солидарность как ценность прослеживается очень слабо.

Ценности публичной политики в дискурсе представителей региональных органов исполнительной власти связаны с двумя темами – отношением к власти и эффективностью средств контроля за поведением рядовых граждан. В отношении к власти все респонденты без исключения декларируют лояльность как добродетель, норму и ценность представлений и поведения (*«люди должны в принципе поддерживать власть... Фактически это даже в основных религиях зафиксировано, что всякая власть от Бога, что нужно всегда поддерживать действующую власть»*). В отношении рядовых граждан подчеркивается ценность наказания как необходимого и универсального, фактически единственного средства контроля за поведением людей (*«он [рядовой гражданин. – О. П.] никогда не станет сознательным, пока у него не отберут машину, не оштрафуют, ну, там, на 80 тысяч рублей, он больше никогда так не сделает... Вот мы как раз будем проводить этот закон... почему пример привел, о том, что будут повышаться штрафы, будут эвакуировать машины. Конечно, людям будет очень неудобно, они будут свою машину искать, тратить время на это и т.д. Это будет наказанием. И российский*

гражданин воспринимает это в штыки, потому что он не хочет признать этого человека виноватым»).

В ходе исследования был зафиксирован ряд противоречий в системе ценностей региональных чиновников.

Во-первых, с одной стороны, как ценность декларируется преданность системе своих принципов (одна из экзистенциальных ценностей, согласно Э. Фромму) («Человек, который не держится за свою политическую позицию, улетает из политики очень быстро, его перестают уважать. Поэтому они все очень упрямы, они все держатся за свои взгляды, держатся за свое понимание»). С другой стороны, признаются неизбежность «актерства» и нравственных компромиссов при работе в региональной исполнительной власти («Он не должен быть предателем, хотя должен быть склонным к компромиссам»), необходимость «держат лицо» и подавлять эмоции в любой ситуации («Недюжинное терпение, умение, когда есть необходимость, сдерживать свои эмоции, что, кстати, не является моей сильной стороной»). Осознаваемая чиновниками необходимость четкого встраивания в иерархическую систему, подавления на рабочем месте индивидуальности, востребованность исключительно качеств, регламентированных должностными инструкциями, в наименьшей степени вызывает психологический дискомфорт в старшей возрастной группе («Нужно задать себе вопросы и постараться на них максимально честно ответить: а способен ли я работать на госслужбе? Ведь человек берется на госслужбу, чтобы либо быть неким винтиком, либо выполнять элемент гармонично работающей системы. Для того чтобы человеку принять решение о переходе на госслужбу, он должен к себе прислушаться и сказать: “Я готов быть либо винтиком, либо элементом”»).

Во-вторых, налицо осознание противоречия между ценностью самореализации в профессии как самоцели и ценностью карьерного роста («Другое дело, сегодня в карьере или в желании выстроить карьеру какие-то такие методы используются не всегда человеческие, нормальные. В жизни много возникает таких фактов, когда искушение добиться чего-то сопряжено с необходимостью кого-то опорочить, как-то себя преподнести... Воспользоваться фактами в рамках своих интересов для того, чтобы соперника утопить или опорочить, а себя преподнести. Вот это – формы очень низкие, неприятные, и они, к сожалению, в нашей жизни сплошь и рядом»).

В-третьих, существенным образом различается отношение к населению, ради которого, собственно говоря, и работает региональная административно-управленческая элита. С одной стороны, декларируется необходимость любить этих людей и заботиться о них (*«Поэтому для политика, несмотря на весь цинизм политической деятельности, иногда очень существенным подспорьем является любовь к людям. Если политик реально любит людей и готов им помогать, у него лучше получается. Если он их ненавидит, как часто бывает, у него получается намного хуже»; «Кто-то не совсем приятен, кто-то агрессивен. И в этой связи должно быть желание, прежде всего внутреннее убеждение, видеть личность и желание помочь ему независимо ни от каких других факторов»*). С другой стороны, очень четко проявляется убежденность в том, что те люди, которые приходят за помощью (а в органы власти именно они и обращаются), сами виноваты в своих бедах (*«Становление системы и работа непосредственно с теми людьми, которым тяжелее всех. Это пожилые люди, это люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, малообеспеченные, дети, инвалиды. И в этом соку приходится вариться, а это достаточно непросто»*). Более того, все неуспешные в социальном плане люди воспринимаются чиновниками как маргиналы (*«Им деньги дай – они пропьют. Не работали, пенсию не заработали, детям не помогли. Теперь детям не нужны, внукам тем более»*).

В-четвертых, практически единичными являются высказывания сотрудников региональных исполнительных органов о необходимости работать честно, избегая любых рисков быть вовлеченными в коррупционные схемы (*«Когда я включаю телевизор и вижу сюжет про коллег, пойманных на коррупции и т.д., становится неудобно, поскольку человек, приходящий работать для людей, должен этим и заниматься»*). При этом типичный чиновник четко осознает, что живет благодаря гражданам, *«за счет которых он зарабатывает»*. Более того, вскрывающиеся дисфункции в социальных отношениях воспринимаются типичным региональным чиновником прежде всего как новые возможности для карьерного роста (*«Кущёвка, я всем это говорю. Наш отдел по приемным губернатора образовали как реакцию на кущёвские события. У нас открыли многоканальный телефон и приемную. До этого момента каких-то перспектив по расширению штата вообще не было. То есть карьерный рост только на уровне главного консультанта... на меня конкретно именно это событие повлияло»*).

В-пятых, справедливость как норма актуализируется в создании опрошенных респондентов только в отношении себя и своей карьеры.

В целом результаты исследования показали, что собственно идеологический или политический ценностные расколы в рядах субфедеральной элиты проявляются в настоящее время слабо, хотя некоторые различия, связанные с членством в определенных партиях, безусловно, есть (максимально отличается риторика представителей элиты – членов КПРФ и ЛДПР). Региональные чиновники предпочитают не обозначать свои политические взгляды, четко артикулируя лояльность федеральному центру и «партии большинства» (*«Я вступил в партию, когда уже был на этой должности. Партия на это повлиять не могла»*). Членство в любой партии, кроме «партии власти», рассматривается как серьезная угроза карьерному росту и личному благополучию, хотя само по себе наличие партийного билета «Единой России», по их признанию, никаких гарантий для продвижения по служебной лестнице не дает. Более того, некоторые региональные чиновники заявляли о якобы действующем до сих пор запрете для лиц, находящихся на государственной службе, быть членом любой партии. Таким образом, членство в партии имеет для региональных чиновников утилитарный характер, не представляя самостоятельную ценность.

Важным выводом проведенного исследования стало заключение о практически полном отсутствии у региональных чиновников высокого ранга стремления к инновационной деятельности, инициативе в своей работе. Они убеждены, что главное – действие в рамках своих должностных поручений, и это автоматически исключает из их сознания такие ценности, как самореализация и участие в решении проблем локальных территорий в интересах их населения. Как следствие, под сомнение можно поставить и инновационный потенциал российской региональной политико-административной элиты в решении задач современной модернизации нашей страны.

Как показало наше исследование, смысложизненные ценности, установки и ориентации представителей средней / старшей и относительно молодой возрастной групп заметно отличаются, поскольку в последние годы начинают сказываться необратимые культурные изменения постсоветского времени, влияющие на политическую культуру и практику современной российской субфедеральной элиты. В традиционной отечественной культуре особое место долгое время занимали (или, по крайней мере, деклари-

ровались как ценности) коллектив и уважение к авторитету. Откровенный индивидуализм, утрата «чувства локтя», страх потерять жизненные блага «своей» статусной группы в настоящее время у чиновников начинают явно доминировать над чувствами единения с другими людьми и ответственности перед ними.

Удивительным образом трансформируется и отношение представителей власти к самой власти на субфедеральном уровне. Будучи государственниками и обладая значительными полномочиями, эти люди ощущают себя, скорее, исполнителями чужой воли. Все это сочетается с представлением о приоритете частного интереса, автономии личности и персональной ответственности каждого человека за свою собственную судьбу. Нет никаких оснований полагать, что в ситуации конфликта и необходимости реального выбора стратегии поведения российская субфедеральная административно-управленческая элита отдаст предпочтение сохранению стабильных социальных отношений и природной среды обитания человека, удовлетворению потребностей личности, а не возможности получить дополнительную прибыль или некие личные предпочтения.

Понятие «инновационная личность», введенное Эвереттом Хагеном для объяснения принципиальных социальных изменений в период становления капиталистических отношений, может быть успешно использовано для оценки системы ценностей российской субфедеральной элиты. При операционализации данного понятия используются четыре критерия: а) отношение к действительности, которое связано со стремлением индивида воздействовать на явления в социуме и управлять ими; б) понимание роли индивида в мире как готовность принять на себя ответственность за негативные стороны жизни и постоянно пытаться внести изменения; в) стиль лидерства, основанный на откровенности и терпимости к подчиненным, поощрение их стремлений к инновациям; г) степень склонности к созиданию и новациям, творчеству и стимулирование самобытности личности [Штомпка, 1996, с. 302]. Как показал анализ дискурса представителей российской субфедеральной политической элиты, даже отдельные проявления этих качеств – огромная редкость.

Объяснение отсутствия у чиновников стремления к инновациям связано с рутинностью повторяющихся профессиональных задач (*«Креатив заканчивается у человека, он просто повторяет одно и то же действие несколько раз, и когда 5, 6, 7 раз одно и то же действие повторяет, он уже переходит на автоматическое*

выполнение этого действия, т.е. творчество пропадает в данном случае. Это очень редко, когда человек очень много работает и постоянно что-то новое привносит»). Более того, декларируется, что инновационность может проявляться только в рамках задач / должностных инструкций, которые чиновник получает от вышестоящего руководства (*«Если человек креативить перестает, то ему надо двигаться уже параллельно или вертикально, главное, сменить должность, даже в этой же организации, чтобы сменились должностные инструкции, как это раньше называлось»*).

Хотя мотивация достижения очевидно присутствует в рассказе политиков о своей карьере и жизни в целом, однако явно в большинстве интервью прослеживаются «синдром присоединения» и «синдром власти», которые в совокупности препятствуют конструктивной конкуренции в реализации различных программ, оригинальности, выдвижению идей.

В сознании российской субфедеральной элиты абсолютно гармонично сочетаются желание снять с себя ответственность, стремление к безопасности и эгоистической выгоде на работе, с одной стороны, и инициативность, склонность к риску и альтруизму в отношении своей семьи, с другой стороны. Пассивность, осторожность, подчиненность в действиях в общественной / публичной жизни и управлении связаны с определенным видением сотрудниками исполнительных властных структур рисков и цены активности, что сочетается с разрывом между словом и делом, дискурсивными практиками и реальным поведением. Многие представители региональной управленческо-административной элиты склонны к ритуальной (символической, не имеющей практической значимости) активности, которая лишена конструктивного содержания.

На основании проведенных интервью и фокус-групп нельзя сделать выводы о наличии у региональных управленцев синдрома «двойной речи» («структуры организованной лжи»), однако в ходе исследования были зафиксированы многочисленные ситуации, когда в доверительной атмосфере многие респонденты как бы отстранялись от своей официальной позиции и критиковали ее. В декларации значимых для чиновников явлений проявилось также известное рассогласование между декларируемыми и реальными целями, нормами и ценностями (вариант «двоемыслия»).

Региональные управленцы признают, что их личные карьерные успехи достигнуты благодаря системе, в которой они действуют. Вместе с тем наблюдаются стремление в ходе работы избе-

жать серьезных решений, перекладывая ответственность на других сослуживцев или своих подчиненных («синдром эстафетной палочки»), и ожидание, граничащее с требованием, социальных гарантий, «полагающихся по статусу» (синдром «пролонгированного инфантилизма»). «Синдром лилипута» («я всего лишь винтик в этой системе», «я – исполнитель и ничего не решаю») удивительным образом сочетается с представлением региональных чиновников о значительности и масштабе собственной личности. Все это в совокупности делает сомнительной способность данной профессионально-статусной группы выступить действительно мотором изменений в современной России, но все же оставляет возможности выполнения ей исполнительских функций в ситуации жесткого продолжения политики модернизации федеральными структурами власти.

Система ценностей региональных политико-управленческих элитных групп может измениться, однако для этого потребуются значительное время. Кроме того, это возможно только в случае, если актуальный для этих людей набор ценностей перестанет быть само собой разумеющейся доксой – представлением о легитимном наборе социальных и политических стандартов.

Литература

- Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия. Последовательность человеческого развития. – М.: Новое издательство, 2011. – 462 с.
- Рукавишников В., Халман Л., Эстер П. Политические культуры и социальные изменения. Международные сравнения. – М.: Совпадение, 2000. – 366 с.
- Штомпка П. Социология социальных изменений / Пер. с англ. под ред. В.А. Ядова. – М.: Аспект Пресс, 1996. – 414 с.

Л.С. Ланда, И.А. Яблоков

**ТРАНЗИТ СИМВОЛОВ
В КОНСПИРОЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ: МИФ О ХАЗАРСКОМ
КАГАНАТЕ И МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ¹**

Одна из главных проблем постсоветского северокавказского общества – вопрос национальной самоидентификации. У каждого северокавказского народа (включая казаков и горских евреев) есть несколько мифов, в большинстве своем появившихся в XX – начале XXI в., которые рассказывают о происхождении данной этнической группы. Характерной деталью этих нарративов является то, что данные мифологические конструкции часто противоречат друг другу и совершенно не соотносятся со схожими мифами народов, проживающих по соседству. Несмотря на это, жителями региона они воспринимаются как цельная историческая традиция. Миф о происхождении народа обычно состоит из двух функциональных частей, каждая из которых выполняет определенную задачу в формировании национальной идентичности. Первая повествует о кавказской автохтонности того или иного народа, вторая – раскрывает преемственность по отношению к древним государствам (Урарту, хеттов или более поздних образований аваров, аланов и иногда даже римлян). Именно так представляется история аварцев, лезгин, кумыков, ингушей, чеченцев, осетин и других народов Северного Кавказа [Шнирельман, 2006]. Более того, активный процесс нацио-

¹ Авторы благодарят В.А. Шнирельмана за неоценимую помощь в подготовке данной статьи.

нального мифотворчества способствовал резкому обострению межэтнических отношений, в которых немалую роль сыграло противопоставление собственного исторического величия и укорененности на территории проживания национальным нарративам соседних народов.

Распад Советского Союза, в том числе подготовленный национальными движениями, как в союзных республиках, так и в рамках самого РСФСР, сделал особенно актуальным вопрос поиска символов, которые бы позволили эффективно сплотить нацию в борьбе за существование [Suny, 1993, p. 127–160]. Процесс сплочения нации неизменно включает в себя как стратегии самоидентификации, так и процесс идентификации Другого, чье бытование призвано подчеркнуть уникальность той или иной национальности. Одним из наиболее популярных способов описания Другого служит теория заговора, эффективно и четко разделяющая общество на своих и чужих и, тем самым, маркирующая границы бытования национальности. Принято считать, что теория заговора является плодом «параноидального стиля мышления» (по терминологии Ричарда Хофstadтера [Hofstadter, 1996]). Опираясь на новейшие зарубежные исследования в области гуманитарных наук, мы предлагаем рассматривать теорию заговора как популистский инструмент перераспределения власти между различными политическими акторами с целью делегитимизации оппонента и усиления позиций актора, использующего теории заговора для достижения собственных целей. Данная методология, предложенная американским политологом Марком Фенстером, позволяет избавиться феномен конспирологического мифотворчества от клейма маргинального знания и проанализировать социальные функции, которые он в себе содержит [Fenster, 2008, p. 84–90]. Более того, подобный подход к теориям заговора позволяет проследить, как теории заговора способствуют созданию национальной идентичности. Опираясь на теорию популизма Эрнеста Лакло, Фенстер показал, каким образом теории заговора разделяют социум на две части: народ, выдвигающий запрос, и Другого, представляющего властные элиты. Общество разделяется на Нас и Их. Мы – это народ, который Лакло называл английским термином «underdog», что можно перевести как «аутсайдер», и Они, «властный блок» (power bloc). Наша задача – перераспределить власть в свою пользу, реализовав Наш запрос, и, таким образом удовлетворить свои потребности, изменив баланс политического неравенства. В ходе этого процесса различные группы общества соединяются воедино, образуя новые политические, национальные и социальные идентичности. При этом чаще всего они

временные и после выполнения задачи могут распадаться или объединяться в иные структуры [Laclau, 2005, p. 34–38].

Использование данной методологии позволяет оценить ту роль, которую в процессе формирования национальных идентичностей на Северном Кавказе играют различные теории заговора. Как правило, эти теории опираются либо на определенные мифы, выросшие из локальной социальной среды (например, миф о заговоре низших сословий в Дагестане, которые захватили власть в республике в советский период), либо на мифы, заимствованные из некавказских регионов. В данном контексте стоит, прежде всего, назвать миф о Хазарии, возникший в среде русской интеллигенции XIX в. и значительно обогатившийся стараниями историков М. Артамонова и Л. Гумилева в XX в. Будучи важным элементом конспирологического дискурса русских националистов, которые связывали его с заговором евреев против России, Хазарский каганат, как негативный символ, у народов Северного Кавказа совершенно отсутствовал вплоть до недавних пор. Однако последние 20 лет ознаменовались резким ростом популярности данной теории, удивительным образом сплотившей коммунистов, исламистов и националистов. Символика Хазарского каганата и его негативной роли в истории региона встречается в популярной культуре многих северокавказских республик. Хазарское, т.е. еврейское, происхождение приписывают, как правило, соседним народам, с которыми в предыдущие годы были сложные межэтнические отношения. Краеугольным камнем хазарского мифа, который играет важную роль и в дискурсе русских националистов, является иудаизм, который считается хазарской религией. Таким образом, негативный миф о Хазарии «удачно» связывается с идеями о мировом господстве евреев, арабской юдофобией и концепцией «третьей власти» в регионе, которая не допускает единства кавказцев между собой и русско-кавказского диалога.

Феномен теории заговора до сих пор остается малоизученным, как в отечественной историографии, так и в исследовательской литературе по Северному Кавказу. Поэтому в нашей статье мы рассмотрим процесс транзита конспирологического мифа о Хазарии как символа заговора, из русского националистического дискурса в общественное сознание стран Северного Кавказа и постараемся оценить ту роль, которую он играет в поиске национальной идентичности местных народов. В качестве источников мы будем использовать печатные работы, а также публикации на северокавказских интернет-форумах.

Хазарский миф на Северном Кавказе: Истоки феномена и динамика развития

Несмотря на то что корни популярности хазарского мифа следует искать в XIX в., настоящее развитие данный конспирологический символ получает в советский период. Большой вклад в распространение конспирологического аспекта теории об уникальном месте Хазарского каганата в истории России внесли советские историки М.И. Артамонов и, в особенности, Л.Н. Гумилёв. Последний делает особый акцент на еврейском характере Каганата. Хазария не интересует Гумилёва без роли евреев в ее управлении. Он рассматривает влияние иудейской знати на Хазарское государство как сугубо негативное явление, где особое, если не главное место занимает превращение Хазарского каганата в паразитирующее, рабовладельческое государство, досаждавшее русам набегами и способствовавшее задержке государственного развития славян [Шнирельман, 2012, с. 68–71]. Среди русских националистов до сих пор популярна идея о Хазарии как об «иудейском зле», и в их среде особо почитаемым праздником является День победы Святослава над еврейской Хазарией [Шнирельман, 2012, с. 146, 232].

В националистическом дискурсе Северного Кавказа символический образ Хазарии получает активное распространение в 1980-х – начале 1990-х годов, однако в тот период он не нес в себе компонента «еврейского заговора». Лидеры национальных движений либо воспринимали его в качестве средневекового государственного образования, располагавшегося на территориях современных северокавказских республик, либо искали в хазарах своих прямых предков, что, как и в случае с аланами, албанами или аварами, должно было связать современные кавказские этносы с могущественными государственными образованиями прошлого [Абдурагимов, 1995, с. 100]. В отдельных случаях, например в среде кумыкских националистов, хазары до сих пор воспринимаются вне иудейского контекста, а, скорее, представляются тюрками-протокумыками, заложившими основы кумыкской государственности [Кадыраджиев, 2000].

С конца 1990-х годов отношение к хазарской проблеме в кавказском межэтническом диалоге меняется: роль потомков хазар стараются уже приписывать соседям, намекая прежде всего на их еврейское происхождение. Предположительно, с одной стороны, это происходит под влиянием распространяющейся идеологии

русского национализма, в которой Хазария занимает важное символическое место. С другой стороны, идеология радикального ислама, проникшая на территорию Северного Кавказа в середине 1990-х годов при поддержке ряда ближневосточных арабских организаций, способствовала пересмотру хазарских корней северокавказских этнических групп [Hunter, 2004, p. 383–386]. Таким образом, пришедший извне миф об иудейском государстве на Северном Кавказе, как символ порабощения и опасности для наций в регионе, удачно сочетавшийся с арабо-мусульманской юдофобией, породил еще один миф – о еврейском заговоре против народов Кавказа и особой роли Хазарии в кавказско-славянских отношениях.

Символика Хазарии и образ осетин

Довольно популярной темой среди участников вайнахских интернет-форумов является история о происхождении осетин от евреев. Эта концепция, в частности, основывается на книге Беньямина Каплана «Иранские евреи-осетины» [Каплан, 2007]. Установить факт ее публикации довольно трудно (можем предположить, что она была напечатана весьма ограниченным тиражом и не получила распространения за пределами северокавказских республик). Однако на различных вайнахских националистических форумах часто пересказывается содержание книги, якобы представляющей осетин одним из колен израильских, с которыми смешались разбитые славянами хазары. «Еврейские» корни осетин выявляются, в частности, через лингвистический анализ, обнаруживающий сходство терминов в региональных диалектах и иврите. Согласно Каплану, хазары проникли в соседние народы, а часть из них основала Осетию, ставшую оплотом евреев-хазар на Кавказе [Форум «История Осетии», 2012]. Через использование теории о «еврейском» происхождении осетин их соседи – ингуши и чеченцы – стараются подчеркнуть осетинскую «враждебность» нахским народам (в особенности, ингушскому народу), признавая в осетинах опасного Другого для межнациональных отношений.

Несмотря на то что работа Каплана подверглась жесткой критике со стороны как специалистов по иудаике, так и регионоведов, основные выводы книги по-прежнему тиражируются в виртуальном пространстве [Мороз, 2007]. Более того, негативный символ Хазарии, связываемый с осетинами, воспринимается и

некоторыми русскими националистами как доказательство заговора евреев против русской нации. Данная идея доказывается фактом массового производства в Северной Осетии ликеро-водочной продукции, направленной на «разрушение русской нации» [Ассианство, 2008]. То есть наблюдается взаимообмен конспирологическими символами между русскими и северокавказскими националистами, использующими негативный образ Хазарии, чтобы обвинить осетин в заговоре против своих народов.

Миф о Хазарии как символ национального строительства современной чеченской идентичности

Образ Хазарии в националистическом дискурсе чеченского народа имеет амбивалентную природу. В некоторых работах символ Хазарии обладает традиционно негативным оттенком: он ассоциируется с определенными «внешними» силами, стремящимися уничтожить чеченский народ. С другой стороны, некоторые авторы склонны в хазарском прошлом видеть символ величия, незаконно отобранного интригами евреев и сионистов.

Бывший политработник и чеченский националист С.А. Дауев в своей работе изображает Хазарский каганат как источник проникновения евреев (прежде всего горских евреев) на Северный Кавказ с целью уничтожить чеченский народ [Дауев, 1999, с. 8–10]. Являясь «агентами» Хазарского каганата, евреи постоянно предпринимали попытки отделить чеченцев от русских, чтобы воссоздать древнюю Хазарию. Согласно его концепции, война имама Шамиля против России в XIX в., а также контртеррористическая операция против «Свободной Ичкерии» в 1990-х годах являются частью одного «плана» восстановления Хазарского каганата и разрушения мирного сосуществования чеченцев и русских [там же, с. 46, 113]. Опубликованная в конце 1990-х, книга Дауева стремится продемонстрировать традиционный союз между двумя народами, находя истоки конфликтов на Северном Кавказе в действиях «Запада» и Хазарии. Как отмечает Виктор Шнирельман, подход Дауева не оставляет места для какого-либо противостояния Чечни и России [Шнирельман, 2006, с. 190]. В данном случае, как мы видим, конспирологический миф о Хазарии является своеобразным способом урегулирования межэтнического конфликта.

В конце 2000-х годов сравнительно большую популярность получает и другая трактовка мифа о Хазарии, интерпретирующая

ее влияние на историю чеченского народа иначе. Как утверждают некоторые чеченские интеллектуалы, противники чеченского величия намеренно распространяют идею о том, что хазары, проживавшие на территории современной Чечни, являлись предками евреев. Сторонники этой теории полагают, что «истинными» хазарами были предки чеченцев и ингушей, правившие миром из его центра – Чечни. Однако враги чеченского и ингушского народов традиционно поддерживали осетин, которые, как и Израиль, оккупируют чужие земли и являются оплотом оккупантов (в случае Израиля оккупантами являются американцы, а в случае Осетии – русские) [Ибрагимов, 2012 а]. Более того, евреи, как народ, были «изобретены» специально, чтобы приписать им родство с Хазарией. Ризван Ибрагимов, член-корреспондент Российской академии естественных наук, заявляет: «“Древние евреи” – это никто иные, как древние нахи... Район Хазарии – это географическое пространство с центром на территории Чечни, где, по мнению историков, располагалась столица Хазарии Семендер. Соответственно – основные жители Хазарии – это древние нахи...» [Ибрагимов, 2012 в].

Ссылка на величие и центральную роль своего этноса в мировой истории является традиционной чертой конспирологического мифа [Яблоков, 2012, с. 52–83]. В данном контексте символ Хазарии выступает как символ величия чеченского народа, связанный с регионом проживания и подчеркивающий героический характер чеченской нации. Одновременно конспирологический миф о Хазарии является способом объяснения произошедших в XX в. трагедий: репрессий против чечено-ингушского народа в 1944 г., а также двух контртеррористических кампаний в постсоветский период [Ибрагимов, 2013].

О роли чеченцев в Хазарском каганате пишет и известный в России чеченский публицист Герман Садулаев. Автор указывает на то, что чеченцы были частью хазарского государства, и название самой Хазарии имеет чеченскую этимологию – «хаза аре», расшифровываемое как «прекрасные равнины» [Садулаев, 2012, с. 67]. Автор указывает на негативную роль евреев в каганате, связанную с работорговлей, которую завезли именно евреи [там же, с. 56]. По мнению Садулаева, евреи обладали огромной властью в каганате, которую они использовали против чечено-ингушских племен, – эта тема традиционна для антиеврейских конспирологических мифов. «Отношение к евреям осталось сложным, напряженным – еще с тех времен, видимо, как память о перевороте, когда евреи захвати-

ли власть в каганате и дискриминировали все племена хазар, включая нахские общества» [Садулаев, 2012, с. 68].

Таким образом, и Садулаев, и Ризван Ибрагимов воспринимают символ Хазарии позитивно, именно с ним связывая величие чеченского народа. Роль евреев сводится либо к фальсификации чеченской истории, либо к формированию стереотипа о богатых евреях-работоторговцах, захвативших экономическую и политическую власть в Хазарском каганате (что напрямую связано с традиционным антиеврейским дискурсом).

Символ Хазарии в межклановых отношениях в современном Дагестане

Если в случае осетин, ингушей и чеченцев символ Хазарии используется, чтобы обозначить опасность той или иной нации для существования народа, в Дагестане данный символ приобрел несколько иной масштаб в межклановых отношениях. Ярким примером может служить серия интервью дагестанского краеведа Ахмеда Магомедова, который связывает могущество хунзахского клана (население Хунзахского плато бывшего Аварского ханства) на внутридагестанской политической арене с их родством с хазарами. Согласно Магомедову, селение Хунзах стало центром тайного ордена, ведущего свое начало из античности. Выходцы из этого села, называемые автором «хунзахский клан», всегда обладали огромной властью и тайнами мира и явились прародителями хазар, которые были изгнаны из клана и исчезли, поскольку приняли иудаизм [Мухин, 2010].

Такая интерпретация мировой истории, выдержанная в традиционном конспирологическом ключе, имеет четкий региональный оттенок, поскольку отражает межклановые отношения в Дагестане. В данном случае Другой, обладающий властью в регионе (в тот момент во главе республики стоит хунзахский аварец М.Г. Алиев), становится ключевым актором для перераспределения власти между политическими и экономическими элитами Дагестана. Тем самым, символ Хазарии, воплощающий в себе образ власти, призван, с нашей точки зрения, продемонстрировать «чуждость» и опасность представителей данного рода для других кланов и этносов Дагестана.

Заключение

Коротко обозначив специфику бытования конспирологического мифа о Хазарии, можно сделать несколько выводов о роли данного символа в межэтнических отношениях на постсоветском Северном Кавказе.

Конспирологический миф о Хазарии, как символ опасности для населяющих Северный Кавказ народов, попав в общественный дискурс на рубеже 1990–2000-х годов, претерпел серьезные изменения, став важным символом национального единения. Под влиянием русского националистического дискурса миф о Хазарии, как символ еврейского заговора, стал ключевым в объяснении межэтнических конфликтов. Делая акцент на чуждости евреев для данного региона, некоторые чеченские и ингушские интеллектуалы видели в осетинах символ оккупации, похожей на политику Израиля в Палестине. Отражение мировой политической повестки дня, ставшей приметой времени, позволило использовать накопленный потенциал мировой антисиионистской пропаганды в приложении к региональным межэтническим конфликтам. Немалую роль в развитии антисемитского аспекта мифа о Хазарии сыграли и настроения в российском публичном пространстве, где отдельные публичные интеллектуалы использовали антиизраильские теории заговора с целью сплотить российскую нацию [Шевченко, 2012].

В то же время восприятие Хазарии как древнего и могучего государства, частично расположенного на территории Северного Кавказа, послужило использованию данного символа в качестве базового в построении национальной идентичности. Обращаясь к прошлому воображаемому величию Хазарского каганата, чеченские интеллектуалы именно Чечню стараются изобразить как истинный центр мира, являющийся объектом заговора евреев, «изобретенных» для уничтожения чеченской нации. В данном контексте миф о Хазарии служит и символом национального единения, и способом объяснения трагедий чеченского народа в недавнем прошлом.

Процесс трансфера мифа о Хазарии как символа заговора против северокавказских народов демонстрирует степень включенности данных сообществ в мировые информационные потоки. Заимствуя традиционные для русского националистического дискурса конспирологические символы, северокавказские интеллектуалы удачно используют их потенциал для формирования собст-

венной национальной идентичности. Однако, принимая во внимание всю сложность межэтнических отношений в данном регионе, понимание специфики генезиса подобных символов в межэтнических отношениях и их роли в формировании национальной идентичности требует особого внимания, поскольку оно обладает опасным потенциалом агрессии.

Литература

- Абдурегимов Г.А. Кавказская Албания – Лезгистан: история и современность. – СПб.: [Б. и.], 1995. – 607 с.
- Ассианство // Форум ПравоСлавие. – 2008. – Режим доступа: <http://neopravoslavie.borda.ru/?1-1-60-00000071-000-60-0> (Дата посещения: 20.10.2013.)
- Дауев С.А. Чечня: коварные тайнства истории. – М.: Русь, 1999. – 241 с.
- Ибрагимов Р. Еврейский народ не тот, за кого себя выдает // Нохчий ду. – Грозный, 2013. – 9 июля. – Режим доступа: <http://www.nohchidu.com/2009-12-28-12-29-03/enntzksv.html> (Дата посещения: 20.10.2013.)
- Ибрагимов Р. Осетины и ингуши – тоже евреи? // Нохчий ду. – Грозный, 2012 а. – 27 марта. – Режим доступа: <http://www.nohchidu.com/2009-12-28-12-29-03/enntzksv/oiite.html> (Дата посещения: 20.10.2013.)
- Ибрагимов Р. Палестина? Нет, Чечня! Чечня – истинная Святая Земля // Нохчий ду. – Грозный, 2012 в. – 3 сентября. – Режим доступа: <http://www.nohchidu.com/2009-12-28-12-29-03/pnch.html> (Дата посещения: 20.10.2013.)
- История Осетии // Кавказский полигон – форум народов Кавказа. – 2012. – 7 апреля. – Режим доступа: <http://poligonkavkaz.info/topic/1351-istoriia-osetii/page-41> (Дата посещения: 20.10.2013.)
- Кадыраджиев К. Хазарский был языком кипчакского типа // Вести КНКО. – Махачкала, 2000. – № 2. – Режим доступа: <http://kumukia.ru/article-22.html> (Дата посещения: 20.10.2013.)
- Каплан Б. Осетины – иранские евреи. – Владикавказ: ИПП им. В. Гассиева, 2007. – 94 с.
- Мороз Е. «Бывает... О «еврейском» происхождении осетин» // Народ Книги в мире книг. – СПб., 2007. – № 71. – Режим доступа: http://narodknigi.ru/journals/71/byvaet_o_evreyskom_proiskhozhenii_osetin (Дата посещения: 20.10.2013.)
- Мухин Г. Хунзахский клан: История Грааля и хазарского каганата // Stringer. – М., 2010. – 25 января. – Режим доступа: <http://stringer-news.com/publication.mhtml?Part=48&PubID=12687#> (Дата посещения: 20.10.2013.)
- Садулаев Г. Прыжок волка: Очерки политической истории Чечни от Хазарского каганата до наших дней. – М.: Альпина нон-фикшн, 2012. – 251 с.
- Форум «Темы от Ингушетия.ру» // Ингушетия.ру. – Магас, 2011. – 19 января. – Режим доступа: http://old.ingushetiya.ru/forum_main/msg_400639_400592_26.html (Дата посещения: 20.10.2013.)
- Шевченко М. Колониальная ретроспектива Израиля // Кавказская политика. – М., 2012. – 20 ноября. – Режим доступа: <http://kavpolit.com/kolonialnaya-retrospektiva-izrailya/> (Дата посещения: 20.10.2013.)

- Шнирельман В.А. Быть аланами: Интеллектуалы и политика на Северном Кавказе в XX веке. – М.: НЛЮ, 2006. – 348 с.
- Шнирельман В.А. Русское родноверие: Неоязычество и национализм в современной России. – М.: Изд-во ББИ, 2012. – 306 с.
- Шнирельман В.А. Хазарский миф: идеология политического радикализма в России и ее истоки. – М.: Мосты культуры-Гешарим, 2012. – 313 с.
- Яблоков И.А. Теория заговора и современное историческое сознание (на примере американской исторической мысли). – Saarbrücken: LAP, 2012. – 225 с.
- Fenster M. Conspiracy theories: Secrecy and power in American culture. – Minneapolis: Univ. of Minnesota press, 2008. – 400 p.
- Hofstadter R. The paranoid style in American politics: And other essays. – Cambridge: Harvard univ. press, 1996. – 330 p.
- Hunter S.T. Islam in Russia: The politics of identity and security. – N.Y.: M.E. Sharpe, 2004. – 568 p.
- Laclau E. Populism: What's in a name? // Populism and the mirror of democracy. – L.: Verso, 2005. – P. 32–49.
- Suny R.G. The Revenge of the past: Nationalism, revolution, and the collapse of the Soviet Union. – Stanford: Stanford univ. press, 1993. – 202 p.

Т.Л. Барандова

ИСТОРИЯ И ГЕНДЕР В СИМВОЛИЧЕСКИХ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯХ АКТОРОВ ПРОТЕСТА

Протест 2011–2012 гг. дает много пищи для размышлений: в изучении и осмыслении нуждаются факторы его возникновения, динамика, акторы, репертуар форм, методы мобилизации и др. В нем участвовали представители разных сегментов идеологического спектра: анархисты, националисты, неолибералы... Масштабное вовлечение в общие протестные акции стольких групп, по-разному представляющих себя в публичном пространстве и по-разному визуализирующих несогласие посредством новых медиа, предлагает задуматься и о том, чем обусловлена подобная «карнавализация» политического процесса. Вспомним, что феномен «карнавальной культуры» веками противостоял официальной церковной или политической культуре как «подлинный праздник времени, становления, смен и обновлений» [Бахтин, 2008].

Кроме того, в ходе протестных событий на лидерские позиции нередко выдвигались женщины, а эффект акционистских высказываний представительниц субкультур обнажил проблемы политического контроля над временем со стороны правящих элит [Барандова, Константинова, 2012]. Однако нам не встретились статьи, рассматривающие протестные взаимодействия ни с позиций методологии гендерного подхода, ни с позиций включения в анализ социально-временной идентичности как ресурса репрезентативных практик акторов. Тем больше оснований для исследовательских вопросов, нацеленных на проверку предположений, связанных с интерпретацией протеста как реакции на консервативный поворот государства (проявившегося в серии законодательных действий по ограничению прав женщин и меньшинств, усилении неопатриар-

хатного дискурса, росте влияния РПЦ и т.п.), которая выразилась в стремлении актуализировать коллективную память через «обыгрывание» исторических аналогий. Такая постановка проблемы представляется релевантной теории символической политики, в рамках которой разработаны адекватные модели анализа (театральная, драматологическая, перформансная) [Поцелуев, 2012, с. 17–53]. Выражение несогласия реализовалось в форме акционизма как пост-модернистского типа протеста – коллективного или индивидуального «точечного действия», которое демонстрирует не только гражданское неповиновение, но и неконвенциональные практики сопротивления гегемонным гендерным порядкам [Risman, 2004; Ridgeway, 2011] или доминирующему дискурсу власти в сфере политики памяти.

Цель статьи – проанализировать «нарратив протеста», выраженный в самопрезентации фигур несистемной политической сцены российского социума 2011–2012 гг., с применением гендерного подхода. Материалом для анализа послужили коммуникации в социальных сетях. Основной задачей было определить, какие пласты исторической памяти репрезентировали (т.е. отражали через символические образы для публики в процессе интеракции) индивидуальные и гендерные роли акторов «белой ленты», «марша миллионов», «оккупай», «прогулки литераторов» и «панк-молебна». Такая постановка вопроса представляется оправданной, ибо действие выступает как символ, а «то, что воспринимается как политическое событие, есть зачастую лишь символическая конструкция (спектакль), так как для массы недоступно прямое наблюдение реальных процессов и контроль над ними» [Поцелуев, 2012, с. 18–19]. В свою очередь, акторы политической коммуникации выступают как актеры, персонажи, типажные фигуры, обозначающие (репрезентирующие) роли «политического театра» [Мироненко, 2010] с целью общественной мобилизации. Репрезентации формируются под влиянием исторически обусловленной социальной реальности и человеческой практики, в которой объекты восприятия выступают как пространственно-временные процессы [Рабардель, 1998]. Результат содержит сохраняемую в памяти символическую передачу контекста имитации деятельности.

Исходное предположение состоит в том, что вовлеченные в протест социальные группы имитировали контрдискурс(ы), чтобы: 1) через плюрализацию политической коммуникации отразить запрос на демократическое развитие общества и потребности в модернизационном проекте; 2) артикулировать разнообразие со-

циальных групп в обществе и спектр их (непредставленных) интересов; 3) обозначить разрывы в официальном дискурсе и общественных практиках, приводящие к неравенству шансов поколений и сегментов общества. Избранная форма гражданского протеста в виде уличного активизма определялась структурой политических возможностей и закрытостью системы, которая не позволяла оппозиционным силам получить минимальное институциональное представительство в результате выборов. Официальный «сценарий» хода и итогов выборов не предполагал изменений политического пространства. Характер политического режима определил и полуигровой (карнавальный) жанр «протестного нарратива», в рамках которого представителям контр- и субкультур удалось репрезентировать предпочтительные гендерные режимы своих сообществ через «цитирование» элементов нарратива отечественной истории.

Такая постановка вопроса опирается и на ряд теоретических представлений, разделяемых многими исследователями современной политики. Во-первых, современной политической коммуникации свойствен высокий уровень метафоризации и театрализации. Описываемые И. Гофманом [Гофман, 2000] и его последователями [Тернер, 1985; Alexander, Giesen, Mast, 2006] взаимодействия, устанавливая аналогию между реальными ситуациями и театральным представлением с членами общества в качестве актеров, позволяют исследовать «технологии» их ролевого поведения, фокусируя внимание на символических формах. Такие представления разветвляются как в пространстве (сцены), так и во времени. Под «сценой» в контексте массового общества понимают арены действия общественных отношений, опосредованных образами и интерпретируемых как «спектакль», которому подчинены и институты государства [Дебор, 2011]. Теории социальных перформансов придают значение выбору политических событий и «сценических» действий в коллективных контекстах, а изучение социальных трансформаций включает инверсии времени как исследовательский ресурс [Штомпка, 2005]. Рефлексия времени является элементом поддержания коллективной памяти [Функенштейн, 2008], фактором трансляции ценностей между поколениями. Аутентичность ролевого образа обеспечивает правильное его восприятие и интерпретацию, что усиливает значимость массово узнаваемых исторических символов. Общество в кризисном состоянии чувствительно к символическим формам и мифологическому мышлению [Кассирер, 2011]. Мифы как мобилизационный инструмент дают ресурс «для интерпретации “прошло-

го” и участвуют в осмыслении повседневной жизни “в настоящем” времени, включая выстраивание перспектив на “будущее” <...> задают образцы социальной жизни в качестве руководства к действию» [Робертс, 2004, с. 7]. В ходе их создания акторы осмысливают свою идентичность. Полагаем, что конструирование мифологизированных «Я-образов» в социальных сетях помогает в определении коллективных идентичностей, составляет основу мобилизующей репрезентации.

Во-вторых, в обществах Модерна имеет место конкуренция проектов реконструкции и поддержания коллективной памяти, «социальные и политические группы постоянно соревнуются за нужную им модель времени» [Ярская, 2011, с. 11]. Государство пытается удержать главенство, прибегая к средствам, зависящим от типа политического режима. Проявления недовольства обусловлены тем, что плотность времени связана с характеристиками социального пространства и не одинакова в разных группах. Дифференцирующими факторами оказываются гендер и возраст, ибо сложности самореализации в публичной сфере, создаваемые в том числе гендерной системой, порождают барьеры участия и искажения политического представительства, а его отсутствие лишает группу «голоса» и при выборе желанной модели гендерного режима. И в проблемных полях молодежной социализации лежат основания неравенства, ибо на социальных аренах «в отличие от театрального сценария, каждый из нас участвует в индивидуализации стиля, создает свою пьесу, свой сценарий, по которому проходит его жизненный путь» [Бабаян, 2011].

В-третьих, в контексте демократических режимов выборы, медиа и партии приобретают влияние на распределение власти [Tilly, 1994]. В условиях активности «супранациональных» акторов в их «зонах жизненных интересов» [Rosenau, 1990, p. 454–459] пространственно-временная дистанция дает ключ для понимания глобализации, которая, как считается, несет больше равенства в гендерные отношения, открывая новые жизненные перспективы [Гидденс, 2011, с. 40–43]. Международные организации и сети, работающие ради благополучия будущих поколений, считают формирование глобального гражданского общества фоном современной истории: «Движения за демократию и гражданские права, защиту окружающей среды и политику Зеленых, феминистскую реинтерпретацию и мир являются механизмами распространения новых образов солидарности» [Гайнутдинова, 2009, с. 251–253]. Западный образец модернизации разрушает традиционализмы, но

создаются альтернативные модели со стороны светских и религиозных акторов [Гайнутдинова, 2009, с. 80–83], кроме «сторонников» глобализации действуют силы сопротивления ей: «альтернативисты», «изоляционисты» и «реформисты» [там же, с. 271–272].

В-четвертых, в политических конфликтах значима социально-временная идентичность, характеризующая систему «образа мира» индивида или группы, отражающая интегрированность в окружающую среду и представления о ее прошлом, настоящем и будущем через осознание времени своего существования в соотноении с общественными событиями, и своевременности форм своего взаимодействия с государством и обществом. Символические структуры неотделимы от политического процесса, что в полной мере проявляется в коммуникациях вокруг памяти, являющейся поставщиком репрезентаций (альтернативной) истории, а также мифом для обоснования политической идентичности [Завершинский, 2012, с. 152–153]. Образы прошлого используются и в политической социализации населения, и для выражения протеста. Государство всегда стремится к формированию универсального исторического дискурса, но альтернативная история «подавленных групп» тоже постоянно присутствует в виде практик сопротивления (резистенции), рождая скрытые послания к контрпамяти [Скотт, 2005; Фуко, 1996; Gutmann, 1993]. Социальная память в символической форме фиксирует переинтерпретации официальных локальных «режимов памяти», транслирует столкновение интерпретаций исторического времени в глобальном пространстве [Simonova, 2012].

В-пятых, национальное государство на институциональном уровне играет роль кодификатора социальных и гендерных статусов, конструктора и контролера интерпретаций событий, в том числе использования символов в политической коммуникации, где акция поддержки или протеста (включая прямое действие, современное искусство и социальную работу) является одним из ключевых компонентов. В акции-событии символы играют важную роль, побуждая к реагированию действием [Бочаров, 2011, с. 275–304]. Гендер рассматривается и как культурный символ, и как стратифицирующий институт с отношениями власти, правилами, идеологиями равенства или дифференциации, имеющими свою историю, динамику изменения ролей и идентичностей [Martin, 2004]. Патриархат может сосуществовать с равенством, но в условиях демократии под воздействием коллективных действий или индивидуального активизма происходят институциональные изменения, влияющие на культурные ожидания [Risman, 2004, p. 433–436].

Недемократические режимы, унифицирующие нормы поведения в публичной и частной сферах, не оставляют возможностей для персонального выбора. Гендерные роли имеют устойчивые стереотипы, способствующие их интерпретации, но интегративный подход взаимопересечений [Intersectionality..., 2009] демонстрирует значимость анализа производства гендера в ситуационном взаимодействии с включением иных категорий идентичности (возраст, класс, раса и т.п.), образы которых не всегда сочетаются.

Пересечения гендерного и социально-временного измерений «протестного нарратива» значимы для анализа репрезентаций акторов именно несистемной оппозиции, пытавшихся апеллировать к контрсториям, создавая контрдискурс в условиях производства неравенств официальным дискурсом и законодательным оформлением гендерной политики. Недостаток общественной рефлексии политик памяти тоже воспроизводит зоны риска социальных конфликтов, что на эмпирическом уровне можно наблюдать на примерах индивидуальных мифов акторов протеста.

Символические репрезентации в коллективном нарративе

В исследовании использована мультиперспективная методология, включившая элементы нарративного анализа, визуальной политологии, дискурс-анализа и проективных техник анализа бренда [см.: Леонтович, 2011; Попова, 2011]. Эмпирический материал собран методом сплошного включенного неструктурированного наблюдения в сети Facebook. Ежедневно с 5 декабря 2011 г. по 12 июня 2012 г. изучались индивидуальные посты, статьи из блогов и комментарии, видеосюжеты, демотиваторы в аккаунтах лидеров протестной коммуникации. Первоначальный состав единиц анализа¹ был определен на основании активности в движении «белой ленты» против фальсификации результатов выборов и расширился по мере развития протестного движения вплоть до образования Координационного совета оппозиции. Дискурсивный компонент взят из программ телеканала «Дождь», определявшего медиаперсон, выступавших от лица протестующих. В технике

¹ В первоначальный список вошли: И. Яшин, А. Навальный, С. Удальцов, Б. Немцов, О. Романова, К. Собчак, И. Пономарев, Г. Гудков, Б. Рыльская, Е. Чирикова.

словесных ассоциаций проведено обсуждение в трех экспертных группах¹. Результат показал, что в многообразии самопрезентаций оппозиции эклектично объединены разные пласты дискурсивных и протестных практик, демонстрируются гендерные режимы, принадлежащие к разным историческим периодам (от дореволюционного до постсоветского). Они проявляются в репрезентациях всех акторов в зависимости от необходимости правильного ролевого исполнения свойственного контр- и субкультуре образа.

Время выборов интериоризировало представление о прошлом (как механизм идентификации) социальных групп, повлекло переосмысление траекторий политического процесса. Ущемление прав человека под знаком «традиционных ценностей» провоцировало протест, активизируя осознание необходимости политических изменений в сторону демократизации. Позиционирование и дискурс системных игроков [см: Попова, 2012], «застолбивших» структурные и идеологические ниши патриотических сателлитов, при отсутствии публичного обсуждения исторической памяти пропагандировали идеализацию сталинизма, солидаризацию с властью в выстраивании общественных отношений на (ультра)консервативной платформе с доминированием православия, что, на наш взгляд, создавало барьеры для гражданского действия.

Обращение к прошлому: Игра символами и смыслами

Еще в декабре 2011 г. проявилась «героизация» лидеров, сопровождавшаяся активным социально-политическим мифотворчеством. По результатам экспертного обсуждения для описания образов лидеров несистемной оппозиции была выбрана темпоральная шкала символического регресса / прогресса, позволяющая учитывать наличие в индивидуальных мифах сложной палитры аналогов в истории страны. Конструируемые образы вызывают также ассоциации и с фигурами российской политической сцены, и с постидеологическим контекстом глобализирующейся современности; данное

¹ Каждая из 5–6 человек с высшим образованием (социологи, философы, политологи, историки, культурологи и психологи). Все имели опыт наблюдения за фигурами протеста. Задачей обсуждения было уточнение интерпретации автора по: 1) правильности определения индивидуального мифа; 2) аутентичности для целевой группы и идеологической направленности формируемого дискурса; 3) параллелям с историей.

обстоятельство было использовано в качестве второго компонента описания образов общественно-политических активистов.

А. Навальный – «зеркальная дихотомия В. Путина» (общественный национализм vs. государственный). Формированию имиджа националистического вождя способствовала интерпретация бывших однопартийцев Навального из «Яблока». Результатом корректировки образа стало соответствие «лицу» гибридной национал-демократической идеологической формулы. Редкие публичные выступления по ТВ позволяют отнести его к умеренно правым сторонникам глобализации (радикалы его не признают). «Демократическая общественность» воспринимает образ как амбивалентный из-за постов в блогах, но принадлежность к «буржуа» не оспаривается, демонстрируется и через модель брака (жена-домохозяйка, поддерживающая карьеру мужа).

С. Удальцов – «потомственный профессиональный революционер» (альтер-эго «обуржуазившегося» Г. Зюганова), цельный образ, романтизируемый левой молодежью, в среде которой культивирована харизма его прадеда, героя революции и Гражданской войны. Символическая инверсия к началу XX в. проявляется в методах борьбы с капиталистическим «кровоавым» режимом, в формах персонального сопротивления ему, в лозунгах, поддерживаемых преданными соратниками и женой. Репрезентирует субкультуры социалистов-«альтернативистов».

И. Яшин – «постмодернистский либерал-демократ» (гибрид Д. Медведева и Г. Явлинского) проявился в коллективном действии «оккупай», имевшем форму ненасильственного гражданского неповиновения. Образ молодого, гламурного, неженатого человека подходит под театральные термины «герой-любовник», что, кстати, использовано через репрезентацию сюжета любовного романа с К. Собчак.

Э. Лимонов – «экс-жертва идеологических репрессий» (ультрарадикальный аналог Д. Рогозина). Олицетворяет один из векторов многокомпонентной субкультуры радикалов, общими чертами которой являются симпатии к милитаризму, маскулинизм (признание женщины в формате «гламур-фа»), ксенофобский дискурс и практики. Интеллектуал-креатор, идеолог национал-большевизма позднесоветского периода, с которым и ассоциируется его образ (в последующий период расцвели конкурирующие направления, специализирующиеся на арийско-славянской и иных языческих мифологемах неонацизма). Ресурс ореола «гонимого» используется им наравне с успешной творческой реализацией «классика жанра» и материальной состоятельностью.

*Владимир Тор (В. Кралин) – «общественный националист и православный экс-неоязычник», «осколочная» фигура политического пейзажа периода Б. Ельцина (в руководстве «КРО – Родина» являлся соратником Д. Рогозина), один из организаторов «русских маршей». В протесте репрезентировал «коллективное лицо» праворадикального вектора (спектр *неоязычников и родноверов*), которые апеллируют и к до-Рюриковой Руси, и к монархической идеологии имперской России.*

Б. Немцов – «(освободительный) радикальный либерал» (осиротевшее дитя системы). Образ соответствует идеям радикального либерализма, отличающимся элитизмом взглядов на демократию, функционирование которой невозможно без прогрессивного правительства, направляемого макроэкономическими концепциями [Кругман, 2009]. Исторические параллели сил с лозунгами упразднения самодержавия и опорой на интеллигенцию. Например, конституционно-демократическая партия (кадеты) под лидерством П.Н. Милюкова активно участвовала в революциях начала XX в.

А. Кудрин – «герой поневоле» (отставной «член клуба» с коннотациями потенциального внутриэлитного борца к позднесоветскому Б. Ельцину) рассматривается как «реформист». На изучаемом этапе не являлся лидером общественной группы, однако ресурсы прежних позиций, принадлежность к глобальной экономической структуре позволяют определить его как социал-либерала (кейнсианца), а память о результатах управления экономикой на посту министра дает мобилизационный потенциал через апелляции и к социал-демократическому ресоветизационному рессентименту.

О. Шейн – «партийно-идейный неодицидент» (комплементарная пара С. Миронова) интересен с точки зрения памяти брежневского застоя, символически отсылает к диссидентским формам протеста.

И. Пономарев и Д. Гудков, несмотря на разные траектории попадания на депутатские позиции, представляют образ «блудного сына системы» (конъюнктурно-системного внесистемщика). Оба имеют «шлейф» семейственности, поскольку обязаны положением ресурсу семьи, принадлежащей к элите; оба до описываемых событий выстраивали карьеры в русле предоставляемых системой возможностей с оговоркой на «дело ЮКОСа» (И. Пономарев); оба сторонники глобализации, используют ее экономические плоды; оба современные горожане, а идеологическая направленность вряд ли интересует и их самих.

Г. Гудков – «патриот-республиканец и правдолюб», как участники обсуждения охарактеризовали образ экс-сотрудника органов безопасности, успешного «силового предпринимателя» и экс-парламентария, чей взлет пришелся на период правления В. Путина. Правдоискательство, репрезентируемое этой фигурой, как правило, импонирует массам, его символическое послание можно считать вневременным, архетипичным.

Подобной «всевременностью» отмечены и образы **контркультурных интеллектуалов-креаторов**, активно участвовавших в протесте: творческая интеллигенция на протяжении всей российской и советской истории выделяла из своей среды «пророков-и-бунтарей».

Д. Быков – «гражданин-левый-поэт» (современная проекция *В. Маяковского*), сатирик-креатор с выраженной (антитоталитарной) гражданской позицией (аналоги И. Крылов и М. Салтыков-Щедрин).

Б. Акунин (Г. Чхартишвили) – «интеллектуальный активист внутренней эмиграции», олицетворяет спектр советского самиздата и диссидентства от Б. Пастернака до М. Славянского-Терца.

Л. Рубинштейн – «человек эпохи», креатор-концептуалист: критик, поэт и эссеист из поколения «шестидесятников», поддерживающий постматериалистические ценности.

С. Пархоменко – «пассионарный космополит» (апологет гражданского общества) через активность в созданном им «обществе синих ведерок» и проекта «диссернет», журналист и издатель.

М. Шац – «креатор-шоумен-массовик» является «гонимым», поскольку закрытие руководством «СТС» всех шоу-программ с его авторством и участием соотносимо с репрессиями в виде «запрета на профессию».

Творческие субкультуры представляют *П. Павленский* – «радикальный художник *new-social-art*», использующий переосмысленные старые практики (тюремного) протеста, выступает в концептуальной парадигме современного искусства на пересечении с дискурсом биополитики.

П. Верзилов – «акционист-анархо-хулиган», основатель группы «Война» и муж Н. Толоконниковой, несмотря на личную известность, в настоящий момент в доминирующей гендерно-ролевой позиции выступает «женщина-деятель», а мужчина (впервые?) в качестве «мужа (нео)декабристки».

Наиболее драматична ситуация **участников коллективного действия** «Марш миллионов» из 27 «узников Болотной»¹ разных возрастов, идеологий и степени причастности к политическому активизму (в их числе: по три анархиста и левых активиста, два националиста, по одному члену «Партии 5 декабря», РПР-Парнас, движения «Солидарность» и эколог-антифашист, а также четыре студента, три бизнесмена, актер, ученый, художник, электромонтажник, инвалид и пенсионерка). Их уголовное преследование за «участие в массовых беспорядках» может быть поставлено в один символический ряд с советскими репрессиями против диссидентов, проходившими с использованием психиатрии и суда как инструмента расправы с инакомыслием. Например, Международной амнистией в качестве «узников совести» признаны ослепший в тюрьме активист «Левого фронта» *В. Акименков*, инвалид *М. Косенко*, которому назначено принудительное психиатрическое лечение, и страдающий сердечными болями *А. Савёлов*, впервые участвовавший в митинге, арестован потому, что оказался в месте прорыва оцепления. *А. Долматов*, сторонник «Другой России», трагически закончил жизнь в депортационной тюрьме в Нидерландах, а его однопартиец *А. Каменский* вообще не участвовал в митинге, но получил статус подозреваемого. Правозащитник из «Левого социалистического действия» *Н. Кавказский* в СИЗО писал статьи, в частности «Что делать с тюрьмами?» (опубликована на «Эхо Москвы»), «Стругацкие: прошлое и будущее», «Гражданское общество, самоуправление и шведский антифашизм». Большинство «узников» ситуационно оказались в центре событий, как кировский актер Л. Ковязин или директор турфирмы О. Архипенко, участниками массовых беспорядков себя не считают, поскольку либо проявляли самозащиту, либо защищали других людей от нападений ОМОНа.

Фокус на гендер: Новые игры о старой власти?

В ряду образов появившихся лидеров интерес вызывают саморепрезентации женщин². Палитра символически-темпоральных проекций во многом схожа с мужской. Большинство из вовлечен-

¹ На момент написания часть освобождена по амнистии, не признав вины.

² «Харизматические женщины хорошо борются с режимом», – в социальных сетях заявил А. Магун, поясняя причины голосования в Координационный совет оппозиции.

ных в протест женщин, будучи в действительности активными публичными деятелями, наделенными субъектностью [Фиттерман, 2013], оказались представлены либо как канонические рекламные образы общества потребления [Самуцевич, 2012], либо как ввязавшиеся в протест в силу родственных отношений с протестующими мужчинами¹.

Анализ женских образов кроме символически-идейного и профессионально-статусного ресурса требует включать рамку дискурса «женской власти» как мобилизации (традиционной) женственности для компенсации неравенств в конкурентной публичной сфере [см.: Российский... 2007]. Таким образом, в фокус анализа добавлен акцент на случаи, иллюстрирующие: а) ресурсы использования легитимной модели женской гражданской активности «в защиту домашних»; б) опору на институциональные структуры (глобального) гражданского общества в социально значимой работе; в) скандалы вокруг «не правильно» репрезентируемой женственности.

В совокупности «**семейную тему**» репрезентировали жены, сестры, дочери и даже в символическом смысле «бабушки».

Ю. Навальная – «*просто жена*» и с момента судебных преследований «*героиня поневоле*», вышла из сферы домохозяйства, поддержав мужа на выборах мэра Москвы в 2013 г.

А. Удальцова – «*боевая подруга*», параллели в истории большевистского подполья, наиболее известна Н. Крупская.

Н. Толоконникова – «*соратник-конкурент*» (жена) лидера группы «Война», «*интеллектуальная секстремистка*», пропагандист анархистских мировоззренческих убеждений и продолжатель общего дела.

Т. Лазарева – «*жена-соратник*» М. Шаца, *креатор-шоумен-массовик* в женском исполнении, совместно с мужем поддерживающая и работу благотворительных фондов, помогающих больным детям.

О. Романова – «*(нео)диссидентская жена*», профессионал-креатор, но, защищая от судебно-пенитенциарного произвола своего мужа А. Козлова, ставшая «*субститутотом семьи*» для заключенных, создав организацию «Русь сидящая».

¹Высока роль «семейственности» в политике в изучаемый период, что может свидетельствовать о становлении сословности (при вовлечении межпоколенной структуры расширенной семьи) и о повышении роли семейных ценностей.

И. Прохорова – «гендерный субститут *М. Прохорова*», сказочно-архетипический образ *сестрицы Алёнушки*, обладающая культурным капиталом и профессиональными социальными сетями, реализовала избирательную кампанию брата, смягчив негативный имидж олигарха, соотносимый с историческим временем приватизации.

И. Ясина – «дочь неолиберала *Е. Ясина*», соратника Б. Ельцина, которую можно охарактеризовать как *социал-либерального демократа, правозащитника и гражданского активиста-интеллектуала*, человека с трудной судьбой, но сильным характером.

К. Собчак – «заблудшее дитя системы», наследница (символического) политического капитала отца, первого мэра Ленинграда, и экс-сенатора Л. Нарусовой, а также «*романтическая героиня*» протеста.

Символически *Л. Алексеева* – «бабушка российской правозащиты», образ цельный, действующий на протяжении от застоя до текущего дня и репрезентирующий несломленный дух диссидентно-шестидесятников, активно вовлеченных в общественно-политическую жизнь глобального гражданского общества.

А. Пугачева – «бабушка российского поп-арта», амбивалентный персонаж с противоречивыми репрезентациями, но охватывающими тот же исторический период (вспомним советский анекдот: «Кто такой Брежнев? Это Генсек, живший во времена А. Пугачевой»), использовала символический капитал эстрадного бизнеса (в том числе эпатажа).

Социально-гражданский институционально-профессиональный ресурс проявился в образах: лидера социальной организации Доктора Лизы (*Е. Глинка*) – «*дамы-благотворителя*» («*мамы*» для *бездомных*), а также лидеров и экспертов некоммерческих организаций *Н. Таубиной* (фонд «Общественный вердикт», защищающий права человека) и *Е. Панфиловой* (Трансперенси Интернэшнл, работающий над преодолением коррупции), репрезентирующих *апологетов глобального гражданского общества*, обеспечивавших защиту, юридическое сопровождение и аналитическое общественное наблюдение.

К ним можно добавить **творческую интеллигенцию**: в образе *Л. Ахеджаковой* репрезентирована моральная закалка «*советской культурной интеллигенции*», ставшей жертвой трансформаций, но сохранившей самоуважение и совесть.

Л. Улицкая объединяет в своем образе женский вариант «*креатора, космополита и интеллектуального активиста*», отмеченных в разнообразии мужских образов.

Женские образы **общественно-политических активисток** представлены молодежью, в частности фигурантками «Болотного дела»: «белоленточным либералом» и соучредителем «Партии 5 декабря» *М. Бароновой*, «Болотной невестой» анархисткой *А. Наумовой (Духаниной)* и «ветераном протеста» активисткой «Солидарности» *А. Рыбаченко*.

Скандалы вокруг «неправильной» женственности обычно либо сексуализированы, либо подчеркивают «нетипичную» репрезентацию и «ненадлежащее» исполнение ролей, что, согласно феминистской мысли, используется в дискредитации лидеров-женщин. Наши наблюдения показали, что на начальной стадии протестного движения светский обозреватель и популярный блоггер *Бошена Рыльская (Е. Рынская)*, в чьем образе совмещены «*секси-душечка*» и «*экзальтированный гламур*», быстро покинула «сцену» протеста из-за призывов «выколоть глаза» задержавшим ее бойцам ОМОНа.

Скандал с сексуальной подоплекой коснулся *Е. Чириковой*, представленной в ходе «войны компроматов» в качестве *близкой подруги Б. Немцова*. Хотя ее прежняя общественная деятельность репрезентирует активного «*экологиста-альтерглобалиста*», после опубликования телефонных разговоров Немцова она не выступала в лидерских ролях.

Наконец, скандально-драматичным по последствиям оказался *профеминистский new-social-art-акционизм Pussy Riot (М. Алехина, Е. Самуцевич, Н. Толоконникова)*, в котором можно усмотреть (само)позиционирование в духе постмодерна. Антиклерикальные акции проходят не только в России, артикулируя политические цели. Перформативные формы и «нарушения табу» используются в политическом феминистском протесте, чтобы проблемный вопрос в символической плоскости объяснял аудиториям необходимые изменения. Акция в Храме Христа Спасителя вызвала ожесточенную ценностную дискуссию, поставив проблемы гражданского участия, переосмысления государственно-религиозных отношений, отказывающихся в правах меньшинствам и социальным группам на гендерной основе [Кондаков, 2012]. «Высказывание» носило футуристический, ориентированный на мультипликационный эффект символический заряд. Оно было субъектно и успешно, поскольку услышано адресатами. Об этом свидетельствует жесткость ответных мер власти, осознавшей, что акция-перформанс представляла символическое покушение на «место суверена» (легитимность которого, впрочем, вопрошалась во всем протесте). Символический

ключ к ее интерпретации из всех протестных групп оказались способны подобрать немногие носители демократического гражданского самосознания, частью которого является идеология недискриминационных отношений, социальной солидарности представителей разных полов, возрастов, классов, этничностей, национальностей...

Выводы

Все акторы российского политического процесса используют символизм исторической памяти как инструмент политической борьбы. Поскольку символические репрезентации власти усиливаются в авторитарном имперско-монархическом и «православизированно-маскулинистском» трендах, протестующие «обыгрывают» реконструкции и плюральность исторических дискурсов контрпамяти.

Избранный репертуар протеста в совокупности форм напоминает карнавал с его творческой самопрезентацией, сценической презентацией и перформативной демонстрацией посредством интеракции потребностей социальных контр- и субкультурных групп. Спектакль протеста, как арсенал политической коммуникации, являет резистентную попытку представления власти неоднородность социума и наличие контрдискурсов. История служит резервуаром «деталей» для конструирования идентичностей. Субкультуры рекрутируют образы из исторического меганарратива (в том числе национального государства) периода их расцвета (как жанровую специфику для узнаваемости среди сторонников и как «клише» для прочтения публикой).

Гендер в протестном сегменте встраивается в дискурс семейных ценностей, но артикулирует запрос на плюральность типа партнерства, которое репрезентируется с привлечением исторического символизма и смысловых коннотаций субкультур. Однако женщины самопозиционируются через «традиционную» причастность к приватной сфере, даже обладая ресурсами лидерства, профессионального и материального статуса.

В целом несистемные акторы демонстрируют интертекстуальное, полифоничное, парадиалогичное видение мира в «цитировании» политической истории страны в протесте, пока представленном как социализирующая игра... Но идейно-активистский спектр и мобилизационный потенциал его символизма, если каналы согласования интересов будут закрыты для оппозиции, могут привести к нешуточным последствиям.

Литература

- Бабаян И.В. Социальное время: проблема и подходы // Известия Саратовского университета. Серия: Социология. Политология. – Саратов, 2011. – Т. 11, Вып. 2. – С. 45–48.
- Барандова Т.Л., Константинова М.Ю. Разрывы и инверсии социального времени как рамки анализа женского активизма «поколения нового протеста» (на примере антиклерикальной арт-акции Pussy Riot) // Материалы IV Очередного Всероссийского социологического конгресса «Социология и общество: глобальные вызовы и региональное развитие». – Уфа, 2012. – С. 7667–7679. – Режим доступа: <http://www.isras.ru/files/File/congress2012/part57.pdf> (Дата посещения: 30.10.2013.)
- Бахтин М.М. Собрание сочинений: в 7 т. – М.: Языки славянских культур, 2008. – Т. 4: Франсуа Рабле в истории реализма. Материалы к книге о Рабле. – 752 с.
- Бочаров В.В. Символы власти или власть символов? // Антропология власти: Хрестоматия по политической антропологии: в 2-х т. / Сост. и отв. ред. В.В. Бочаров. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006. – Т. 1: Власть в антропологическом дискурсе. – С. 275–304.
- Гайнутдинова Л.А. Гражданское общество и процесс глобализации. – СПб.: Изд-во Русской христианской гуманитарной академии, 2009. – 359 с.
- Гидденс Э. Последствия современности / Пер. с англ. Г. Ольховиков, Д. Кибальчич. – М.: Праксис, 2011. – 352 с.
- Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. – М.: КАНОН-пресс-Ц, 2000. – 304 с.
- Дебор Г.Э. Общество спектакля / Пер. А. Уриновского. – М.: Изд-во «Опустошитель», 2011. – 180 с.
- Завершинский К.Ф. Символические структуры политической памяти // Символическая политика: Сб. науч. трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. полит. науки; Отв. ред.: Малинова О.Ю. – М., 2012. – Вып. 1: Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс. – С. 149–163.
- Кассирер Э. Философия символических форм. – М.: Академический проект, 2011. – Т. 2: Мифологическое мышление / Пер. с нем. С.А. Ромашко. – 279 с.
- Кондаков А. Правовые раны: Значение прав человека для геев и лесбиянок в России // Laboratorium. – М., 2012. – № 4 (3). – С. 84–104.
- Кругман П. Кредо либерала. – М.: Изд-во «Европа», 2009. – 329 с.
- Леонтович О.А. Методы коммуникативных исследований. – М.: Гнозис, 2011. – 224 с.
- Мироненко С.В. Репрезентация политики: Монография. – М.: СамоТёка: Осознание, 2010. – 320 с.
- Попова О.В. Политический анализ и прогнозирование: учебник. – М.: Аспект Пресс, 2011. – 464 с.
- Попова О.В. Символическая репрезентация прошлого и настоящего России в президентской кампании 2012 г. // Символическая политика: Сб. науч. трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. полит. науки; Отв.

- ред.: Малинова О.Ю. – М., 2012. – Вып. 1: Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс. – С. 222–238.
- Поцелуев С.П. «Символическая политика»: К истории концепта // Символическая политика: Сб. науч. трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. полит. науки; Отв. ред.: Малинова О.Ю. – М., 2012. – Вып. 1: Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс. – С. 17–53.
- Рабардель П. Люди и технологии: Когнитивный подход к анализу современных инструментов. – М.: Институт психологии РАН, 1998. – 264 с.
- Робертс Б. Конструирование индивидуальных мифов // Интеракция. Интервью. Интерпретация. – М., 2004. – № 1. – С. 7–15.
- Российский гендерный порядок: социологический подход: Монография / Под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. – СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2007. – 306 с.
- Самуцевич Е. Выступление на Круглом столе в поддержку Марии АLEXИНОЙ «Класс, гендер, политика: Россия после Pussy Riot»: [Видеоролик]. – СПб., 2013. – 16 января. – Режим доступа: <http://www.youtube.com/watch?v=hKnDHiDvgnI> (Дата посещения: 12.10.2013.)
- Скотт Д. Благими намерениями государства. Почему и как проваливались проекты улучшения условий человеческой жизни / Пер. с англ. Э.Н. Гусинского, Ю.И. Турчаниновой. – М.: Университетская книга, 2005. – 576 с.
- Тернер Дж. Структура социологической теории. – М.: Прогресс, 1985. – 472 с.
- Фиттерман Л. Женское лицо оппозиции // Ридерз дайджест. – М., 2013. – 6 ноября. – Режим доступа: <http://www.rd.ru/zhenskoe-litso-oppozitsii> (Дата посещения: 30.10.2013.)
- Функенштейн А. Коллективная память и историческое сознание // История и коллективная память: Сб. ст. по еврейской историографии / Пер. Г. Зеленина, Р. Нудельман, Н.-Э. Яглом; Под. ред. И. Лурье. – М.: Мосты культуры; Иерусалим: Гешарим, 2008. – С. 15–40.
- Штомпка П. Социология. Анализ современного общества / Пер. с польск. С.М. Червонной. – М.: Логос, 2005. – 664 с.
- Ярская В.Н. Инверсия времени как механизм памяти в контексте культуры // Власть времени: социальные границы памяти / Под ред. В.Н. Ярской, Е.Р. Ярской-Смирновой. – М.: ООО «Вариант»: ЦСГИ, 2011. – С. 11–24.
- Alexander J., Giesen B., Mast J. Social performance: Symbolic action, cultural pragmatics, and ritual. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2006. – 374 p.
- Gutmann M. Ritual of resistance: A critique the theory of everyday forms of resistance // Latin American perspectives. – L., 1993. – Vol. 20, N 2. – P. 74–96.
- Intersectionality and beyond: Law power and the politics of location / Ed. by E. Grabham, et al. – N.Y.: Routledge-Cavendish, 2009. – 377 p.
- Martin P.Y. Gender as social institution // Social forces. – Oxford, 2004. – Vol. 82, N 4. – P. 1249–1273.
- Ridgeway C.L., Correll S.J. Unpacking the gender system: A theoretical perspective on gender beliefs and social relations // Gender & Society. – L., 2004. – Vol. 18, N 4. – P. 510–531.
- Risman B.J. Gender as a social structure: Theory wrestling with activism // Gender & society. – L., 2004. – Vol. 18, N 4. – P. 429–500.

- Rosenau J. Turbulence in world politics: A theory of change and continuity. – Princeton, N.J.: Princeton univ. press, 1990. – 480 p.
- Simonova V. The Evenki memorial tree and trail: Negotiating with a memorial regime in the North Baikal, Siberia // Journal of ethnology and folkloristics. – Tartu, 2012. – Vol. 6, N 1. – P. 49–69.
- Tilly Ch. The time of States // Social research. – N.Y., 1994. – Vol. 61, Is. 2. – P. 269–295.

ОБЩЕСТВЕННАЯ МЫСЛЬ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ «СРЕДНЕГО КЛАССА» В РОССИИ

Я.М. Щукин

ПОЛСТЕРЫ И СРЕДНИЙ КЛАСС¹

Организации, занимающиеся исследованием общественного мнения (полстеры – от англ. *public opinion poll* – опрос общественного мнения), оказывают заметное влияние на формирование представлений читающей публики о современном российском социуме и его структуре. Следует отметить, что в России, в отличие от многих других стран, «изучение общественного мнения» и «социология» зачастую рассматриваются как синонимы. Предполагается, что полстеры не только измеряют общественное мнение, но и рассказывают обществу о том, как оно устроено. При этом стандартных форм описания социальной структуры не существует. Советская схема «пролетариат / трудовое крестьянство / “прослойка” интеллигенция» очевидно неадекватна постсоветской реальности – для характеристики современной социальной структуры требуются иные категории. Описывая новые социальные группы, российские полстеры попутно вырабатывают новый язык для описания социальной реальности. Констатируя: «У нас есть социальные группы А и В», – они фактически утверждают: «Наше общество устроено таким-то образом». В данной статье на основе анализа подходов, предложенных тремя ведущими российскими полстерами – Левада-Центром, ВЦИОМом и ФОМом, – мы попытаемся показать, как деятельность полстерских организаций влияет на общественные дискуссии о среднем классе и о путях развития России.

¹ Исследование проводится при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, грант № 13-03-00 553а.

Все три организации являются «фабриками опросов»¹, которые проводят как общественно-политические, так и маркетинговые исследования. Они используют различные способы информирования широкой публики о своей работе. Во-первых, у всех трех организаций имеются вебсайты², на которых публикуются результаты исследований. Во-вторых, представители средств массовой информации включают предоставляемые полстерскими организациями данные, а также их интерпретации в собственные материалы. В-третьих, социологи из этих центров публикуют статьи в «непрофессиональных» изданиях, а также дают им интервью. Наконец, они пишут для профессиональных изданий (в том числе – и аффилированных с рассматриваемыми здесь центрами). Так, Левада-Центр издает «Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии», ВЦИОМ – «Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены»; ФОМ с 2006 по 2008 г. издавал журнал «Социальная реальность». Таким образом, все три центра достаточно широко представлены в информационном поле. Вместе с тем есть некоторые различия с точки зрения налаженных каналов сотрудничества с конкретными изданиями: если интервью с В. Федоровым (ВЦИОМ) скорее можно обнаружить в журнале «Эксперт», который считается прокремлевским, то статью Б. Дубина (Левада-Центр) больше шансов прочесть в оппозиционной «Новой Газете».

¹Левада-Центр – старейшая организация, занимающаяся исследованием общественного мнения в России; он был основан в 1987 г. и носил название ВЦИОМ (Всесоюзный центр изучения общественного мнения). Первым руководителем центра была Т. Заславская; Ю. Левада стал его директором в 1988 г. В 2003 г. в результате конфликта между Ю. Левадой и администрацией президента Ю. Левада и ряд сотрудников покинули центр и образовали новую организацию, которая сначала носила название ВЦИОМ-А, а затем стала именоваться Левада-Центром. В настоящий момент директором центра является Л. Гудков. После описанных событий 2003 г. ВЦИОМ возглавил В. Федоров, и фактически была создана новая организация с новыми сотрудниками. Таким образом, наследником «старого» ВЦИОМа следует считать Левада-Центр, а не «новый» ВЦИОМ. ФОМ (фонд «Общественное мнение») был создан в рамках ВЦИОМ в 1991 г., а в 1992 г. стал самостоятельной организацией. Таким образом, первоначальный состав сотрудников ФОМ состоял из бывших сотрудников «старого» ВЦИОМа. ФОМ руководит А. Ослон.

²Левада-Центр: [Сайт Левада-Центра]. – Режим доступа: <http://www.levada.ru>; Фонд «Общественное мнение»: [Сайт ФОМа]. – Режим доступа: <http://fom.ru>; ВЦИОМ: [Сайт ВЦИОМа]. – Режим доступа: <http://wciom.ru>

Описание новой социальной группы

Между тремя организациями не существует принципиальных различий в подходах к эмпирическому описанию «среднего класса». Все выделяют несколько критериев принадлежности к среднему классу – образование, доход, «модели поведения» и т.д. В. Федоров (ВЦИОМ) так описывает этот процесс:

«А в России еще проблема в том, что само понятие среднего класса у нас не устоялось. Самоотнесение человека – необычно для большинства россиян. Поэтому, когда мы проводим опросы, сталкиваемся со сложностью, что никто не понимает, что такое средний класс. Мы вынуждены моделировать сами. Например, такой признак свидетельствует, что человек относится к среднему классу или нет? Предлагаем 20 признаков, из них выбираем пять наиболее популярных и идем на второй круг. Исходя из этого признака – вы отнесли себя к среднему классу? Выясняется, что основные признаки, по которым россияне согласны отнести к среднему классу, такие – способность содержать себя, не роскошь, не богатство, но и не бедность. Вторым признаком – достойное жилье, представления о достойном жилье у россиян сильно отличаются от представления москвичей и стран Запада. Мы привыкли жить в небольших квартирах. Главное, чтобы была своя квартира, – если она есть – мечта сбылась. Дальше – чтобы были деньги на ремонт. Англичанин или француз не назвал бы это достойным жильем. Другой признак – два автомобиля на семью, способность дать хорошее образование своим детям, в том числе платное. Эти признаки наиболее часто употребляются россиянами как признаки принадлежности к среднему классу. После этого мы спросили – вы можете себя отнести к среднему классу? У нас получилось несколько цифр – от 18 до 42% опрошенных россиян, в зависимости от признака, готовы отнести себя к среднему классу. Мы идем по нижней планке – 18–20%» [Федоров, Бадковский, 2008]

Решение о том, «по какой планке идти», является достаточно произвольным. Соответственно, доля российских граждан, которые принадлежат к среднему классу, может составлять от 15 до 50%.

Можно, конечно, посмеяться над «точностью» такого социального измерения, но интереснее проанализировать социальную

функцию подобных утверждений¹. С началом реформ уровень жизни значительной части российских граждан понизился. Большинство могло про себя сказать: «Нам стало хуже». Даже достаточно скромный потребительский идеал позднего застоя – квартира, машина, дача – стал казаться чем-то малодостижимым. В результате многие граждане стали считать себя «неуспешными», что, безусловно, плохо для социальной жизни. Возникло новое понятие «фолк-социология» – «новые русские». С одной стороны, это люди «сверхуспешные», которые не только осуществили советский потребительский идеал, но и превзошли его в разы. С другой стороны, в массовом сознании они явно представлялись как «не-мы» / «другие» – «новые русские» стали героями анекдотов, как евреи или чукчи. Получалось, что успех – это что-то нехарактерное для «нас», т.е. обычных людей. И вот на фоне такой «депрессивной социологии» возникает новое понятие – «средний класс». С одной стороны, это явно не «новые русские». С другой стороны, неуспешными этих людей тоже назвать нельзя. Это наемные работники, т.е. категория, по определению массовая. При этом их уровень дохода позволяет нормально жить – т.е. выводит за рамки группы «стало хуже». Возникла история (относительно) массового успеха – явление, для любого общества очень полезное.

Полстеры-социологи оказались перед выбором между двумя возможными подходами к описанию среднего класса: ограничительным и расширительным. В первом случае требовалось выбрать более строгие критерии, ограничивающие «доступ» в средний класс. Например, применительно к 2000 г., можно было бы сказать, что членами среднего класса могут считаться индивиды, имеющие месячный доход не ниже \$2000 на члена семьи, обязательное высшее образование, машину-иномарку, четырехкомнатную квартиру с евроремонтом и имеющие возможность отдыхать за границей два раза в год. В случае же расширительного подхода планка должна быть понижена: например, уровень дохода – около \$1000 в Москве и \$500 в провинции, образование – от средне-технического и выше, машина может быть любой, квартира – только чтобы не «хрущевка», а отдыхать за границей можно раз в два года. Условия прохождения в средний класс при расширитель-

¹Многие из приведенных здесь соображений впервые возникли в ходе совместной с А. Левинсоном и О. Стучевской работой над статьей, посвященной среднему классу [Левинсон и др., 2004].

ном подходе оказываются гибкими, и средний класс получается «классом-гармошкой», который можно то расширить до 50% населения, то сузить до 15%. При этом общая установка идет именно на расширение: «Если вы сегодня еще чуть-чуть не средний класс, то завтра вы им уже станете!». Примечательно, что все три рассматриваемые нами организации сделали выбор в пользу расширительного подхода.

Такая социальная терапия была полезной для российского общества 2000-х. Создавая историю массового успеха и делая средний класс доступным для всех, полстеры-социологи помогали гражданам вырабатывать здоровую самооценку и создавать собственные истории успеха – что для взрослого человека безусловно полезно, особенно в не перегруженном гуманностью и взаимным поощрением российском обществе. Вслед за разработкой категории среднего класса наступила пора ее активного применения – стали появляться публикации «Средний класс и X»: автомобиль [Журенков, Мельников, 2012], отпуск [Яковлева, 2006], фитнес [«Люди-XXI»: Индустрия спорта и тела, 2008; Маринович, 2013]. Российским гражданам предлагалось взглянуть в социологическое зеркало и оценить себя. «Keeping up with the Joneses»¹ – ментальная операция, в разумных пределах полезная, ибо она способствует экономическому росту в масштабах страны и поддержанию хорошей самооценки на индивидуальном уровне.

Впрочем, не всем специалистам концепция «среднего класса-гармошки» кажется продуктивной. Так, социологи ФОМа сочли это понятие слишком неопределенным и в 2008 г. предложили взамен концепцию «людей-XXI». «Люди-XXI» – это «инновационный слой» российского общества, который выделяется по критерию использования как минимум шести инновационных практик из 17, разбитых на несколько групп [см.: Абрамов, 2009; «Люди-XXI»: Инновационный слой общества, 2008]:

«Новые технологии»:

1. Пользование мобильным телефоном.
2. Пользование компьютером.
3. Вождение автомобиля.

¹ Расхожая фраза в английском языке, обозначающая процесс сравнения собственного материального достатка с достатком соседей / знакомых. «Если у всех моих знакомых есть айфон, то и мне надо его купить, в независимости от того, нужен он мне или нет» – примерно такая логика.

«Активное финансовое поведение»:

4. Покупка товаров в кредит.
5. Получение банковских кредитов.
6. Обращение с валютой.
7. Пользование пластиковой карточкой.
8. Инвестирование в ценные бумаги.

«Стремление к расширению горизонта»:

9. Получение дополнительного образования.
10. Пользование Интернетом, ведение переписки по электронной почте.
11. Покупка туристического и / или спортивного снаряжения.
12. Поездки за границу.

«Рационализация времени»:

13. Доставка товаров на дом.
14. Пользование услугами домработниц и нянь.
15. Полеты на самолетах.

«Забота о себе, своем здоровье»:

16. Занятия в фитнес-центре или спорт-клубе.
17. Посещение косметических салонов.

Подход социологов ФОМа интересен, и мы к нему еще вернемся, обсуждая теории постсоветского общества, стоящие за тем или иным видением среднего класса. Здесь же отметим, что, стремясь уйти от узкого подхода, основанного на доходе / потреблении, ФОМ все равно вынужден оперировать потребительскими практиками. В 2008 г. определенный таким образом инновационный слой составлял 20% населения [«Люди-XXI»: Пресс-релиз проекта, 2008]. Термин «люди-XXI» / инновационный слой имеет гораздо меньшее хождение в прессе и обществе, чем категория «средний класс» (хотя интересно отметить его родство с понятием «креативный класс», получившим распространение позднее в связи с протестной активностью). Практики, представленные в списке, становились все более доступными для россиян на протяжении 2000-х годов, так что можно сказать, что ФОМ также использует для описания инновационного слоя, который, на мой взгляд, можно считать прямым аналогом понятия среднего класса, расширительный подход.

Эволюция темы среднего класса в общественных дискуссиях тоже может рассматриваться как история успеха. В начале – середине 2000 г. шли бесконечные споры о том, есть ли средний класс в России; те, кто признавал его существование, характеризовали его как «небольшой / нарождающийся», иногда – как «расширяющийся». Но в 2008 г. Путин сделал заявление о том, что 70% граждан России должны быть в среднем классе к 2020 г. [Путин, 2008]. А после кризиса 2008 г. стали обсуждать, «как нам сохранить средний класс», – иными словами, его существование больше не ставилось под сомнение. В настоящее время этот вопрос даже не поднимается. Полстеры сыграли немалую роль в признании данной социальной группы: благодаря им в общественной дискуссии постоянно присутствует эмпирическая информация относительно дохода, поведения и установок среднего класса. Можно сказать, что полстеры не дают среднему классу «исчезнуть».

Следует отметить, что все вышесказанное относится к среднему классу как повседневному понятию, которое используют журналисты и обычные граждане. Исследователи Левада-Центра разрабатывают данное понятие и на уровне теории, рассматривая средний класс как социального актора современного российского общества. Именно в этом смысле Л. Гудков говорит, что «у нас среднего класса нет» [Гудков, Кобызова, 2013]; а А. Левинсон говорит, что middle class произвел определенную этику, которая теперь уже этикой среднего класса не является, так как стала всеобщей [Левинсон, 2009]. Подобное теоретически-нагруженное понятие среднего класса будет рассмотрено ниже, когда речь пойдет о теории общества и о связи между средним классом и московскими протестами 2011–2013 гг.

Средний класс за пределами потребления

Помимо проблематики потребления, можно выделить несколько тем, которые присутствуют в изучении среднего класса.

Все исследователи отмечают в качестве характеристики среднего класса достигательное поведение, результатами которого являются успех и связанная с ним хорошая самооценка. Люди совершили поступок – взяли на себя ответственность за себя, свою семью, иногда – за небольшой коллектив. Они добились успеха и чувствуют, что обязаны этим успехом в основном себе [Левинсон и др., 2004; «Люди-XXI»: Инновационный слой общества, 2008].

Нередко подчеркивается, что средний класс предъявляет спрос на законность и «правила игры». Новые русские (и вообще сверхбогатые) могут действовать по партикуляристским правилам и покупать государство и правосудие; средний класс – нет. Соответственно, ему нужна законность [Левинсон и др., 2004]. Существует также во многом схожий консервативный аргумент: среднему классу есть что терять, поэтому он выступает против политических потрясений [Федоров, 2012 а].

Все исследователи отмечают связь образования и принадлежности к среднему классу. Люди с высшим образованием перепредставлены в среднем классе. Образование рассматривается россиянами как «пропуск» в средний класс [Левинсон, 2008; Шумакова, 2008]. В связи с этим показателен анализ феномена «плохого образования». Считается, что за последнее время в России появилось множество вузов с откровенно слабым уровнем преподавания. Возникает вопрос: зачем молодежь идет учиться в эти вузы, откуда возникает спрос на «плохое образование»? Оказывается, что это «плохое образование» является тем не менее хорошим социальным лифтом – т.е. увеличивает шансы человека, его получившего, на попадание в средний класс. В этих слабых вузах студентам прививают некоторые цивилизационные навыки, которые работодатели хотят видеть в сотрудниках, претендующих на «среднеклассовые» позиции [Левинсон, 2012 а].

Таким образом, личностные характеристики представителей среднего класса, отмечаемые полстерами, оказываются достаточно привлекательными: достижительская ориентация, чувство ответственности, спрос на образование и законность. Складывается представление, что наличие этого класса должно идти «на пользу» российскому обществу. Эта идея безусловно стоит за желанием различных субъектов – от социологов до власти – видеть средний класс как «расширяющийся» и постепенно захватывающий все большую часть российского общества. К проблеме связи между ростом среднего класса и развитием российского общества я вернусь в заключительной части, в следующем же разделе постараюсь показать, как данный феномен укладывается в различные теории российского общества – явные или неявные, – которыми оперируют три полстерские организации.

Средний класс и социология российского общества

В исследованиях Левада-Центра проблема среднего класса рассматривается в рамках теории «советского / постсоветского человека», изложенной в многочисленных работах Ю. Левады, Л. Гудкова, Б. Дубина и А. Левинсона. Она развивает логику теории возникновения современного общества (modern society) или западной цивилизации (Western civilization). Современный человек / современное общество характеризуется критическим использованием разума, рациональностью, генерализованным доверием и высокой солидарностью (которая необходима для существования сложноустроенного общества с высокой степенью дифференциации). Кроме того, для современного человека характерны универсалистские установки, уважение к правам индивида и принятие «высоких» ценностей собственной цивилизации (таких, как добро, справедливость, красота)¹. Советская модерность была особенной, она производила не классического современного человека, а человека советского, характеризующегося следующими признаками: переработанный опыт массового насилия, негативная идентичность, суженный горизонт солидарности и неумение выстраивать «промежуточные» социальные организации (последствие социцида). Многие эти черты переходят к человеку постсоветскому и преобладают в современном российском обществе. Представители среднего класса находятся в процессе «преодоления» в себе некоторых характеристик постсоветского человека.

Рассмотрение среднего класса в рамках теории постсоветского человека позволяет делать интересные интерпретации результатов опросов.

Пример тому – история с вопросом о миграционных настроениях среднего класса. В печати она получила слишком упрощенную и неверную трактовку: считается, что «средний класс хочет уехать из России». Социологи Левада-Центра (в частности, Л. Гудков) попытались предложить журналистам более сложную интерпретацию, принимающую во внимание, что массовый опрос – это прежде всего диалог респондента с символически значимыми партнерами. Для российского гражданина один из таких

¹Автор, разумеется, не претендует на полное изложение теории современного общества (а тем более различных вариантов ее критики). Хотелось бы просто примерно указать читателю, о каком корпусе идей идет речь.

партнеров – власть. Когда представитель среднего класса заявляет о своей готовности уехать, это не значит, что человек принял жизненное решение и работает над его выполнением. Это значит, что власти сообщается, что человек не чувствует свою защищенность перед возможным произволом и насилием, даже несмотря на высокий доход и статус, поскольку произвол и насилие присутствуют в обществе всюду. «Символическое» желание уехать – это прежде всего способ высказаться о трудностях своего существования в России [Пятая волна... 2008]. А также показатель того, что люди не способны выстроить социальные организации «промежуточного» уровня для решения этой проблемы – как и предсказывает теория советского / постсоветского человека. Социологи Левада-Центра обычно пытаются донести до публики представление о различной структуре мотиваций и о некоторой «сложности» устройства даже, казалось бы, «простейшего» социального действия.

У ВЦИОМа и ФОМа явно выработанной теории советского / постсоветского общества нет. Тем не менее в своих публикациях они развивают достаточно интересные представления о том, как российское общество устроено и что в нем происходит. Социологам ФОМа кажется неправильной негативная онтология, развиваемая Левада-Центром, поэтому они пытаются сосредоточиться на описании того, как те или иные практики и институты в России все-таки возникают. Отсюда – понятие «инновационный слой» и повышенное внимание к социологии инноваций. Следует отметить, что 17 практик, представленных в списке ФОМа, заимствованы из современных западных обществ. Можно предположить, что эти практики должны постепенно распространиться от «инноваторов» ко всем остальным россиянам. Таким образом, ФОМ развивает нейтральную теорию догоняющей модернизации / догоняющего развития – «нейтральную» в том плане, что «отставание» рассматривается без негативных оценок. Внимание фокусируется на изучении процесса осваивания новых практик. Подобный подход имеет как сильные, так и слабые стороны.

С одной стороны, он позволяет проводить интересные эмпирические исследования. Например, исследование И. Климова об ипотечных заемщиках в Иркутске показывает, как россияне осваивают новый способ обеспечения себя жильем, как это влияет на их «жизненные проекты» и какие формы социального взаимодействия при этом используются [Климов, 2009].

С другой стороны, многие вещи не проговариваются, в силу чего описание социальных феноменов остается неполным. Если

Левада-Центр пытается понять, почему россияне недовольны своей жизнью и не готовы к коллективному действию ради ее изменения, то ФОМ такие вопросы в своей аналитике не разрабатывает. Соответственно, процесс осваивания инноваций отрывается от других важных вопросов: например, когда все россияне начнут летать на самолетах, станут они наконец довольны жизнью?

Различие между ФОМом и Левада-Центром можно показать на примере исследования важной темы «средний класс и солидарность». ФОМ провел количественное исследование, по результатам которого выяснилось, что инновационный слой больше склонен к солидарности, чем россияне в среднем [«Люди-XXI»: Инновационный слой общества, 2008]. Кроме того, в исследовании ипотечных заемщиков было показано, что представители инновационного слоя потенциально готовы к организации ради достижения своих целей, если в этом возникнет необходимость [Климов, 2009]. Таким образом, результаты интерпретируются в логике «прогресс налицо – стакан наполовину полон». Левада-Центр же провел исследование, показавшее наличие у представителей среднего класса замечательных личных качеств (успех, терпимость и т.д.), но в то же время – отсутствие у них солидарности и способности к коллективному действию [Левинсон и др., 2004]. Результаты были интерпретированы в логике «прогресс отсутствует – стакан наполовину пуст». Разумеется, все зависит от того, на каком уровне поставить планку. Левада-Центр утверждает, что предприниматели и бюрократы не готовы организовать жизнь местного сообщества на разумных и гуманных основаниях, – из них не получается просвещенной и прогрессивной элиты. А ФОМ показывает, что существуют привычные для России «объединения по жизненным показаниям», – люди готовы организовываться, «когда придет беда», но не готовы работать совместно ради достижения позитивных целей в будущем.

У ВЦИОМа теория российского общества также присутствует, хотя и в неявном виде. Ее можно охарактеризовать как транзитологию с консервативным уклоном. Предполагается, что российское общество движется в направлении некоего желаемого состояния, причем это движение осуществляется под руководством и контролем существующей власти и лично В. Путина. В классической транзитологии принято считать, что в 90-е годы закладывались основы рыночной экономики, а в 2000-е годы пожинались плоды 90-х. Руководитель же ВЦИОМа В. Федоров утверждает, что в 90-е годы дела в России шли в неправильном

направлении, а потом появился Путин и исправил ситуацию [Федоров, 2012 b]. Кроме того, классическая транзитология предполагает «открытость миру» как некоторую ценность, а Федоров считает, что Россия существует во враждебном окружении и надо быть готовым отстоять нашу независимость и свободу от кого-то, кто на них покушается [Федоров, 2011]. При этом средний класс, со всеми его замечательными характеристиками, оказывается детищем 2000-х и политики В. Путина, а не 90-х и реформ Е. Гайдара. Таким образом, с одной стороны, имеется западническая установка на модернизацию, а с другой – консервативная установка на поддержку существующей власти. Как будет показано в следующем разделе, это сочетание делает очень интересным отношение ВЦИОМа к протесту.

Протест и средний класс

Оппозиционную активность 2011–2013 гг. часто называют протестом среднего класса. Это суждение, по-видимому, является следствием определенной теоретической / идеологической установки. Считается, что сначала люди должны удовлетворить «первичные потребности», а уже только потом начинать думать о честности, человеческом достоинстве, справедливости и прочих «высоких материях». Получается, что последние имеют классовую окраску: зажавшийся средний класс протестует, а Уралвагонзавод скромно работает. Простым людям честные выборы не нужны – это все ваши интеллигентские штучки. Считая подобное представление о человеческой природе неправильным, социологи Левада-Центра¹ приложили немало усилий, чтобы показать, что московский протест – это не протест среднего класса. Как уже отмечалось, средний класс – это понятие-гармошка: он выделяется на основе средневысокого дохода / потребления. Участники протестных акций 2011–2013 гг. отличались от «в среднем по Москве» уровнем образования, но не уровнем дохода [Дубин, 2012 b]. И в данной логике если большинство опрошенных заявляют, что они не могут купить машину, мероприятие нельзя назвать протестом среднего класса [Левинсон, 2012 b].

¹Позиция социологов Левада-Центра относительно человеческой природы имеет своих критиков (см. обмен мнениями между Ю. Левадой и А. Миллером на polit.ru относительно различных представлений о человеческой природе – просвещенчески-либерального и консервативного) [Левада, 2004]).

Эмпирический портрет участников протеста, который приводят исследователи ВЦИОМа, во многом повторяет портрет Левада-Центра: подчеркивается образование как отличительная характеристика участников. Также показывается, что участники протеста занимают социальное положение «выше среднего», но они отнюдь не богачи: «В итоге можно выделить три фактора, отделяющие участников протестного движения от среднего россиянина, – высокий материальный и профессиональный статус, подверженность “революции ценностей” и высокая неудовлетворенность существующим положением дел в стране» [Федоров, 2012 а]. Под «революцией ценностей» здесь понимается ситуация, когда ценности выживания уступили место ценностям самореализации – в духе теории Ингельхарта о «постматериализме». Относительно связи протеста и среднего класса подчеркивается, что «средний класс и протестное движение – это пересекающиеся, но далеко не совпадающие множества: не все участники протеста относятся к среднему классу, и не весь средний класс участвует в протестах» [там же]. То есть эмпирический портрет участника протеста мало разнится между двумя организациями; социологи обеих организаций показывают неточность «лобового» описания протеста как «протеста среднего класса».

В то же время связь между протестом и средним классом в работах полстеров прослеживается, но носит опосредованный характер. Кроме того, представления о природе российского общества, описанные в предыдущем разделе, оказывают влияние на то, как интерпретируется протест и как он оценивается.

Социологи Левада-Центра предлагают либеральную перспективу для анализа протеста 2011–2013 гг., которая в целом укладывается в представления современных социальных наук о связи между гражданским обществом, политическими правами и буржуазией. Люди участвовали в протестных акциях прежде всего в качестве граждан / горожан, осознающих себя ответственными за происходящее в стране. Другими словами, преодолевших комплекс «советского человека», который не видит социальности за пределами семьи / друзей. Конечно, важно, что протестные акции имели место в Москве / Санкт-Петербурге – т.е. в ресурсно-богатых центрах [Волков, 2012; Дубин, 2012 с; Гудков, Алехина, 2012]. Протестующие действительно имели ресурсы – прежде всего, образовательные, – которые в условиях нынешнего российского общества могут быть конвертированы в доход. Но протестовали они в качестве граждан / горожан [Варшавская, 2012] – т.е. связь со средним классом может

быть установлена через проблематику «третьего сословия» и развития современной социальности в России. Протест – это прежде всего проявление нового отношения к социальной жизни, когда человек из наблюдателя превращается в участника. С точки зрения теории постсоветского человека, это, безусловно, положительное явление в истории России. Л. Гудков готов высказывать критику в отношении протестующих – например, он говорит о сохранении «персоналистического отношения к политике» среди протестующих и о трудностях превращения протеста морального в успешный политический протест [Гудков, Алехина, 2012; Гудков, Кобызова, 2013], – но в целом Левада-Центр относится к протесту положительно.

ВЦИОМ предлагает консервативный взгляд на протест. Участники протеста предстают не авангардной группой российского общества, а «смутьянами», которые протестуют без достаточных на это оснований (см. название соответствующего интервью В. Федорова [Федоров, 2012 b]). В этом же интервью подчеркивается отличие протестующих от «простых россиян»; протестующие – это «активное меньшинство Facebook». Проводится аналогия с 1812 г., когда под общественным мнением понималось мнение дворян, а остальная страна права голоса не имела. Федоров утверждает, что «сейчас “партия Facebook” активно пытается навязать нашему обществу именно такую, сугубо элитарную и антидемократическую структуру высказывания». Далее возникает интересная конструкция: протест рассматривается как «неподготовленный выстрел раньше времени», в результате которого были активизированы «неправильные ценности» – ценности «патриархального, автаркического и автократического общества» (имеются в виду «антигейский» закон, осуждение участниц панк-молебна Pussy-Riot и прочие проявления фундаментализма).

С учетом описанных выше теоретических воззрений В. Федорова, такое отношение к протесту выглядит вполне логичным. Если рассматривать президентство В. Путина как гарантию экономического развития и политической независимости России, то действительно протест против Путина становится разрушительным действием «незрелого» общества. В то же время примечательно отношение В. Федорова к содержательным идеям протестующих. Статью «про смутьянов», в которой анализируются причины спада протестного движения, он завершает идеями, с которыми участники протеста вполне согласились бы [Федоров, 2012 a]. Например, утверждается, что в России не функционирует «повседневное государство»: полиция, суд, местное самоуправле-

ние. Соответственно, многие молодые профессионалы понимают, что в России жить «неудобно», а в двух часах лета есть страна Германия, в которой жить «удобно». В том же разделе присутствуют и другие традиционные «оппозиционерские» требования: радикальное изменение инвестиционного климата, реформы образования и здравоохранения, модернизация производства. В другом интервью Федоров приводит классический «оппозиционерский» анализ того, как в России не сложилось адекватной партийной системы и нормального способа передачи власти [Федоров, 2011].

В целом ВЦИОМ четко формулирует классическую консервативную позицию: России нужны постепенные реформы под руководством правильной власти – и существующая власть такой правильной властью является. Новые группы в обществе, пытающиеся на эту власть повлиять, заботятся исключительно о собственных интересах, а не о всеобщем благе. В то же время многие требования новых групп разумны, но сами они не готовы к тому, чтобы их осуществить. Право политической и социальной субъектности остается за властью.

Представители ФОМа также высказались по поводу протестов 2011–2013 гг. В интервью «Огоньку» А. Ослон характеризует протестующих как «достижительных людей» в архаической среде. Он называет их «пионерами социума». Таким образом, прослеживается смысловая связь с «инновационным слоем». Эти люди – участники протеста – требовали уважительного к себе отношения и поддержки, но не получили его от власти, результатом чего является «недополученный успех» для всего общества [Ослон, Ципенюк, 2013]. Анализируя протест, социолог ФОМа Г. Кертман сравнивал протестующих с диссидентами, а просвещенную и умеренную публику – с шестидесятниками, готовыми улучшать систему изнутри. Таким образом, протест оказывается «новым диссидентством» [Кертман, 2012]. ФОМ рассматривает протест как деятельность «достижительных» групп в обществе, которая преследует благие цели, и не приветствует силовую реакцию на протест. В то же время если социологи Левада-Центра рассматривают протест как прежде всего «моральный», то в ФОМе на этот счет нет согласия: часть его социологов готова интерпретировать это движение под таким углом [Кертман, 2012], а часть – нет [Ослон, 2013; Блехер, 2012]. В описании протестующих упор делается именно на достижение, что вполне логично в свете теории «инновационного слоя», описанной выше.

Заключение

Дискуссия о «среднем классе и протесте» показывает, какие существуют ожидания относительно предполагаемых социальных последствий появления среднего класса. Все три полстерские организации рассматривают средний класс как массовую социальную группу успешных граждан; соответственно, все ожидают от нее в определенном смысле «правильных» взглядов на жизнь (ценностей, установок и т.д.). В российском обществе традиционно горизонтом солидарности / морального действия является круг семьи / друзей / коллег по работе. Возникает интригующий вопрос: может ли средний класс расширить горизонты социального действия, за которое человек берет ответственность и которое он готов рассматривать в категориях морали? Отсюда интерес всех полстерских организаций к протесту: с одной стороны, как нормальные эмпирические исследователи, полстеры понимают неправильность прямолинейного утверждения, что «средний класс вышел на протест»; с другой стороны, они понимают, что какая-то связь между протестом и средним классом существует.

Левада-Центр наиболее отчетливо говорит об этой связи и формулирует классическую либеральную позицию [Дубин 2012 а; Дубин, 2012 d]. В рамках истории России произошли очередное «нарастание жирка» и усложнение общества. Появились ресурсно-богатые группы и социальные образования (города). Эти группы отказываются от традиционной политической культуры «терпения» и пытаются выработать новую политическую культуру «партнерства» [Дубин, 2012 e]. Соответственно, возникают требования справедливости в общественной жизни, запрос на универсальные правила игры, повышенное внимание к правовой системе. Отсюда проистекает важность темы «морального протеста». Протест – это преодоление неспособности постсоветского человека организовать социальную жизнь в соответствии с требованиями справедливости и морали. Таким образом, тема «средний класс и протест» рассматривается в русле классической проблематики третьего сословия, республиканского политического устройства, прав человека, гражданского общества и т.д. – всего, что известно из истории Нового времени и теории современности. Связь между протестом и средним классом существует на абстрактном ценностном уровне – средний класс способен по крайней мере понять требования протестующих и те идеи, которые за протестом стоят

(даже если не обязательно поддерживать их). И появление среднего класса, и протест с моральными требованиями оказываются маркерами развития в России современных тенденций.

ВЦИОМ не акцентирует связь между средним классом и протестом. Протест предстает как деятельность «активного меньшинства Facebook», страшно далекого от народа. Протестующие не рассматриваются как группа, которая пытается развивать новые принципы построения социальных отношений в российском обществе. Как было сказано выше, это классическая консервативная позиция, которая предполагает, что новые социальные группы должны заниматься экономикой (и потреблением), а система властных отношений в обществе не должна меняться и традиционные элиты должны сохранять свое положение.

ФОМ описывает протестующих как «достижительную группу», и в этом смысле прослеживается связь с «инновационным слоем». Эта группа недовольна существующим порядком дел в России. В то же время идея, что протестующие пытаются развивать «моральное чувство» в российском обществе, многими социологами ФОМа воспринимается критически.

Таковы три позиции, которые три полстерские организации пытаются донести до российской публики. Задача эта непростая, поскольку даже многие люди с высшим образованием WesternCiv¹ в институтах не изучали – соответственно, им трудно воспринимать аргументы социологов. В свою очередь, социологи не всегда готовы «объяснять азы» гражданам. Вместе с тем обсуждение проблематики среднего класса безусловно способствует тренировке «социологического воображения» российской публики, что и интересно, и полезно. Граждане могут выбирать, какая из интерпретаций связи между возникновением и расширением среднего класса, с одной стороны, и протестным движением 2011–2013 гг. – с другой, лучше соответствует их восприятию происходящих в стране событий.

¹Обзорный курс «Западная цивилизация», читаемый во многих американских университетах в рамках общеобразовательного компонента учебных программ. – *Прим. ред.*

Литература

- «Люди-XXI»: Индустрия спорта и тела // ФОМ. – М., 2008. – 6 марта. – Режим доступа: <http://bd.fom.ru/report/map/innovacyi/lx0802> (Дата посещения: 17.09.2013.)
- «Люди-XXI»: Инновационный слой общества: Описание проекта // ФОМ. – М., 2008. – 25 января. – Режим доступа: http://bd.fom.ru/report/cat/soc_gr/people_xxi/ani05 (Дата посещения: 18.09.2013.)
- «Люди-XXI»: Пресс-релиз проекта // ФОМ. – М., 2008. – 22 февраля. – Режим доступа: <http://bd.fom.ru/report/map/innovacyi/lx0801> (Дата посещения: 17.09.2013.)
- Абрамов Р. Социальные инноваторы (Люди-XXI): устойчивость на фоне волатильности внешней среды // ФОМ. – М., 2009. – 30 сентября. – Режим доступа: <http://bd.fom.ru/report/map/innovacyi/people21> (Дата посещения: 14.09.2013.)
- Блехер Л. Неповторимые повторения // ФОМ.М., 2012. – 21 июня. – Режим доступа: <http://fom.ru/blogs/10468> (Дата посещения: 26.09.2013.)
- Варшавская Ю. Социологи большого города. Алексей Левинсон // Большой город. – М., 2012. – 11 марта. – Режим доступа: http://bg.ru/society/sociologi_bolshogo_goroda_aleksey_levinson-10305/ (Дата посещения: 24.09.2013.)
- Волков Д. Протестное движение в России в конце 2011 – 2012 г.: Истоки, динамика, результаты. – М.: Левада-Центр, 2012. – 55 с.
- Гудков Л., Алехина М. «Недовольство властью усиливается» // Новые Известия. – М., 2012. – 6 марта. – Режим доступа: <http://www.newizv.ru/society/2012-03-06/160267-direktor-levada-centra-lev-gudkov.html> (Дата посещения: 24.09.2013.)
- Гудков Л., Кобызова Н. «В политику идут неумные, прагматики, циники». Интервью с Н. Кобызовой // Свободная пресса. – М., 2013. – 9 августа. – Режим доступа: <http://svpressa.ru/online/article/70847/> (Дата посещения: 17.09.2013.)
- Дубин Б. Лицо Якиманки и Болотной // Новая газета. – М., 2012 г. – № 15, 13 февраля. – Режим доступа: <http://www.novayagazeta.ru/society/51016.html> (Дата посещения: 26.09.2013.)
- Дубин Б. Россия, которая не просит // Огонек. – М., 2012 г. – № 48, 3 декабря 2012. – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc-rss/2077148> (Дата посещения: 14.01.2014.)
- Дубин Б. У людей есть запас солидарности // Новая Газета. – М., 2012 г. – № 87, 6 августа. – Режим доступа: <http://www.novayagazeta.ru/arts/53863.html> (Дата посещения: 26.09.2013.)
- Дубин Б. Что-то похожее на общество: В чем социальное значение митингов и кто те люди, которые в них участвуют // Ведомости. – М., 2012 г. – 3 февраля. – Режим доступа: <http://www.vedomosti.ru/friday/article/2012/02/03/18234> (Дата посещения: 26.09.2013.)
- Дубин Б. Якиманка и Болотная 2.0. Теперь мы знаем, кто все эти люди! // Новая Газета. – М., 2012 г. – 10 февраля. – Режим доступа: <http://www.levada.ru/10-02-2012/yakimanka-i-bolotnaya-20-terep-my-znaem-kto-vse-eti-lyudi> (Дата посещения: 24.09.2013.)

- Журенков К., Мельников С. Мечта на колесах // Огонек. – М., 2012. – № 22, 4 июня. – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc-y/1934363> (Дата посещения: 17.09.2013.)
- Кертман Г. Повторение пройденного // ФОМ. – М., 2012. – 4 июня. – Режим доступа: http://fom.ru/blogs/10468_ (Дата посещения: 26.09.2013.)
- Климов И. Ипотечные заемщики: повседневные практики восходящей мобильности // Социологический журнал. – М., 2009. – № 4. – С. 104–136.
- Левада Ю. Человек советский // ПОЛИТ.РУ. – М., 2004. – 15 апреля. – Режим доступа: <http://polit.ru/article/2004/04/15/levada/> (Дата посещения: 24.09.2013.)
- Левинсон А. Дурное образование – хороший лифт // Отечественные записки. – М., 2012 а. – № 5. – Режим доступа: <http://www.strana-oz.ru/2012/5/durnoe-obrazovanie---horoshiy-lift> (Дата посещения: 13.01.2014.)
- Левинсон А. О среднем классе в конце прекрасной эпохи // Вестник общественного мнения: Данные. Анализ. Дискуссия. – М., 2008. – № 6. – С. 53–64.
- Левинсон А. Средний класс и кризис // ПОЛИТ.РУ. – М., 2009. – 26 февраля. – Режим доступа: <http://polit.ru/article/2009/02/26/levinson/> (Дата посещения: 17.09.2013.)
- Левинсон А. Это не средний класс – это все // Ведомости. – М., 2012 б. – 21 февраля. – Режим доступа: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/276199/eto_ne_srednij_klass_eto_vse#ixzz1n1XStEEQ (Дата посещения: 24.09.2013.)
- Левинсон А., Стучевская О., Щукин Я. О тех, кто называет себя «средний класс» // Вестник общественного мнения: Данные. Анализ. Дискуссия. – М., 2004. – № 5. – С. 48–62.
- Маринович А. Создатели формы // Эксперт-Урал. – Екатеринбург, 2013. – № 13 (550), 1 апреля. – Режим доступа: <http://www.expert-ural.com/1-599-12293/> (Дата посещения: 17.09.2013.)
- Ослон А., Ципенюк О. «Я – наблюдатель. Это позиция» // Огонек. – М., 2013. – № 26, 8 июля. – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc/2214275> (Дата посещения: 26.09.2013.)
- Путин В.В. Выступление на расширенном заседании Государственного совета «О стратегии развития России до 2020 года» // Президент России. – М., 2008. – 8 февраля. – Режим доступа: <http://archive.kremlin.ru/text/appears/2008/02/159528.shtml> (Дата посещения: 19.01.2014.)
- Пятая волна: Почему средний класс мечтает сбежать из России / Гудков Л., Сурков С., Майерс М., Гребнева А. // ЭХО Москвы. – М., 2008. – 8 июля 2008. – Режим доступа: <http://www.echo.msk.ru/programs/figure/525381-echo/> (Дата посещения: 18.09.2013.)
- Федоров В. «Россияне не понимают, чего хотят белоленточные смутьяны» // Expert Online. – М., 2012 б. – 28 декабря. – Режим доступа: <http://expert.ru/2012/12/28/valerij-fedorov-rossiyane-ne-ponimayut-cto-hotyat-belolentochnyie-smutyanyi/> (Дата посещения: 1.10.2013.)
- Федоров В. «Рубеж года – это рубеж эпох» // Expert Online. – М., 2011. – 26 декабря. – Режим доступа: <http://expert.ru/2011/12/26/rubezh-goda---rubezh-eroj/> (Дата посещения: 1.10.2013.)
- Федоров В. Средний класс в России: вчера, сегодня... завтра? // Эксперт Юг. – Ростов-на-Дону, 2012 а. – № 1, 24 декабря. – Режим доступа: http://expert.ru/south/2013/01/srednij-klass-v-rossii-vchera-segodnya__-zavtra/ (Дата посещения: 06.10.2013.)

- Федоров В., Бадковский Д. Форум «Единой России»: Формирование среднего класса в России // ВЦИОМ. – М., 2008. – 22 августа. – Режим доступа: <http://wciom.ru/index.php?id=266&uid=10562> (Дата посещения: 14.9.2013.)
- Шумакова Е. «Игреки» – представители инновационного слоя // ФОМ. – М., 2008. – 23 июня. – Режим доступа: <http://bd.fom.ru/report/map/innovacyi/pprezsh2606> (Дата посещения: 17.09.2013.)
- Яковлева Е. Скромный отпуск // ВЦИОМ. – М., 2006. – 19 июня. – Режим доступа: <http://wciom.ru/index.php?id=269&uid=2756> (Дата посещения: 17.09.2013.)

О.Ю. Малинова, В.Н. Ефремова

**ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТЫ
И «СРЕДНИЙ КЛАСС»:
АНАЛИЗ ПУБЛИЧНЫХ ДИСКУССИЙ¹**

Проблема «среднего класса» занимала заметное место в общественно-политических дискуссиях последних лет. При этом ее постановка заметно эволюционировала: если в начале президентства Д.А. Медведева появление группы, которую с полным основанием можно было бы обозначить данным термином, рассматривалось как более или менее отдаленная перспектива, то к моменту завершения его полномочий о ней стали рассуждать как о несомненном факте. В формировании общественных представлений, связываемых с новым для постсоветской России понятием «средний класс», значительную роль сыграли экспертно-аналитические сообщества. В публикуемой в этом сборнике статье Я.М. Щукина показано, как повлияла на воображение новой социальной группы деятельность социологических центров, проводящих опросы общественного мнения. Мы попытаемся проследить, каким образом публичная репрезентация результатов исследований организаций, занимающихся политической экспертизой, способствовала эволюции дискуссий о «среднем классе» в 2008–2012 гг. Следует отметить, что именно в указанный период наметились некоторые качественные изменения в публичной активности такого рода организаций: они стали играть заметную роль не только в анализе и обсуждении, но отчасти – и в артикуляции общественно-

¹ Исследование проводится при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, грант № 13-03-00 553 а.

политической повестки, при этом после выборов 2011–2012 гг. был создан ряд новых центров, в результате чего оформился пул московских организаций, выступающих в СМИ с разных идеологических позиций [Малинова, 2013]. Предметом нашего исследования стали представления о «среднем классе» и политических последствиях его «рождения», высказывавшиеся политическими экспертами в дискуссиях, широко освещавшихся печатными и электронными СМИ.

Хотя тема «среднего класса» присутствовала в экспертном дискурсе и прежде, нельзя не признать, что особенно активно она стала обсуждаться после того, как появилась в риторике В.В. Путина, а затем и Д.А. Медведева. Выступая в 2007 г. с президентским посланием Федеральному собранию, Путин связал перспективу «роста среднего класса» с развитием малого бизнеса и преодолением «иждивенческих настроений» [Путин, 2007]. А десять месяцев спустя, представляя на расширенном заседании Государственного совета стратегию развития России до 2020 г., он заявил, что «надо добиться, чтобы все граждане нашей страны» могли «иметь уровень жизни, определяющий принадлежность к так называемому среднему классу», причем наметил весьма амбициозные количественные показатели: «...минимальной планкой доли среднего класса в общей структуре населения к 2020 году должен быть... уровень не менее 60 процентов, а может быть, и 70 процентов» [Путин, 2008]. Слова о необходимости «многого сделать», «чтобы как можно больше людей могли причислить себя к среднему классу», были включены и в инаугурационную речь Д.А. Медведева [Медведев, 2008]. Как это часто бывает в России, артикуляция задачи не была подкреплена соответствующей политической программой, а лишь предшествовала ее разработке [ср.: Малинова, 2012]. Поэтому за словами Путина и Медведева последовали заказы на экспертные разработки данной темы.

Основными исполнителями стали Институт научного проектирования (ИноП) и Институт современного развития (ИнСОП), которые практически одновременно выступили инициаторами широких экспертных дискуссий по данной теме. В апреле 2008 г. в Общественной палате РФ при содействии ИноП прошел «круглый стол» «Новая социальная доктрина России: Как сделать большинство граждан России средним классом» [Стенограмма круглого стола, 2008]. Тогда же, в апреле 2008 г. ИнСОП провел свою конференцию «Средний класс: проблемы формирования и перспективы роста» [см. материалы конференции: Дискуссия о среднем

классе, 2008]. То обстоятельство, что в роли председателя Попечительского совета ИнСОРа выступал Д.А. Медведев, а ИнОП неофициально позиционировался как «мозговой трест» В.В. Путина, придавало экспертным дискуссиям идеологический оттенок: предполагалось, что два центра неформально выражают существующие де-факто, но не признаваемые официально различия в политических повестках партнеров по властному «тандему» [см.: Шестопап 2011; Малинова, 2012].

Что понимать под «средним классом»?

На первом этапе главным предметом дискуссий стали вопросы о критериях выделения искомой социальной группы и оценке ее наличного состояния. Как показал Я.М. Щукин, социологи, изучающие общественное мнение, рассматривают несколько критериев принадлежности к среднему классу – образование, доход, «модели поведения» и др. По тому же пути идут и политические эксперты, при этом они решают комплексную задачу, поскольку требуется определить не только какие категории населения попадают в «средний класс», но и какие меры должны способствовать его росту, а также какими могут быть социальные и политические последствия предполагаемых социальных изменений.

Открывая первую экспертную дискуссию в апреле 2008 г., ИнОП пошел по пути простого перечисления социальных групп, которые в перспективе будут «формировать этот новый средний класс» (в перечень попали «предприниматели и менеджеры среднего и высшего звена, служащие, как государственных, так и частных предприятий, высококвалифицированные рабочие и военные, люди, занятые в сельском хозяйстве», «работники сферы образования и здравоохранения», а также «так называемая социальная интеллигенция» [Стенограмма круглого стола, 2008, с. 2]). При этом подчеркивалось, что средний класс – «не какой-то монолитный или социально однообразный слой или группа», он имеет сложную структуру, включающую три основных подкласса: верхний средний, средний средний и нижний средний [там же, с. 9]. Составленная таким механическим путем группа очевидным образом нуждалась в неких общих характеристиках, способных задавать ее идентичность. Не случайно, представляя позицию возглавляемого им института, В.А. Фадеев подчеркивал: «Очень опасно, если мы уйдем в формальные критерии, доходы, наличие квартиры

или ее отсутствие, мы не поймем, с каким объектом мы имеем дело». По его словам, «главное свойство, характеризующее средний класс, это свойство современности» [Стенограмма круглого стола, 2008, с. 17].

Эксперты ИнСОРа предложили более развернутый социальный портрет среднего класса. По словам его руководителя И. Юргенса, это понятие «не ограничивается только определенным достигнутым уровнем текущих доходов. Искомый смысл приобретает, только если семья обладает сбережениями, размещенными на банковских депозитах или инвестированными в ценные бумаги, недвижимостью, прежде всего комфортабельным жильем, если эта семья участвует в ипотечных, кредитных схемах, если ее работники обладают профессиональным, не ниже среднего специального, образованием и заняты не физическим трудом. Желательным и важным показателем является вложение собственных средств в сбережение здоровья... И что очень важно – эта семья и ее члены регулярно повышают уровень собственного образования и имеют для этого институциональные возможности». Наконец, важно, чтобы люди, относящие себя к среднему классу, участвовали «в разнообразных формах общественной и гражданской самоорганизации» [Дискуссия о среднем классе, 2008, с. 5]. По определению члена правления ИнСОРа Е. Гонтмахера, нельзя «сводить средний класс к некоему “желудочному” определению. Средний класс – это не только доходы, не только уровень материального обеспечения, обеспечения жильем, автомобилями и т.д. Средний класс – это и образ жизни, и политический феномен» [Дискуссия о среднем классе, 2008, с. 7].

Выделенная на основе столь неоднозначных критериев социальная группа оказывалась относительно немногочисленной и существенно не дотягивала до количественных показателей, обозначенных Путиным. По первоначальным прикидкам ИнОПа она составляла 25–27% от взрослого населения страны [Стенограмма круглого стола, 2008, с. 14]. Оценка ИнСОРа была скромнее: Юргенс утверждал, что критериям среднего класса удовлетворяют не более 15–20% населения [Дискуссия о среднем классе, 2008, с. 5]. Уже тогда более гибкий подход к проблеме демонстрировал Центр стратегических исследований. По словам его президента М.Э. Дмитриева, «стремительное сокращение бедности не привело к соразмерному росту среднего класса», и по меркам развитых стран его доля «колеблется в районе отметки 20%»; «большинство населения оказалось в своего рода “социальном накопителе” – неустойчивой переходной

категории между бедными и средним классом». Эту группу Дмитриев назвал «протосредним классом», который составляет «порядка 60% населения страны» [Дмитриев, 2008]. Позже эксперты ЦСР для анализа московского среднего класса применили другую методику оценки, основанную на факторе приобретения жилья; это привело их к переоценке социальной значимости этой группы. По их заключению, «масштабы происходящих социальных изменений и их последствия настолько значительны, что точность измерений уже мало влияет на оценку вероятных последствий»; речь должна идти о «тектонических сдвигах» [Белановский, Дмитриев, Мисихина, 2010, с. 1]. Как верно подметил Щукин, средний класс оказывается «классом-гармошкой», способным растягиваться или сужаться в зависимости от набора применяемых критериев. Не случайно у наблюдателей складывалось ощущение, что это понятие «предельно размыто и включает в себя... всех ответственных граждан страны, “собственников и тружеников”, но не олигархов и бомжей» [Ремчуков, 2008].

Нетрудно заметить, что в дискурсе политических экспертов понятие «средний класс» настойчиво связывалось с определенными социальными качествами, значимыми для развития общества в желаемом направлении. Некоторые указывали на его «эмансипированность от государства» [Рогожников, 2007; ср. Юргенс, 2008]. Многие говорили о том, что он является «проводником инновационных форм социально-экономической деятельности» [Гонтмахер, Григорьев, Малева, 2008; ср. Рогожников, 2007; Стенограмма круглого стола, 2008, с. 17]. Особо выделяли наличие у среднего класса политической и общественной позиции [Юргенс, 2008; Бунин, 2008], его способность определять «моральные стандарты зрелого общества» [Гонтмахер, Григорьев, Малева, 2008]. Нередко утверждали, что средний класс является социальной опорой «демократической политики и демократических политиков» [Рогожников, 2007; Юргенс, 2008; Никонов, 2009]. Некоторые, ссылаясь на западный опыт, подчеркивали, что средний класс «обеспечивает приемлемый уровень социально-политической стабильности» [Дмитриев, 2008; Бунин, 2008; Гонтмахер, Григорьев, Малева, 2008]. Впрочем, у этой точки зрения были и оппоненты, отмечавшие, что средние слои «умеют выражать свое несогласие не хуже левых групп», в силу чего «в условиях непредставленности» политическая мобилизация среднего класса может обернуться «взрывом» [Рогожников, 2007]. Отсутствие у групп, назначаемых на роль «среднего класса», части указанных характеристик заставляло некоторых экспертов сомневаться в применимости данного

термина для описания российской ситуации [Бунин, 2008]. Очевидно, что помимо количественных критериев, которые применялись то расширительно, то ограничительно, действовали еще и нормативные критерии, причем именно последние играли ключевую роль для оценки социально-политических последствий «замедления роста» искомой социальной группы или, наоборот, «тектонических сдвигов» в ее динамике.

Как справедливо подметил проректор Высшей школы экономики, социолог В.В. Радаев, «за мнимой стратификационной категорией скрывается совершенно другое явление: понятие “средний класс” служит обозначением нормативной модели», поэтому «вместо измерения того, чего пока нет, нужно по возможности четко сформулировать то, чего мы хотим, т.е., по сути, сконструировать наш средний класс» [Дискуссия о среднем классе, 2008, с. 20]. Надо признать, что дискуссии политических экспертов в значительной степени решали именно эту задачу, – изначально предметом обсуждения были разные сценарии формирования «среднего класса» в российских условиях, специфики которых никто не отрицал. Проводились исследования, призванные уточнить масштабы, границы и структуру как российского среднего класса, так и других социальных групп, которые обладают определенным потенциалом для перемещения в данную группу, а также финансовое поведение среднего класса [Российские средние классы... 2008; Григорьев и др., 2009]. В феврале 2010 г. ИнСОР презентовал доклад «Россия XXI века: образ желаемого завтра», получивший заметный медийный резонанс. В докладе обосновывалась необходимость «модернизационного рывка» и описывалась нормативная модель будущего, существенным элементом которой был рост среднего класса. По прикидкам авторов доклада, он должен стать «наиболее многочисленным социальным слоем», охватывающим «не менее 50% населения (домохозяйств)» [Россия XXI века, 2010, с. 26]. Все это несомненно было частью «социального конструирования», рассчитанного на перспективу. Однако изменения политического контекста – определение ближайших политических задач в терминах «модернизации», начавшийся вскоре экономический кризис, а затем протестная активность 2011–2012 гг. – очень быстро повлекли за собой трансформацию дискурса: о среднем классе стали говорить как о реальном субъекте политического процесса.

Средний класс и модернизация

Тема «среднего класса» появилась в риторическом репертуаре власти еще до того, как определилось ключевое словозвучие для обозначения нового политического курса [Малинова, 2012], о необходимости которого Путин заявил в конце своего второго президентского срока. Однако она хорошо сочеталась и с «инновационным развитием», и с «модернизацией»: в зависимости от расстановки акцентов задача создания условий для количественного и качественного роста социальной группы, обладающей отмеченными выше позитивными качествами, могла рассматриваться и как конечная цель, и как инструмент намечаемого политического курса.

Проблема роста среднего класса действительно имела все основания рассматриваться как «ключевое звено», потянув за которое, можно вытянуть всю цепь. На первом этапе дискуссии экспертный анализ был сосредоточен именно на «задаче социального конструирования», т.е. определении «тех методов технологий политических решений законодательств законов, которые бы двигали структуру общества» в заданном направлении [Стенограмма круглого стола, 2008, с. 2]. Именно так вопрос ставился на первой экспертной дискуссии ИнОПа. Как легко убедиться, список необходимых мер совпадал с тем, что предполагалось делать в рамках «инновационного развития» и «модернизации».

Это обстоятельство со временем, по мере накопления первых результатов исследований позволило экспертам ИнСОРа взглянуть на проблему под другим углом: как утверждалось в докладе «Демократия: развитие российской модели», представленном в качестве рекомендации президенту Д.А. Медведеву в конце 2008 г., «этот “поднимающийся класс” призван сыграть ключевую роль в социально-экономическом развитии страны по модернизационной, инновационной модели. Но этот класс не способен проявить себя и успешно развиваться без конкурентной, открытой среды, без гарантий “правил игры” как в экономической, так и в общественно-политической сфере» [Демократия... 2008, с. 12]. Таким образом, «поднимающийся» средний класс представлялся как реальный социальный субъект, предъявляющий запрос на модернизацию. В конце 2008 г. на фоне разворачивающегося кризиса руководитель ИнСОРа И. Юргенс уже представлял средний класс как вполне сложившуюся социальную группу, указывая на «объективные»

политические последствия того обстоятельства, что «за последние годы появился г-н Собственник, он же – г-н Труженик», готовый отстаивать свой интерес. По его словам, «в нашей стране появляется Гражданин, а не подданный. С ним нельзя не считаться – его можно только убеждать. Социальный контракт с таким Гражданином – залог успешного развития страны. Только он может совершить прорыв в инновациях, только он обеспечит страну качественным и конкурентоспособным товаром, только он положит в банк достаточно денег, чтобы их не приходилось занимать на Западе... Но и Гражданин в ответ потребует от государства многого такого, чего сегодня нет или почти нет» [Юргенс, 2008]. Этот аргумент активно использовался для продвижения идеи политической модернизации: эксперты ИнСОРа, а позже – ЦСР в своих докладах настойчиво писали о необходимости изменений политической системы, призвали создать «каналы для корректной и цивилизованной конкуренции, не допуская нового “кризиса легитимности”» [Демократия... 2008, с. 14; ср. Движущие силы... 2011, с. 31–32]. В частности, указывалось на отсутствие политических партий, способных представлять интересы новой социальной группы [Рогожников, 2007; Гонтмахер, Григорьев, Малева, 2008 и др.]. По словам И. Юргенса, «даже “Единая Россия” не в состоянии охватить своей “политической услугой” весь средний класс – особенно тогда, когда мы “дорастим” его численность до отметки, превышающей 50%. Этим людям в политической сфере будет нужна такая же конкуренция, которую они видят, скажем, на рынке продовольственных товаров» [Форум 2020, 2008].

Логика «социального конструирования» позволяла рассматривать средний класс как *объект* государственной политики, группу, которая растет, «используя свои знания и умения», но при этом «там, где необходимо, получая помощь государства», – именно так вопрос изначально формулировался Путиным [Путин, 2008]. Однако с выдвижением лозунга модернизации появилась перспектива наделения «поднимающегося» среднего класса *субъектностью* – не только в качестве группы, на которую государство может опереться в осуществлении предложенной им программы, но и в качестве самостоятельной силы, формулирующей некие запросы. Обе линии рассуждений были представлены в экспертном дискурсе периода «тандемократии»: первая ассоциировалась с ИнОПом, вторая – с ИнСОРОм. Если первая была сосредоточена на конструировании группы, которой еще нет, то вторая рассматривала средний класс как данность, которую необходимо учитывать при принятии решений.

Экономический кризис и «рождение» среднего класса

Грянувший осенью 2008 г. экономический кризис внес свою лепту в трансформацию экспертного дискурса о среднем классе. Первые антикризисные меры, предпринятые государством, заставили усомниться, что задача создания условий для роста новой социальной группы останется в повестке дня. В этих условиях лидеры обоих неформально конкурирующих экспертных центров стали продвигать идею помощи среднему классу в условиях кризиса. Выступая на мероприятиях «Единой России», В. Фадеев призывал «кардинально пересмотреть антикризисную политику» – спасать деньгами не крупнейшие компании, а покупательную способность и кредитоспособность обычных людей [цит. по: Единороссы вступились... 2008]. Он высказывал предположение, что «кризис – это шанс для среднего класса изменить свою жизнь», и в случае грамотной антикризисной политики «возможно, нам удастся наконец-то построить страну среднего класса, а не страну богатых и бедных, которой всегда была Россия» [цит. по: Бортников, 2008]. В свою очередь, И. Юргенс настаивал на «приоритетности задачи сохранения и развития среднего класса», без которого, по его словам, «не вытянуть страну из рецессии, не решить даже краткосрочных задач, не говоря уже о долгосрочных» [Юргенс, 2008].

Для дальнейшего хода дискуссии существенное значение имело то, что идею роста среднего класса публично поддержал главный кремлевский идеолог – первый замглавы администрации президента Владислав Сурков. Выступая на секции форума «Стратегия-2020», он заявил, что считает главным достижением «появление и становление в России массового, достаточно обширного среднего класса». По его словам, «средний класс фактически обрел социальную гегемонию и политическую власть. Если 80-е были временем интеллигенции, 90-е десятилетием олигархов, то нулевые можно считать эпохой среднего класса» [цит. по: Михайлов, 2008]. Сурков не только высказался за государственную поддержку «средняка», но и подчеркнул его особый статус: по его словам, «российское государство – это его государство, и российская демократия – его, и будущее у них общее. Нужно позаботиться о них. Россия – их страна. Медведев и Путин – их лидеры. И они их в обиду не дадут» [цит. по: там же]. Таким образом представление о среднем классе как о реальной и притом массовой группе получило символическую санкцию Администрации президента.

С конца 2008 г. «средний класс» превратился в политически значимую действительность – не потому, что он *стал* агентом коллективных действий, но в силу того, что все более широкий круг публичных спикеров стали *рассматривать* его в качестве такового. При этом имели место разные подходы к репрезентации как самого среднего класса, так и его запросов.

ИнОП продолжал развивать линию «объектного» подхода: в его первом ежегодном докладе, опубликованном в 2009 г., средний класс представлялся как «ресурс» «для следующего модернизационного рывка», который достался России в «наследие от советских времен» [Основные тезисы... 2009, с. 4]. Экономический кризис рассматривался как фактор, меняющий глобальную конъюнктуру: если «в период неолиберальной глобализации» у России была лишь одна перспектива – встраиваться в мировую экономическую систему «в качестве поставщика природных ресурсов», что требует «относительно небольшой и лишь анклавно сконцентрированной рабочей силы», то теперь «наличие все еще бедного и притом изголодавшегося по приличной работе и потреблению среднего класса» может обернуться «преимуществом отсталости» [Оценка состояния... 2009, с. 28]. Авторы доклада утверждали, что «у России сегодня пока еще есть средства на запуск достаточно серьезной программы государственного развития», и видели ключ к решению этой проблемы в решительных действиях государства («перед лицом кризиса, который пересидеть невозможно, становится отчаянно важно действовать») [Основные тезисы... 2009, с. 4]. При этом они заявляли, что выбор между демократией и авторитаризмом на данном этапе – «ложная идеологическая дилемма»: «России необходимо лидерство в ситуации национального кризиса... а харизма в политике плохо совместима с обыденной конкурентной демократией». Поэтому «было бы честнее и реалистичнее сказать, что демократизация политической системы России в ближайшее время не может стать приоритетом. Приоритет сейчас в эффективности управления» [там же].

Их оппоненты из ИнСОРа, ЦСР и некоторых других экспертных структур настаивали на необходимости политической модернизации, представляя ее не только как ключ к полноценному и комплексному решению стоящих перед страной проблем, но и как необходимую адаптацию к потребностям «поднимающегося» среднего класса. В преддверии думской избирательной кампании, в марте 2011 г. ЦСР опубликовал доклад «Политический кризис в России и возможные механизмы его развития». Опираясь на дан-

ные социологических исследований, его авторы фиксировали «неожиданные» сдвиги в политическом сознании населения, которые они, в частности, связывали с тем, что «в Москве и других крупных городах сложился массовый средний класс со стандартами потребления, близкими к западноевропейским. Популистская перераспределительная политика не отвечает его интересам и будет встречать эффективный отпор» [Белановский, Дмитриев, 2011, с. 23]. Авторы доклада констатировали, что «политический кризис в России уже идет полным ходом, хотя еще и не выплеснулся на поверхность политической жизни» [там же, с. 3]. Выводы этого документа очевидным образом контрастировали с основной идеей опубликованного несколькими неделями ранее доклада ИнОП, опровергавшего тезис о том, что «только немедленная демократизация социальной жизни решит все российские проблемы» [Оппозиция... 2011, с. 1]. Таким образом, мартовский доклад ЦСР не только поддержал «линию ИнСОРа», но и подкрепил ее данными о наличии общественного запроса на перемены. А в ноябре 2011 г. ЦСР опубликовал следующий доклад, в котором доказывалась неадекватность наличной политической системы новой «двухполюсной» структуре общества, в которой есть два полюса – люди с малым доходом и средний класс. Авторы доклада утверждали, что «необходимо возвращение к более конкурентной политической модели, которая сможет обеспечить представительство интересов среднего класса, соразмерное его численности и влиянию» [Движущие силы... 2011, с. 32].

Протестное движение 2011–2012 гг.: Средний класс как визуальная реальность

На наш взгляд, экспертные дискуссии, широко освещавшиеся печатными и электронными СМИ, внесли свою лепту в то, что начавшиеся после декабрьских выборов 2011 г. массовые протестные акции в Москве, Санкт-Петербурге и ряде крупных городов были восприняты многими наблюдателями как «движение среднего класса». Хотя социологи предупреждали против столь прямолинейных заключений, политики, журналисты и политические эксперты настойчиво интерпретировали меняющуюся ситуацию именно в таких терминах. Так, относительную неудачу «Единой России», набравшей на выборах в Государственную думу «почти, но не больше 50%», объясняли тем, что средний класс, у которого «нет своей партии», «не

хочет теперь голосовать за “Единую Россию”» [цит. по: Новикова, 2011]. Протестные акции зимы 2011–2012 гг. связывали с несбывшимися надеждами среднего класса¹. Участники посвященной России сессии Всемирного форума в Давосе в один голос говорили о появлении среднего класса: первый вице-премьер И. Шувалов назвал данный факт «началом нового социума» в России, а бывший министр финансов А. Кудрин заявил, что «поднимающийся средний класс требует четких правил, снижения рисков и что это положительное явление» [цит. по: Лысова, 2012]. На совещании первого замруководителя Администрации президента Вячеслава Володина с губернаторами было заявлено, что «в стране появился средний класс, который хочет открытого диалога с властью и “чтобы та не держала его за дурака”» [там же].

В тех же терминах объяснялись недостатки и слабости протестного движения. Например, директор Фонда исследования проблем демократии М. Григорьев, характеризуя первые акции протестантов как «начало выхода на арену городского среднего класса», подчеркивал, что «с политической и общественной точки зрения он абсолютно незрел – действует по принципу “назло маме отморожу уши”. Он не только не знает, не пытается понять, но и вовсе отказывается принимать во внимание права других частей общества...» [Григорьев, 2011]. Впрочем, политический эксперт высказывал надежду, что со временем «российский городской средний класс станет более ответственным», и начать ему стоит с участия «в развитии и управлении территорий своего проживания» [там же]. В том же духе, метафорически сравнивая средний класс с неадекватным подростком, писал о митингах в Москве руководитель Департамента по работе со сторонниками партии «Единая Россия» и общественными объединениями А. Ильницкий: «Власть по-родительски обижалась на митинговую активность “новых средних”, на их пубертатную подростковую бузу. Ибо средний класс возрос и окреп именно в путинское время, ему “отдали все” – а он “на тебе”, неблагодарный, недоволен и норовит сбежать во двор к товарищам... Надо не обижаться, коллеги, а с пониманием относиться к этим “прыщавым” издержкам гражданского

¹ По словам И. Юргенса, слова Медведева о свободе, борьбе с коррупцией и пр., повторявшиеся в различных редакциях с 2008 г., «зарядили на надежду, если не на борьбу за свободу, очень большие группы людей и уж точно средний класс. Они были предтечей всех протестных акций последнего времени» [цит. по: Самарина, Твердов, 2011]

роста» [Ильницкий, 2012]. Кстати, весьма характерно, что в то время как «либеральные» политические эксперты стремились представить средний класс как «класс, создавший себя сам» [Юргенс, 2008], их «провластные» коллеги подчеркивали, что «на протяжении 20 лет власть сознательно создавала условия и помогала его развитию, находясь в уверенности, что именно он и есть основа стабильности общества» [Григорьев, 2011]. Последнее вряд ли было справедливо, ибо задача укрепления среднего слоя оказалась в ряду приоритетов государственной социальной политики лишь в конце «тучных нулевых». Интересно, однако, что в контексте протестного движения о среднем классе стали говорить как о действующем лице развертывающегося нарратива, включенном в отношения, имеющем историю, способном вызывать эмоции, возбуждать ожидания, воодушевлять, разочаровывать и т.п. Благодаря такой репрезентации протестного движения 2011–2012 гг. средний класс визуализировался в качестве героя социальной драмы.

Средний класс и его критики

Неудивительно, что он приобрел критиков не только в лице представителей политического истеблишмента, вставших в оборонительную позицию в связи с протестным движением, но и в рядах консервативно-патриотической оппозиции (которая и сама частично участвовала в акциях зимы-весны 2011–2012 гг.). Последняя весьма неоднородна, и в ее дискурсе можно выделить несколько линий аргументации. Первая связана с противопоставлением «нового» среднего класса «старому» советскому – интеллигенции¹. Например, оппонировав идее Суркова о «классе-гегемоне», С. Кара-Мурза писал: «Нам предлагается видеть в среднем классе чуть ли не стеновой хребет современной России. Неужели это всерьез?». Это «продукт постсоветского смутного времени, который уже не обременен коллективной памятью “советского типа”, но не обрел “своей” памяти... Куда он может повести расколотое общество, кого он может сплотить для творческого усилия?» [Кара-Мурза, 2009; ср.: Изборский клуб, 2012]. По словам Кара-Мурзы, преодоление кризиса следует связывать с усилиями не отдельного класса, но «культурно-исторического типа,

¹ Нужно отметить, что вопрос о преемственности с советским средним классом поднимался и в экспертных разработках ИнОПа [Основные тезисы... 2009, с. 26–28], ИнСОРа [Российские средние классы... 2008] и ЦСР [Дмитриев, 2012].

который стал складываться задолго до 1917 года, но оформился уже как «советский человек»» [там же]. Позже, когда В. Путин вернулся в президентское кресло, ту же идею более резко выразил С. Роганов: утверждая, что «реабилитация СССР» должна быть выдвинута в качестве «четкой и ясной для всех задачи государственной идеологии», он предлагал президенту опираться «не на пресловутых силовиков, а на осколки советского среднего класса в новом государстве. Того самого, который и создавал, строил, образовывал супердержаву – Советский Союз» [Роганов, 2012].

Вторая линия критики «среднего класса» закрепились на фоне стремления новой администрации Путина сплотить «патриотическое большинство», противопоставляя его «западническому меньшинству». Некоторые постоянные члены Изборского клуба – экспертной организации, созданной в сентябре 2012 г. в качестве «интеллектуальной альтернативы либеральному проекту», – критикуют «прозападный» средний класс за его «непатриотичность». При этом активно используется тема демократии большинства. Так, С. Черняховский, ссылаясь на данные Левада-Центра, согласно которым только 25% представителей среднего класса готовы отдать сыновей в армию, доказывал, что «миф-класс», который «больше всего требует демократии», меньше всего ее заслуживает [Черняховский, 2013 а, с. 111]. Он призывал власть игнорировать рекомендации аналитиков, предлагающих «делать ставку на входящие в жизнь “прозападные поколения”, т.е. развивать рыночные отношения, сокращать государственное регулирование и все больше внедрять политическую конкуренцию западного типа». По его словам, это будет означать, что власть «отвернется от остальных, от большинства населения» [Черняховский, 2013 б].

Впрочем, не все эксперты Изборского клуба считают средний класс «прозападным»: некоторые склонны рассматривать его как резерв для консервативно-патриотической пропаганды. По словам исполнительного секретаря клуба В. Аверьянова, представление о том, что «у нас средний класс ориентирован на Запад, на демократические ценности, на честные выборы, на белоленточную оппозицию», – это «очень раздутый миф». В действительности же кроме «богемного среднего класса» и «высшего среднего класса» есть «основной средний класс, миллионы людей», которые «склоняются скорее к нашим традиционным ценностям, консервативным» [Аверьянов, 2013]. Таким образом, в то время как одна часть «среднего класса» рассматривается на правоконсервативном фланге в качестве политического противника, другая его часть

воспринимается как потенциальный союзник. И в том и в другом случае дискурс «консервативных» экспертов способствует закреплению представления о «реальности» среднего класса.

Заключение

Описанные здесь экспертные дискуссии о среднем классе были частью политических процессов, связанных с наличием двух центров власти в 2008–2011 гг. и турбулентностью, которая возникла после неудачной «рокировки» внутри правящего «тандема». Выполняя заказ на исследование факторов роста среднего класса, заявленного в качестве официальной цели государственной политики, представители ряда московских экспертных организаций внесли заметный вклад в формирование представлений читающей публики об этой группе и тем самым – в ее социальное конструирование. В какой-то момент они оказались в роли публичных защитников «интересов» среднего класса – и объектом политической критики со стороны спикеров, пытавшихся привлечь внимание власти к запросам конкурирующих групп. Можно сказать, что экспертно-аналитические центры отчасти взяли на себя идеологические функции, подменяя в этом качестве отсутствующую «партию среднего класса». Впрочем, замена по определению не могла быть полноценной: с одной стороны, политические эксперты имеют ограниченные возможности влияния и зависят в реализации своих предложений от тех, кто наделен властью или участвует в борьбе за власть, с другой стороны, их основная деятельность требует объективности и неангажированности. После возвращения В. Путина к исполнению обязанностей президента тема среднего класса постепенно отошла на второй план, хотя изменение приоритетов социальной политики отчасти пытались замаскировать подобием прежней риторики¹. Правда, к задаче роста среднего класса активно апеллировали в период, когда шла борьба за выработку нового курса, – но это уже тема для другой статьи.

¹ Так, в первом ежегодном послании нового срока Путин говорил о необходимости поддержки «креативного класса», сознательно представляя термин, использовавшийся когда-то для характеристики участников протестных акций 2011–2012 гг., как синоним, с одной стороны, «бюджетников», а с другой – «интеллектуалов». К этой категории он отнес «врачей, учителей, преподавателей вузов, работников науки, культуры», которые «по уровню доходов... пока не дотягивают до среднего класса» [Путин, 2012].

Литература

- Аверьянов В. Мы глашатаи термидора // Институт динамического консерватизма. – М., 2013. – 7 июля. – Режим доступа: http://www.dynacon.ru/content/articles/1400/?sphrase_id=540679 (Дата посещения: 22.12.2013.)
- Белановский С., Дмитриев М., Мисихина С. Средний класс в рентоориентированной экономике: Почему Москва перестала быть Россией? // SPERO. – М., 2010. – № 16. – С. 70–86. – Режим доступа: http://spero.socpol.ru/docs/N13_2010_06.pdf (Дата посещения: 10.02.2014.)
- Белановский С., Дмитриев М. Политический кризис в России и возможные механизмы его развития // Центр стратегических разработок. – М., 2011. – Режим доступа: <http://www.csr.ru/docs/category/51-2009-12-24-06-54-11?download=172%3A&lang=ru> (Дата посещения: 12.07.2013.)
- Бортников А. Интрига съезда // Известия. – М., 2008. – 20 ноября. – Режим доступа: <http://izvestia.ru/news/342909> (Дата посещения: 8.02.2014.)
- Бунин И. Проблема среднего класса в современной России: Выступление Президента Центра политических технологий Игоря Бунина на конференции «Средний класс: проблемы формирования и перспективы роста», Институт современного развития, 28 апреля 2008 г. – М., 2008. – Режим доступа: http://www.insor-russia.ru/en/news/about_insor/375 (Дата посещения 8.02.2014.)
- Гонтмахер Е., Григорьев Л., Малева Т. Средний класс и российская модернизация // Время новостей. – М., 2008. – 1 февраля. – № 13. – Режим доступа: <http://www.vremya.ru/2008/14/8/196754.html> (Дата посещения: 8.02.2014.)
- Григорьев Л., Салмина А., Кузина О. Российский средний класс: Анализ структуры и финансового поведения. – М.: Экон-Информ, 2009. – 148 с. – Режим доступа: http://www.insor-russia.ru/files/middle_class_gr.pdf (Дата посещения: 9.02.2014.)
- Григорьев М. Это требование влияния на политические решения и участия в управлении государством // Известия. – М., 2011. – 6 декабря. – Режим доступа: <http://izvestia.ru/news/508863#ixzz2sXufpqGT> (Дата посещения: 9.02.2014.)
- Движущие силы и перспективы политической трансформации России / Центр стратегических разработок; С. Белановский, М. Дмитриев, С. Мисихина, Т. Омельчук. – М., 2011. – 77 с. – Режим доступа: <http://www.csr.ru/docs/category/8-?download=201%3A&lang=ru> (Дата посещения: 14.07.2013.)
- Демократия: Развитие российской модели / Под общ. ред. И.Ю. Юргенса. – М.: Эконинформ, 2008. – 80 с.
- Дискуссия о среднем классе: Материалы конференции «Средний класс: проблемы формирования и перспективы роста», Москва, 24 апреля 2008 г. / ИНСОП. – М., 2008. – 38 с. – Режим доступа: http://uisrussia.msu.ru/docs/nov/insor/Middle_class.pdf (Дата посещения: 22.12.2013.)
- Дмитриев М. На полпути к богатству // Эксперт. – М., 2008. – № 12 (601), 24 марта. – Режим доступа: http://expert.ru/expert/2008/12/na_polputi_k_bogatstvu/ (Дата посещения: 10.02.2014.)
- Дмитриев М. «Чтобы раскатать лодку, осталось уже немного» // Новая газета. – М., 2012. – 30 мая. – Режим доступа: <http://www.novayagazeta.ru/politics/48277.html> (Дата посещения: 31.05.2012.)

- Единороссы вступились за средний класс // РБК daily. – М., 2008. – 27 ноября. – Режим доступа: <http://www.rbcdaily.ru/2008/11/27/focus/392270> (Дата посещения: 9.02.2014.)
- Изборский клуб. Второе заседание // Завтра. – М., 2012. – № 41 (985). – Режим доступа: <http://zavtra.ru/content/view/izborskij-klub-2/> (Дата посещения: 9.02.2014.)
- Ильницкий А. Партийная карта после выборов // Известия. – М., 2012. – 6 марта. – Режим доступа: <http://www.izvestia.ru/news/517689> (Дата посещения: 9.03.2012.)
- Кара-Мурза С. Требуется гегемон // Известия. – М., 2009. – 5 мая. – Режим доступа: <http://izvestia.ru/news/348215> (Дата посещения: 9.02.2014.)
- Лысова Т. Кудрин: С ростом среднего класса в России назрела политическая реформа // Ведомости. – М., 2012. – 26 января. – Режим доступа: http://www.vedomosti.ru/politics/news/1486218/kudrin_s_rostom_srednego_klassa_v_rossii_nazrela (Дата посещения: 22.12.2013.)
- Малинова О.Ю. Еще один рыбок? Образы коллективного прошлого, настоящего и будущего в современных дискуссиях о модернизации // Политическая наука / РАН. ИНИОН. – М., 2012. – № 2. – С. 49–72.
- Малинова О.Ю. Экспертно-аналитические организации и формирование общественной повестки дня: Анализ идеологических практик в современной России // Политическая наука / РАН. ИНИОН. – М., 2013. – № 4. – С. 192–210.
- Медведев Д.А. Выступление на церемонии вступления в должность Президента России // Президент России. – М., 2008. – 7 мая. – Режим доступа: <http://archive.kremlin.ru/text/appears/2008/05/200262.shtml> (Дата посещения: 12.01.2014.)
- Михайлов А. Средний – это класс // Российская газета. – М., 2008. – 1 декабря. – Режим доступа: <http://www.rg.ru/2008/12/01/surkov.html> (Дата посещения: 7.02.2014.)
- Никонов В. Ярославль, Валдай, далее везде // Известия. – М., 2009. – 23 сентября. – Режим доступа: <http://izvestia.ru/news/353341> (Дата посещения 8.02.2014.)
- Новикова Е. А. Макаркин: «Необходимо извлечь урок» // Expert Online. – М., 2011. – 4 декабря. – Режим доступа: <http://expert.ru/2011/12/4/izvlech-urok/> (Дата посещения 9.02.2014.)
- Оппозиции нашего времени: Доклад Института общественного проектирования о состоянии и перспективах политической системы России / ИНОП. – М., 2011. – 14 с. – Режим доступа: http://www.inop.ru/files/inop_doklad_2011.pdf (Дата посещения: 22.12.2013.)
- Основные тезисы ежегодного доклада Института общественного проектирования «Оценка состояния и перспектив политической системы Российской Федерации в 2008 г. – начале 2009 г.» // ИНОП. – М., 2009. – 11 июня. – Режим доступа: http://www.inop.ru/files/4n_tezisi_2009_06_11.doc (Дата посещения: 22.12.2013.)
- Оценка состояния и перспектив политической системы Российской Федерации в 2008 г. – начале 2009 г.: Первый ежегодный доклад Института общественного проектирования. – М., 2009. – 56 с. – Режим доступа: http://www.inop.ru/files/Doklad_2009_mr.pdf (Дата посещения: 10.02.2014.)
- Путин В.В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации // Президент России. – М., 2007. – 26 апреля. – Режим доступа: http://archive.kremlin.ru/appears/2007/04/26/1156_type63372type63374type82634_125339.shtml (Дата посещения: 5.02.2014.)

- Путин В.В. Выступление на расширенном заседании Государственного совета «О стратегии развития России до 2020 года» // Президент России. – М., 2008. – 8 февраля. – Режим доступа: <http://archive.kremlin.ru/text/appears/2008/02/159528.shtml> (Дата посещения: 19.01.2014.)
- Путин В.В. Послание Президента Федеральному Собранию // Президент России. – М., 2012. – 12 декабря. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/news/17118> (Дата посещения: 13.12.2013.)
- Ремчуков К. Еще раз о спасении среднего класса // Независимая газета. – М., 2008. – 12 декабря. – Режим доступа: http://www.ng.ru/ideas/2008-12-12/5_regions.html (Дата посещения: 8.02.2014.)
- Роганов С. Новые «приложения» // Известия. – М., 2012. – 8 августа. – Режим доступа: <http://izvestia.ru/news/532485> (Дата посещения: 10.08.2013.)
- Российские средние классы накануне и на пике экономического роста / А.Е. Шаститко, С.Б. Авдашева, М.А. Овчинников, Т.М. Малева, Л.Н. Овчарова. – М.: Экон-Информ, 2008. – 200 с. – Режим доступа: http://www.insor-russia.ru/files/middle_class_2.pdf (Дата посещения: 9.02.2014.)
- Россия XXI века: Образ желаемого будущего / ИНСОП. – М.: Экон-Информ, 2010. – 68 с. – Режим доступа: http://www.insor-russia.ru/files/Obraz_gel_zavtra.pdf (Дата посещения: 22.12.2013.)
- Самарина А., Твердов П. В этой чудесной стране люди будут жить долго и счастливо // Независимая. – М., 2012. – 25 апреля. – Режим доступа: http://www.ng.ru/politics/2012-04-25/1_perspektivy.html (Дата посещения: 22.12.2013.)
- Стенограмма круглого стола «Новая социальная доктрина России: Как сделать большинство граждан России средним классом» // ИНОП. – М., 2008. – Режим доступа: <http://www.inop.ru/files/21%2004%2008%20%20stenogramma.doc> (Дата посещения: 22.12.2013.)
- «Форум-2020». «В поисках среднего класса» // Известия. – М., 2008. – 9 апреля. – Режим доступа: <http://izvestia.ru/news/335301> (Дата посещения: 8.02.2014.)
- Черняховский С. У них другое отечество // Изборский клуб. – М., 2013 а. – № 9. – С. 110–111.
- Черняховский С. «Пойдя навстречу “новым либералам”, власть потеряет поддержку большинства» // КМ.RU. – М., 2013 б. – 27 сентября. – Режим доступа: <http://www.km.ru/v-rossii/2013/09/27/sergei-sobyenin/721619-poidya-navstrechu-novum-liberalam-vlast-poteryaet-podderz> (Дата посещения: 8.02.2014.)
- Шестопап Е.Б. Политическая повестка дня российской власти и ее восприятие гражданами // Полис. – М., 2011. – № 2. – С. 8–24.
- Юргенс И. Средний класс: не искать, а поддерживать // Независимая газета. – М., 2008. – 12 декабря. – Режим доступа: http://www.ng.ru/ideas/2008-12-12/5_contract.html (Дата посещения: 8.02.2014.)

О.Ю. Малинова

В ОЖИДАНИИ ОБЪЕДИНЯЮЩЕГО НАРРАТИВА: СИМВОЛИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТСОВЕТСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ РОССИИ

Рец. на кн.: Gill G. *Symbolism and regime change: Russia*. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2013. – viii, 246 p.

Монография профессора Сиднейского университета Грема Гилла «Символизм и смена режима: Россия» является продолжением книги «Символы и легитимность в советской политике», увидевшей свет в издательстве Кембриджского университета двумя годами ранее [Gill, 2011]. Обе публикации отражают результаты одного исследовательского проекта и имеют общую методологию. В основе данного исследования лежит теоретическая посылка, которую в полной мере разделяют авторы этого сборника: смена режима – это не только смена институтов и правил, но и замещение прежней системы символов. Чем радикальнее перемены, тем больше времени требуется на выработку представлений, поддерживающих новый порядок. Не случайно этот аспект постсоветской трансформации не сразу оказался в фокусе внимания исследователей; лишь в 2000-х годах стали появляться фундаментальные работы, посвященные осмыслению траектории эволюции и результатов символической политики в России [Smith, 2002; Мисюров, 2004; Urban, 2010; Малинова, 2013 и др.]

По мысли Гилла, «все режимы вырабатывают символические программы, которые стремятся зафиксировать существующие символические матрицы и артикулировать, что представляют собой и общество, и режим» (р. 2). Но распавшийся в 1991 г. СССР был необычным режимом: по степени проникновения идеологиче-

ских идей и способов мышления в разные сферы жизни он не имел равных даже среди других идеократических режимов. В этом смысле российский случай не типичный, а скорее экстраординарный: политической элите нового государства предстояло решить поистине труднейшую задачу – сформировать новое видение общества, способное заменить разложившийся еще в позднесоветский период *метанарратив*, который отличался беспрецедентной идеологической связностью и в то же время – значительной гибкостью [Gill, 2011, р. 266]. Замечу, что хотя, как справедливо утверждает Гилл, к моменту появления нового Российского государства советский метанарратив уже был разрушен, память о нем до сих пор продолжает задавать стандарты восприятия современных идеологических конструкций. С учетом этого трудно сказать, осуществима ли вообще задача «полноценного» замещения такого метанарратива. Принимая во внимание стремление нового режима обходиться без формальной идеологии и отсутствие у него тотального контроля, характерного для СССР, автор книги считает такую перспективу маловероятной (р. 7). Однако задачу разработки нового «символического нарратива», опирающегося если не на формальную идеологию, то на систему символов, способных «объяснить распад советского эксперимента и то, почему постсоветский режим является его более достойной заменой» (р. 7), он рассматривает как императивную для нового режима.

Прежде чем перейти к обсуждению наблюдений и выводов, представленных в книге Г. Гилла, нужно пояснить методологию его исследования, описываемую в первой, вводной главе. Автор рассматривает символы как средства понимания мира: они упрощают сложную реальность, представляя ее в форме понятий, идей и визуальных образов, и служат средством для выражения более сложных представлений и концепций. Основными инструментами анализа «символизма политики» выступают понятия идеологии, метанарратива и мифа; заданные ими связи определяют логику авторской модели теоретического описания советского и по контрасту – постсоветского опыта.

Идеология интерпретируется как «фундаментальное философское основание режима, его формальный интеллектуальный базис и ядро его легитимации» (р. 3). В силу своей сложности идеология не слишком приспособлена для задач повседневной коммуникации правящих и управляемых.

Эту роль выполняет то, что Гилл называет *метанарративом*, – «совокупность дискурсов, в упрощенной форме представ-

ляющих идеологию и выступающих в качестве инструмента посредничества между режимом и народом» (р. 3). Метанарратив – это средство трансформации идеологических принципов в практику повседневной реальности граждан; это символическая конструкция общества и объяснение его прошлого (почему оно стало тем, чем является) и будущего (куда оно стремится). Именно смыслы, содержащиеся в дискурсах метанарратива, придают содержание ритуалам режима. Метанарратив уже идеологии, но больше связан с жизнью людей.

Поскольку метанарратив сфокусирован на темпоральных связях между прошлым, настоящим и будущим, он конституирован *мифами*. Под этим термином понимается «социально сконструированная история об обществе и его происхождении, которая обеспечивает членов сообщества смыслами, позволяющими объяснять важные аспекты жизни этого сообщества и его развитие» (р. 4). Миф социально сконструирован и является средством определения и объяснения социальной реальности для тех, кто в него верит. Другими словами, важно не то, каковы эмпирические основания мифа, а то, что он принят членами сообщества. Гилл выделяет шесть мифов, служивших основными элементами советского метанарратива; они связаны с Октябрьской революцией, строительством социализма, природой лидерства, внутренней и внешней оппозицией курсу партии и победой в Великой Отечественной войне [Gill, 2011, р. 4–5]. Следует отметить, что понятие мифа играет заметно большую роль в книге, посвященной советской политике; в исследовании изменений постсоветского режима Гилл почти не пользуется этим инструментом. Описывая структуру «видения новой России», артикулируемого ее президентами, он говорит не о «мифах», но о «темах». Соотношение этих терминов не поясняется; можно, однако, предположить, что «темы» не стали «мифами», поскольку в силу разных причин общество не приняло предложенные ему истории прошлого – настоящего – будущего.

В качестве отправной точки своего анализа Гилл берет период перестройки, когда завершилось начавшееся еще в 1960-х годах разложение советского метанарратива. Облекая аргументы в пользу перемен в «традиционный символизм режима», Горбачёв лишь усилил его внутренние противоречия. По мнению Гилла, наиболее явным кандидатом на смену распадавшемуся советскому метанарративу мог стать набор символов, которые в противостоянии Горбачёву развивал Б.Н. Ельцин, – независимость России, свобода, демократия

и экономическое благополучие. Этот набор оказался убедительным для российских элит, и это, по мнению Гилла, решило судьбу Союза.

Независимой России предстояло уладить множество проблем; одной из наиболее сложных была необходимость решать вопрос о природе российского политического сообщества в отсутствие «готового» целостного нарратива. Требовалось найти интеллектуальное обоснование рождению нового государства. Речь шла не просто о легитимации новой политической системы, но о выработке новой конструкции постсоветского российского сообщества. По словам Гилла, «требовалась новая форма символического дискурса, способного заменить советский. Был нужен дискурс, воплощающий видение российского общества и его будущего, пусть не такой всеохватывающий, как советский, но способный завоевать гегемонию в публичной сфере» (р. 26–27). Автор подчеркивает, что подобная ситуация отнюдь не уникальна, – в качестве примера он приводит дискуссии, имевшие место в США сразу после обретения независимости. Он полагает, что в конструировании такого рода нарративов центральную роль играет политическая элита.

Анализ собственно постсоветских символических практик начинается третья глава, посвященная «видению лидеров». По словам Гилла, «если бы новому постсоветскому нарративу было суждено родиться на обломках советского метанарратива, ведущую роль в этом должны были бы сыграть известные политические фигуры. Их сильнее всего касалась проблема легитимности, и именно они были ответственны за выработку ориентиров для будущего» (р. 28). Материалом для анализа послужили ежегодные послания Федеральному собранию, которые Гилл считает «прекрасной возможностью для артикуляции видения будущего» (р. 35), а также некоторые другие речи президентов Б.Н. Ельцина, В.В. Путина и Д.А. Медведева. С его выводом трудно не согласиться: постсоветские лидеры не проектировали нарратив, способный заменить советский метанарратив, – дискурсу, исходившему из президентского офиса, недоставало единства. Этот дискурс «не составлял целостный нарратив, связывающий советское прошлое и российское настоящее и будущее в последовательную и убедительную историю» (р. 78).

По мнению автора, ответственность за этот результат несут все три лидера. Однако наибольшее значение имела неудача Ельцина, который упустил возможность сконструировать новый нарратив на обломках советского. Как показывает Гилл – и к тому же

выводу приходят и другие исследователи символической политики 1990-х [Smith, 2002; Urban, 2010; Малинова 2012 и др.], – Ельцин стремился легитимировать свой политический курс, апеллируя к необходимости преодоления «тоталитарного» советского прошлого. По мысли Гилла, проблема при этом заключалась в том, что общество знало, каким было это прошлое, но плохо представляло себе будущее. Это давало Ельцину «прекрасную возможность артикулировать целостное представление о свободной России, укоренив его в убедительном нарративе; однако он оказался не в состоянии это сделать и вместо этого больше опирался на воскрешение образов прошлого» (р. 35). Критикуя советскую систему, первый президент России отрицал мифы и символы, составлявшие прежний метанарратив. В силу этого он оказался лишен возможности «интегрировать советское прошлое в нарратив, предлагающий убедительное объяснение недавней истории и современной ситуации» (р. 47). На мой взгляд, аналитический инструментарий Гилла позволяет точно объяснить, почему избранная Ельциным стратегия легитимации собственного курса по контрасту с прошлым оказалась неэффективной: отвергнув элементы старого советского метанарратива (за исключением одного – победы в Великой Отечественной войне), он лишился «строительного материала» для конструирования нового. Хотя трансформация (частичное изменение содержания) уже существующих мифов – задача непростая, перспектива их замены полноценной системой новых мифов в краткосрочной перспективе и вовсе неосуществима, даже при наличии у государства полного контроля за политическими коммуникациями (которого уже не было). Разумеется, это не единственная проблема символической политики 1990-х – неразрешимой оказалась и задача конструирования мифов, проектирующих будущее, точнее – подкрепления артикулируемых политической элитой образов повседневным опытом современников и реакцией Значимых Других.

С этой точки зрения вполне объясним и ограниченный успех символической политики Путина: отчасти вернув «символизм советского периода, он не создал связного нарратива, объединяющего досоветское, советское и постсоветское прошлое в одну историю» (р. 62); при этом он настаивал на неприемлемости для России западных моделей (которые в начале 1990-х отчасти помогали решать проблему проектирования будущего).

Согласно выводу Гилла, ни один из российских президентов не преуспел в выработке картины будущего России (р. 77). Хотя

Путин и Медведев избегали ельцинского эпитета «нормальное», именно он, по мнению автора, наиболее точно отражал их видение российского общества: общество без драматических волнений, работающее на основе установившихся норм и процедур. Однако даже у людей, переживших экономическое неустойчивое позднесоветского периода и 1990-х годов, это едва ли могло вызвать энтузиазм. Кроме того, президентский дискурс не отличался постоянством: хотя элементами картины оставались сильное государство, демократия и рыночная экономика, для Ельцина, Путина и Медведева эти слова означали разные вещи.

Пожалуй, наиболее интересная часть исследования Гилла представлена в четвертой главе, рассматривающей «символизм политической арены». По мысли автора, в складывании системы символов, подкрепляющих новый порядок, большую роль играют не только идеи, артикулируемые заметными политическими фигурами, но и институциональные сигналы, посылаемые политической системой: последняя «порождает собственную институциональную культуру и набор символов и образов... Символизм такого рода играет решающую роль для понимания природы политической системы» (р. 79–80). Гилл справедливо отмечает, что в случае советского режима символическая репрезентация политической системы противоречила официальной риторике: несмотря на все заявления о демократии и народовласти, она больше напоминала «усталый авторитаризм» (р. 80). Следовательно, если бы 1991 год действительно знаменовал решительный разрыв с прошлым, он должен был воплотиться в более открытой и партисипаторной политической системе. Однако этого не произошло. Гилл показывает это, анализируя символизм институтов президентства, Конституции, выборов, парламентаризма и партий, а также гражданского общества.

Институт президентства, созданный в 1991 г., в результате политических битв начала 1990-х обрел независимость от законодательной власти и стал «иерархическим центром» системы. Однако идея самостоятельной легитимности президента, избираемого народом, оказалась выхолощена: президентство превратилось в дар инкумбента наследнику. Вместе с тем выстраивавшаяся система символических репрезентаций настойчиво подчеркивала, с одной стороны, психологическое единство лидера и народа, способность лидера «понимать чаяния» людей и обращаться к ним напрямую, а с другой – разделяющую их дистанцию. Гилл показывает это, анализируя эволюцию имиджей трех глав российского

государства. Прочность символизма этого института подтверждается тем, что и при «слабом» Медведеве в рамках сложившейся институциональной культуры президент оставался ключевым звеном политической системы. Вместе с тем сохранение сильного влияния Путина в период «тандема» лишь подкрепляло представление о том, что страну направляют не институциональные правила, а воля сильного лидера.

Весьма противоречивым оказался символизм такого элемента, как правила игры, воплощенные в Конституции: по некоторым важным вопросам авторитет Основного закона неукоснительно признавался политическими акторами, однако в повседневном функционировании политической системы предписания Конституции не играли большой роли, поскольку *modus operandi* определялся практиками, не соответствующими ее духу. В результате символизм Основного закона «не способствовал возникновению нарратива, подчеркивающего образ общества, основанного на институциональных правилах» (р. 109).

Не менее противоречивыми оказались символические эффекты основных каналов народного влияния – выборов, партий и законодательной власти. В постсоветский период упрочилась символическая связь выборов и демократии, присутствовавшая и в советском метанарративе. Правда, в 2000-е годы произошло смещение акцентов: если в 1990-х годах народное голосование представлялось как выбор пути развития, то теперь оно трансформировалось в поддержку лидера и того, что он символизирует. Образ выборов как центрального элемента демократии подрывали и фальсификации, масштаб которых последовательно нарастал. Противоречивый символизм этого элемента институциональной культуры политической системы усугублялся очевидным разрывом между демократической риторикой и реальными практиками функционирования законодательной власти и партий. «Вместо того, чтобы составлять нарратив развития стабильных демократических институтов, функционирование соответствующих частей политической системы упрочивало образ персонализированной политики, сосредоточенной на президенте» (р. 122). К тому же вывод автора приводит анализ институциональной культуры гражданского общества (последнее интерпретируется как совокупность автономных групп, способных отстаивать свои интересы в публичной сфере).

Гилл приходит к выводу, что символический образ политической системы постсоветской России отличается преэмптенностью;

однако векторы его развития отнюдь не соответствуют идеалу открытой и партисипаторной политической системы, заявленному в начале 1990-х годов. Центральным символом политической системы и ее центральным институтом является президент, который существенно дистанцирован от простых людей. С передачей власти от Ельцина Путину, от Путина Медведеву и обратно нарастает впечатление перехода от беспорядочности к стабильности и системности, укрепляется «образ нарастающей регулярности». Однако «отсутствие соответствия между символизмом демократии и символизмом, проистекающим из *modus operandi* системы, порождает символическую непоследовательность (*incoherence*)» (р. 127).

На мой взгляд, анализ символизма политической системы – наиболее интересная и оригинальная часть исследования Гилла. В двух заключительных главах, посвященных конструированию постсоветской идентичности и реконструкции Москвы, равно как и в третьей главе, построенной преимущественно на анализе ежегодных президентских посланий, он рассматривает материал, многократно изученный как зарубежными, так и российскими учеными. К сожалению, работы последних практически не нашли отражения в книге Гилла. Подобно большинству зарубежных авторов, пишущих о России и владеющих русским языком, он плохо представляет себе результаты исследований российских коллег. Это особенно бросается в глаза в главе об идентичности – теме, весьма активно дискутируемой в отечественной литературе. И хотя выводы Гилла, полагающего, что состояние общественных дискуссий о русскости / российскости и об отношении к советскому прошлому свидетельствуют об отсутствии «целостного нарратива», вряд ли вызовут возражения у его российских коллег, представляется, что знакомство с их работами позволило бы составить более полное представление о конфигурации пространства публичных дискуссий, которую трудно реконструировать на расстоянии по заведомо неполному кругу доступных источников.

В конечном счете Гилл приходит к выводу, что «на протяжении двух десятилетий существования независимой России ее президенты оказались неспособны артикулировать целостный нарратив, воплощающий видение ее будущего и того, каким образом оно должно быть создано» (р. 212). Он утверждает, что это относится ко всем акторам национального уровня, – однако нужно признать, что его анализ был сосредоточен преимущественно на риторике и деятельности первых лиц (возможно, соответствующие оговорки имело смысл сделать в самом начале книги). В том же,

что касается других акторов – политиков, публичных интеллектуалов, журналистов, писателей и пр., отстаивающих разные модели русской / российской идентичности, – проблема заключается не в отсутствии связанных нарративов (которые Гилл, в общем-то, и не анализирует), а в том, что в сложившейся политико-идеологической системе ни одна из конкурирующих интерпретаций национального прошлого – настоящего – будущего не может обрести гегемонию. Причины этого отчасти связаны с тем, что соперничество этих нарративов происходит по принципу игры с нулевой суммой, а отчасти обусловлены отсутствием у большинства игроков данного поля достаточных ресурсов. Тем большее значение приобретает символическая политикой тех, кто имеет право говорить от имени государства, – ее-то преимущественно и исследовал Грем Гилл.

В заключение он задается вопросом: почему постсоветским лидерам не удалось развить артикулируемые ими представления в полноценный национальный нарратив? Гилл вынужден признать, что у Ельцина это не получилось потому, что в политической системе 1990-х любое содержание такого нарратива было обречено стать предметом политического оспаривания, и шансов на примирение позиций не было. С приходом к власти Путина эта проблема исчезла – отчасти благодаря ослаблению позиций коммунистов, отчасти благодаря смягчению отношения к советскому наследию. Однако, по мнению Гилла, и в 2000-х годах, и сейчас формирование постсоветского нарратива упирается в проблему интеграции в него советского прошлого – оно слишком значимо и слишком разнородно, чтобы можно было «разделаться» с ним, оценивая его целиком негативно или выбирая из него исключительно те моменты, которые удобны для сегодняшних политических целей. Трудно не согласиться с тем, что «объективная история советского периода, со всеми изъянами и недостатками, могла бы в конечном счете усилить российскую политику», равно как и с тем, что движение в этом направлении не встречает «волны народной поддержки» (р. 229).

И хотя выводы Грэма Гилла звучат весьма пессимистично, хочется думать, что проделанная им работа не была напрасной. Он не только убедительно продемонстрировал значение «символизма» для трансформации политического режима, но и точно определил «узкие места» постсоветской символической политики. И то и другое полезно знать как политологам, так и политикам.

Литература

- Малинова О.Ю. Политическое использование прошлого как инструмент символической политики: эволюция дискурса властвующей элиты в постсоветской России // Политэкс. – СПб., 2012. – Т. 8, № 4. – С. 179–204.
- Малинова О.Ю. Конструирование смыслов: Исследование символической политики в современной России: Монография / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отдел полит. науки. – М., 2013. – 421 с.
- Мисюров Д.А. Политика и символы в России. – М.: МАКС Пресс, 2004. – 144 с.
- Gill G. Symbols and legitimacy in Soviet politics. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2011. – VI, 356 p.
- Smith K.E. Mythmaking in the new Russia: Politics and memory during the Yeltsin era. – Ithaca etc.: Cornell univ. press, 2002. – XI, 223 p.
- Urban M. Cultures of power in post-Communist Russia: An analysis of elite political discourse. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2010. – XI, 216 p.

М.Ю. Мартынов

**ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ИДЕНТИЧНОСТЬ: НОВЫЙ ВЗГЛЯД
НА СТАРУЮ ПРОБЛЕМУ**

**Рец. на кн.: Фадеева Л.А. Кто мы? Интеллигенция в борьбе
за идентичность. – М.: Новый хронограф, 2012. – 320 с.**

«Как, – воскликнет придирчивый читатель, – опять про интеллигенцию! Сколько можно? Ведь про нее уже столько написано, столько сломано копий в бесплодных дискуссиях, начиная с “веховских” времен!». Оказывается, не только можно, но и нужно. И дискуссии каждый раз оказываются не бесплодными. Просто ответ на вопрос: «Кто мы?», – и не предполагает завершенности. Это всегда процесс, путь, даже борьба. Книга Л.А. Фадеевой на этом пути – очень заметное интеллектуальное явление.

Тексты, посвященные русской интеллигенции, как правило, импульсивны, эмоциональны, потому что речь в них идет о самоопределении и самопознании. Этим же обусловлен и радикальный разброс оценок роли интеллигенции в истории России: ее то объявляют «солью земли», то обвиняют во всех бедах страны. Не менее противоположны и мнения о судьбе русской интеллигенции: от твердой убежденности, что она была, есть и будет «властителем дум», до алармистских прогнозов ее близкой «кончины». Но, пожалуй, одно всегда объединяло представителей столь разных взглядов: убежденность большинства авторов в «особости» русской интеллигенции, ее принципиальном отличии от «интеллектуалов» Запада. Причем в отношении к этим «интеллектуалам» проглядывала пусть не артикулируемая, но весьма ощутимая снисходительность. «Там», мол, «просто» люди интеллектуальных

профессий, а в России интеллигент – всегда нечто большее. В зависимости от позиции и вкусов автора, это «большее» принимало облик пророка или беса, подвижника или революционера, но почти всегда дополнялось убежденностью в уникальности российского феномена интеллигенции.

Книга Л.А. Фадеевой позволяет взглянуть на проблему принципиально по-иному. Автор заостряет внимание на сходстве ценностных систем и общественных функций русской интеллигенции и западных интеллектуалов. Компаративистика, открывшая в условиях глобализации новые горизонты, позволяет увидеть в предмете, вчера еще представлявшемся исключительным и неповторимым, не более чем проявление общих тенденций и закономерностей. И это узнавание себя в другом – тоже шаг самопознания.

Сделать столь далеко идущие выводы автору позволяет использование социокультурного метода. Слово «волшебного фонаря» он разрушает границы сомнений, преодолевает барьеры предрешенности и позволяет увидеть единую картину становления класса интеллектуалов современной цивилизации.

Основным признаком русской интеллигенции считалась ее критическая позиция по отношению к власти, доходящая до «отщепенства от государства» [Струве, 1990]. Именно здесь, как полагали, проходил водораздел, где заканчивался интеллектуал – профессионал интеллектуального труда, и начинался интеллигент – общественный деятель, революционер, человек, скорбящий о неустройстве мира, жаждущий его переделать на справедливых началах и критикующий власть, неспособную подвинуть общество к этому идеалу. Но, как выяснилось, критика государства, власти занимает в истории европейских интеллектуалов не меньшее место. Более того, «единственное, что объединяет эту страту, – это интеллектуальный процесс, отмеченный неустанными попытками дать явлениям критическую оценку...» [Манхейм, 2000, с. 158].

Л.А. Фадеева показывает, что именно с этой критической оценки действий правительства, в ходе так называемого дела Дрейфуса, начинается история, например, класса интеллектуалов во Франции. Причем острота дискуссий по этому делу определялась не только политическими импульсами, но и поиском социокультурных оснований национальной идентичности. Для одних – антидрейфусаров – Франция – страна католическая и монархическая, с присущими этим характеристикам атрибутами. Для других – дрейфусаров – республиканская и антиклерикальная. В свою очередь, эти социокультурные основания идентичности имели

и отчетливые нравственные коннотации. Принадлежавших к разным, подчас противоположным, партийным организациям и социальным группам дрейфусаров объединило ощущение несправедливости, творимой государством, и вполне диссидентское стремление противостоять его произволу. Так было положено начало европейской традиции, названной позже Ю. Хабермасом «политической культурой возражения», – понятием, вполне способным стать эпиграфом и к деятельности русской интеллигенции. Именно универсальные нравственные конструкции задавали общую для интеллектуалов-интеллигентов социокультурную матрицу поведения. Детерминантой этого поведения становится «социальный стыд» – стыд за общество, которое не может обеспечить достойной жизни своим членам. Автор приводит слова А. Тойнби, обращенные к согражданам: «... мы будем служить вам, мы посвятим наши жизни служению вам, и мы не можем сделать меньшего» (с. 120). Как здесь не вспомнить знаменитое радищевское: «Я взглянул окрест меня – душа моя страданиями человечества уязвлена». И не важно, что эти авторы разделены границами и веками: структура совести универсальна.

Л.А. Фадеева в своей книге отнюдь не ставит своей целью проследить вехи становления класса интеллектуалов на Западе и в России, ее задача несколько иная: показать решающее влияние этого класса на формирование политической идентичности. С момента появления класса интеллектуалов не было ни одного сколь-нибудь существенного политического процесса, на который его представители не оказали бы заметного влияния. Автор приводит важное замечание американского литературоведа Э. Саида: «Ни одна революция не делалась без интеллектуалов, как ни одна и контрреволюция» (с. 82). Так, протестные движения 1960-х годов, нередко называемые не иначе как «бунтом интеллектуалов», оказали огромное влияние на последующий вектор европейского развития. Анализируется в книге участие в политической жизни своих стран и представителей интеллигенции в посткоммунистической Восточной Европе, в Латинской Америке, в Турции.

Если, говоря о французских, немецких, а также неевропейских интеллектуалах, автор опирается, главным образом, на работы других ученых, то основу английского кейса составили результаты собственной исследовательской деятельности. Использование большого числа источников позволило нарисовать многоплановый и живой портрет британского «образованного класса». В Англии интеллек-

туалами, заложившими традиции критического взгляда на социальный порядок и правящий класс, стали члены Фабианского общества. Одни из создателей Лейбористской партии, а затем – в результате «социализирующего» влияния на либерализм – и неолиберализма, фабианцы и их последователи во многом определили социальный облик современной Британии.

Но еще более возрастает роль интеллектуалов, как подчеркивает автор, в связи с задачами конструирования идентичности, в том числе европейской, в современном глобализационном контексте. В книге достаточно подробно описаны экономические, политические, символические шаги, предпринимаемые Европейским сообществом по развитию европейской идентичности. Отмечаются трудности, возникающие на этом пути, связанные с демократическим дефицитом и засильем евробюрократии. Представлена широкая палитра мнений западных интеллектуалов, вызванных обострением проблемы формирования европейской идентичности в условиях экономического кризиса, а также в связи с ростом антиисламских настроений.

Особый интерес у читателя, надо полагать, вызовет глава книги, посвященная становлению интеллектуалов как профессионального класса. Например, в Англии важной вехой стало формирование ученых корпораций юристов и врачей, начавшееся с XIV в. Можно сказать, что именно тогда были заложены основы того феномена, который позднее стали именовать «профессиями». Важнейшими чертами корпораций стали их самоуправление, автономность вкупе с политической нейтральностью, и всю последующую историю профессий можно рассматривать как борьбу за распространение этих принципов на весь «образованный класс» (с. 110–111).

В книге развенчивается бытующее в обывательском сознании и в социальных науках представление, что «образованный класс» Запада, в отличие от интеллигенции, не брал на себя заботы обо всем обществе, не занимался проблемами его переустройства, не обременял себя ненужными идеалами. Опровергая эти суждения, автор приводит примеры социальной активности европейского профессионального класса, вроде движения сеттльментов, просветительского движения и т.д., живо напоминающие «хождение в народ» российской интеллигенции (правда, без пропагандистской составляющей).

Другое дело, что европейским интеллектуалам, действительно, было свойственно считать, что профессиональное решение

проблем (в медицине, образовании и т.д.) в итоге приносит больше пользы обществу, чем увлечение абстрактными идеалами. В этих представлениях сливались воедино идеи профессионализма и социального переустройства, «... интеллектуалы и профессионалы действовали как сообщества, чьи ценности и социальная активность были направлены на решение наиболее острых проблем общества» (с. 121).

Не меньше внимания, чем описание истории «образованного класса» Запада, уделяется в книге и анализу роли отечественной интеллигенции в российских идентификационных процессах. Вместе с автором читатель следит за перипетиями бурных дискуссий о роли и предназначении образованного слоя России начиная с 1880-х годов, когда, собственно, вводится в оборот понятие «интеллигенция», погружается в бурю эмоций «веховского» и «ново-веховского» противостояния, сопереживает трагедии русской интеллигенции в первые годы Советской власти.

Возможно, автору следовало чуть больше внимания уделить институциональным аспектам деятельности русской интеллигенции. Вероятно, для автора различия институционального и социально-политического контекстов выглядят очевидными, однако в тексте их стоило акцентировать. Если социокультурный подход позволяет увидеть сходство судеб интеллектуалов Запада и Востока, то институциональный помог бы высветить различия в условиях этой деятельности.

Авторитарный режим и невозможность создания политических партий на протяжении большей части истории превращали русскую интеллигенцию в аналог политического движения, в «квазипартию», выполняющую функции политической организации при отсутствии самой организации. Политическая неинституциональность порождала острые противоречия между различными отрядами интеллигенции внутри самого этого движения, а невозможность влияния на политическую ситуацию, разговор с властью «как со стеной» неизбежно выталкивали часть этих отрядов на позиции радикализма.

Возрождение роли интеллигентского движения в период перестройки и в последующие годы было связано не только с ее традиционным «отщепенством от государства» и антитоталитарным запалом. Во многом – и на это обращает внимание автор – интеллигенция оказалась востребована для решения задач, связанных с поиском новой идентичности. Новая власть, новый общественный строй, новые границы – все это вновь остро поставило

вопрос «Кто мы?». В книге предстают захватывающие сюжеты интеллектуальных поисков и идеологической борьбы вокруг ответа на него.

Крах мифа, созданного интеллигенцией в перестроечный период о достижении социально справедливого, демократического и безопасного общества, казалось бы, должен был похоронить ее надежды когда-нибудь вновь претендовать на роль властительницы дум. Тем удивительнее, что в последнее десятилетие мы стали свидетелями возрождения (очередного!) интеллигентского движения. Впрочем, ничего удивительного, если следовать логике книги Л.А. Фадеевой, здесь нет. Ведь на повестке дня вновь стоит проблема обретения идентичностей.

В первую очередь, идентичности общенациональной, государственной, борьба за которую обострилась в связи с всплеском националистических настроений. Роль интеллигенции в формировании национального сознания и патриотического чувства трудно переоценить. Но автор обращает внимание читателя и на противостояние вокруг проблемы определения гражданской идентичности. Поводом к нему стал протест против фальсификаций в период выборов 2011–2012 гг. Кто были люди, вышедшие на митинги, – креативный класс, лучшая, «думающая» часть электората или маргиналы и «офисный планктон»? Кто были те, кто на выборах и после них поддерживал действующую власть: трудовая Россия, создающая основные материальные ценности и заинтересованная в политической стабильности, или некритически мыслящее, управляемое посредством СМИ большинство? Автор рассматривает драматические коллизии, возникающие в борьбе по поводу этих идентичностей.

Ну и конечно, неподдельный интерес вызовут у читателя последние страницы книги, посвященные конструированию региональной идентичности. Л.А. Фадеева рассматривает этот опыт на примере Пермской области. В спорах, в дискуссиях с собой, с властью, с общественностью именно интеллигенция области стала душой и движущей силой пермского культурного проекта.

На протяжении всей книги автор неоднократно возвращается к вопросу о будущем интеллигенции. Углубление профессиональных специализаций, в том числе в публичной сфере, казалось бы, создает условия для вытеснения интеллектуалов экспертами, политиками, политехнологами. Но скорее всего, слухи об очередной «смерти» интеллигенции сильно преувеличены. Скорее наоборот, продолжающийся мировой финансовый и экономический

кризис, поставивший под сомнение способность современного капиталистического устройства мира ответить на новые вызовы, вновь ставит в повестку дня борьбу за новые идентичности, поскольку именно «в кризисные периоды интеллектуалы оказываются в центре борьбы, предлагая диагноз обществу и варианты решения проблемы» (с. 118).

Книга Л.А. Фадеевой является фундаментальным исследованием роли класса интеллектуалов в современном мире. Само ее появление свидетельствует о том, что если ранее эта роль в основном была сферой дискуссий историков, философов и культурологов, то сегодня эта дискуссия во все большей мере приобретает политологический ракурс. Не случайно в 2012 г. книга была отмечена призовым местом на конкурсе РАПН. Написанная эмоционально, живым языком, она, несомненно, будет интересна как специалистам, так и широкому кругу читателей.

Литература

- Манхейм К. Проблема интеллигенции: Исследование ее роли в прошлом и настоящем // Манхейм К. Избранное: Социология культуры. – М.; СПб.: Университетская книга, 2000. – С. 94–229.
- Струве П.И. Исторический смысл русской революции и национальные задачи // Из глубины: Сб. ст. о русской революции / С.А. Аскольдов, Н.А. Бердяев, С.А. Булгаков и др. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. – С. 235–250.

Л.А. Фадеева

**БОРЬБА ЗА СМЫСЛЫ В КОНТЕКСТЕ
СИМВОЛИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ**

**Рец. на кн.: Малинова О.Ю. Конструирование смыслов:
Исследование символической политики в современной России:
Монография / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ.
исслед. Отд. полит. науки. – М., 2013. – 421 с.**

Монография О.Ю. Малиновой «Конструирование смыслов: Исследование символической политики в современной России» в известной степени призвана снять противопоставление «символических» и «материальных» эффектов политики. Автор аргументированно доказывает, что «символическая политика как деятельность, связанная с производством определенных способов интерпретации социальной реальности и борьбой за их доминирование, не ограничивается социально-инженерным “изобретением” смыслов»: «конкуренция разных способов интерпретации социальной реальности» осуществляется в сфере публичной политики, влияя на всех ее участников (с. 13, 15).

Название книги исключительно удачно объединяет ее, казалось бы, разнородные компоненты. В самом деле, в монографии О.Ю. Малиновой речь идет как о методологических дискуссиях по таким категориям, как «идеи», «идеологии», «политическая культура», «идентичность», так и о борьбе за смыслы в публичной сфере и дискурсивных практиках современной России. Методологические поиски, о которых говорит О.Ю. Малинова, в которых она принимает самое активное участие, анализируются в привязке к процессам реальной политической борьбы за ресурсы, одним из которых является макрополитическая идентичность. Большая

часть параграфов в том или ином виде были опубликованы автором как результаты исследовательских и научно-практических проектов, однако в рамки данной книги они введены, исходя из строгой авторской логики и исследовательского интереса.

Логичность и структурированность, равно как и основательность и фундированность, отмечают все работы О.Ю. Малиновой. Она дает представление о всей полноте спектра представленных позиций исследователей и их оценочных суждений, при этом последовательно придерживаясь заданной цели.

Выглядит привлекательным авторский призыв объединить усилия специалистов для «комплексного изучения циркулирующих в обществе идей во взаимосвязи с институциональными условиями, определяющими правила игры и стратегии акторов» и разработки идейно-ориентированного подхода (с. 35). О.Ю. Малинова остроумно характеризует «идеологию» как понятие, «отягощенное длинным шлейфом значений и сопутствующих смыслов» (с. 36). Не будет преувеличением сказать, что и другие рассматриваемые ей методологические категории «отягощены» подобным бременем. Это требует от исследователя не только основательного знакомства с научной дискуссией, но и умения определить свое в ней место. О.Ю. Малинова демонстрирует оба навыка. Знакома читателя с разворотами дебатов по поводу идеологии, ее кажущегося конца и очевидной реконцептуализации, автор задается вопросом, нет ли угрозы подмены понятий. Она выстраивает систему аргументации о возможности «рассматривать идеологии как системы идей и / или убеждений» в качестве частного случая идеологий, «проявляющихся в способах функционирования символических форм и интерпретативных кодов» (с. 54).

Определяя теоретические «развилки» категории политической культуры, О.Ю. Малинова разводит научный и политический дискурс, акцентируя внимание на том, что во втором случае политическая культура используется для конструирования коллективных идентичностей и обоснования политических программ (с. 75). Этот тезис убедительно подтверждается в монографии примерами из электоральной практики. Автор высказывает глубокую убежденность в том, что не критическое отношение ряда исследователей к традициям отечественной историософской мысли (то, что в рамках интеллектуальной истории называется трансвременной коммуникацией) и отсутствие эмпирической проверки конструктов может заводить в теоретические ловушки. Можно только поддержать призыв О.Ю. Малиновой «проводить ясную границу

между научным и политико-идеологическим дискурсом» (с. 83). Правда, в контексте анализа категории «идентичности» автор признает, что «эффективно контролировать границы между научными и обыденными дискурсами» невозможно (с. 93). В силу этого понятия «идентичности» оказалось перегружено «взаимоисключающими смыслами». Вместе с тем анализ «долгого путешествия» идентичности в обоих дискурсах приводит автора к выводу о перспективах переосмысления идентичности. Важно то, что данный тезис подкрепляется в монографии собственными исследовательскими наработками: анализом конструирования макрополитической идентичности как в ракурсе официальной символической политики, так и в дискурсе «западников» и «антизападников», «национал-патриотической оппозиции». Научной общественности хорошо известны эти наработки О.Ю. Малиновой, они уже вошли в научный дискурс, детально обсуждаются и обильно цитируются.

В монографии дается обстоятельная характеристика трансформации публичного пространства в постсоветской России, конфигурация которого, по мнению автора, оказывает влияние на «борьбу за смыслы» как внутри политической элиты, так и между властью и оппозицией. Характеризуя идеологические водоразделы и «вынужденный консенсус» элит, автор вовлекает в сферу анализа и ключевые моменты идеологических представлений российской политической элиты, и политико-конъюнктурные установки, связанные с дискурсом о модернизации и с электоральной борьбой.

Каждый тезис автора фундирован и обоснован массивом текстов, в который включены речи, статьи, выступления, официальные документы, обращения, полемика. О.Ю. Малинова учитывает опыт «отягощенности» категорий идентичности и идеологий разными смыслами и рисками концептуального натяжения, стремясь верифицировать используемые в монографии понятия максимально четко и предметно. Автор искренне убежден, что «знание о том, “как устроены” те или иные системы смыслов, позволяет не только лучше понимать наблюдаемые политические процессы, но и видеть будущие альтернативы» (с. 371).

Насколько можно понять из текста, автор в исследовании символической политики осознает необходимость обращения к анализу онлайн-пространства, считает, что развитие данного пространства создает новые вызовы для политиков и ставит новые задачи перед исследователями, однако в монографии это обозначено лишь пунктиром. Впрочем, этот «пунктир» определяет дополнительные исследовательские перспективы. Онлайн-простран-

ство, киберпространство, виртуальные социальные сети являются той сферой, где происходит формирование символической политики «снизу». В этом пространстве в большей мере представлены критические позиции в отношении официального политического курса, выражены резко оппозиционные настроения, размещены визуальные символы, долженствующие обозначить политические альтернативы. В таком ключе киберпространство может стать объектом анализа исследователей, как политологов, так и социологов, культурологов, философов. Правда, далеко не очевидно, что идеологический спектр или круг политических альтернатив в этом пространстве отличается кардинальным образом от того, что представлено в «реале». Безусловно, отличаются стиль общения, градус эмоциональности, критический накал. Таким образом, в контексте монографического исследования О.Ю. Малиновой анализ онлайн-пространства в борьбе за смыслы добавил бы красок в плане борьбы. Добавилось бы что-то в плане характеристики смыслов – вопрос дискуссионный. В интернет-полемике преобладают настроения и аргументы против, анти, contra. Складывается впечатление, что они носят преимущественно персонализированный характер, таким образом отражая в новом пространстве традиционные компоненты российской политической культуры.

Это созвучно тому, что рефреном звучит в монографии О.Ю. Малиновой: старые смыслы в новом контексте. Автор фиксирует одновременно «перепроизводство» и «недопроизводство» политически значимых идей: при «какофонии» разных дискурсов наблюдается «очевидный дефицит отчетливо сформулированных альтернатив, вокруг которых возможна консолидация мнений» (с. 372).

С этим выводом можно согласиться, добавив – «к сожалению». Кстати, О.Ю. Малинова не раз выражает сожаление по поводу тех выводов, к которым ее приводит исследовательская практика в отношении конструирования смыслов в современной российской политике. Сама же монография О.Ю. Малиновой «Конструирование смыслов: Исследование символической политики в современной России» вызывает совсем другие чувства и является несомненным и обнадеживающим заинтересованных символической политикой успехом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА И АННОТАЦИИ / KEY WORDS AND ABSTRACTS

А.В. Бабайцев

Подходы к определению понятия «политический символ»

В статье рассматриваются различные подходы и трактовки политического символа, которые существуют в литературе, и выделяются обстоятельства, затрудняющие выработку дефиниции. Утверждается, что в определение должно войти множество характеристик, основные из которых – связь с политикой и обществом, полисемантизм, эмоциональность.

Ключевые слова: политический символ; знак; семантика; идеальное.

A.V. Babaytsev

Approaches to the concept definition of «political symbol»

The article discusses existing approaches to interpretation of the term «political symbol» and reveals tensions that make it difficult to elaborate the universal definition. It argues that the main characteristics of political symbols that should be taken into account are association with policy and society, multiple meanings and capability to raise emotions.

Keywords: political symbol; sign; semantics; ideal.

Н.И. Шестов

«Символическая политика»:

Парадокс одного из определений научного предмета

Статья посвящена анализу теоретической и прикладной функциональности одного из наиболее распространенных определений символической политики как предмета политического исследования.

В данном определении «символическая политика» предстает антиподом «реальной политики», симуляцией интересов, функций и процессов, осуществляемой элитами для того, чтобы ввести граждан в заблуждение относительно своих властных намерений. Такой подход лишает четкости предмет научного исследования и создает условия для смешения рационалистических и эзотерических исследовательских дискурсов. В статье предложено определение «символической политики», позволяющее отделить ее как предмет политического исследования от симулятивных практик.

Ключевые слова: теория символической политики; символическая политика как предмет политического исследования; определение символической политики.

N.I. Shestov

Symbolic politics:

The paradox of one of the definitions of scientific subject

The article is devoted to the analysis of theoretical and practical functionality of one of the most widely spread definitions of symbolic politics as a subject of political science research. According to this approach symbolic politics is considered opposite to the «real» one, it is views as simulation of interests, functions, and processes. This simulation is carried out by elites in order to mislead people about elites' intentions. Such approach makes the subject of scientific research less precise and leads to mixing rationalistic and esoteric research discourses. The author proposes his own definition of symbolic politics that allows to take it as a subject of political science research apart from simulative practices.

Keywords: theory of symbolic politics; symbolic politics as a matter of political science research; definition of symbolic politics.

И.В. Фомин

**Категория образа как средство изучения политической
действительности (на примере образа Южной Осетии
в российском внешнеполитическом дискурсе)**

В статье обсуждаются понятие образа и возможности анализа образов в политических исследованиях. Представлена семиотически ориентированная методика анализа образов как элементов дискурса. На основе некоторых положений структурной семиоти-

ки повествований и критического дискурс-анализа предложена схема разбора образов, подразумевающая изучение их семантического, синтаксического, прагматического аспектов. Процедуры анализа, входящие в предлагаемую схему разбора, предполагают выделение для каждого анализируемого образа характеризующих его семантических единиц, актантных ролей и прагматических стратегий. Возможности аналитической схемы проиллюстрированы на примере анализа образа Южной Осетии в российском внешнеполитическом дискурсе.

Ключевые слова: дискурс; дискурс-анализ; образ; образ государства; политический дискурс; политическая семиотика; репрезентация; российский политический дискурс; Южная Осетия.

I.V. Fomin

**The category of image as a means of studying
the political reality (the example of the image of South Ossetia
in the Russian foreign policy discourse)**

The article discusses the concept of image and the perspectives of discursive image analysis in political studies. A semiotically oriented framework for discursive analysis of images is presented. Semantic, syntactic and pragmatic aspects of discursive representations are suggested to be analysed on the basis of structural narrative semiotics and critical discourse analysis. In the presented analytical scheme discursive images are described as sets of semantic narrative units, actantial roles and pragmatic strategies. Possible applications of the scheme are illustrated by the analysis of the image of South Ossetia that is constructed in the discourse of Russian foreign policy.

Keywords: discourse; discourse analysis; image; images of states; political discourse; political semiotics; representation; Russian political discourse; South Ossetia.

В.Н. Ефремова

**Государственные праздники
как инструменты символической политики:
Возможности теоретического описания**

Статья посвящена анализу подходов к изучению феномена праздника, их использованию в исследовании государственных и национальных праздников в символической политике. Автор от-

талкивается от теории социального конструктивизма, которая исходит из осмысленного коллективного восприятия социального мира. Праздники, таким образом, рассматриваются как социальные практики, выступающие инструментом интеграции и одновременно каналом легитимации правящего режима. Отличие от других государственных символов заключается в их изменчивости, что позволяет говорить о государственных праздниках как «нестабильных символах». В статье также выделены основные функции государственных праздников, которые позволяют судить об их роли в символической политике.

Ключевые слова: праздник; государственный праздник; национальный праздник; функции; нарратив; символы; традиция; социальный конструктивизм.

V.N. Efremova

**Public holidays as instruments of symbolic politics:
Opportunities the oretical description**

The article analyzes some theoretical approaches to the phenomenon of holiday and reveals their potential for study of public and national holidays in the context of symbolic politics. The author rests upon the social constructivism that emphasizes a meaningful collective perception of the social world. From this perspective, holidays are treated as social practices, the tools of integration, and the channel of regime legitimation. Public holidays may be changed or reinvented over time. That is why in contrast to other state symbols (as flag, national anthem) public holidays are considered as «unstable signifies». The article also highlights the main functions of public holidays, which provide an indication of their role in symbolic politics.

Keywords: holiday; national holiday; public holiday; function; narrative; symbols; tradition; social constructivism.

К.Ф. Завершинский

**Символическая политика как социальное конструирование
темпоральных структур социальной памяти**

В статье рассматриваются методологические возможности концепции «социальная память» для социологических и политологических исследований семантических структур символической политики. Автор анализирует методологические возможности

изучения дискурса политического доминирования в связи с динамикой режима времени политической памяти и ее символических репрезентаций.

Ключевые слова: символическая политика; социальная память; темпоральные структуры; политическая память.

K.F. Zavershinskiy
Symbolic politics as social construction
of social memory temporal structures

The article discusses the methodological potential of the concept «social memory» for the sociological and political studies. It analyzes the methodological perspectives of study of the discourse of political dominance in correlation with dynamics of the temporal regime the symbolic representation of political memory.

Keywords: symbolic politics; social memory; temporal structure; political memory.

Т.П. Вязовик
Версия прошлого как государственный миф
(К вопросу написания единого учебника
отечественной истории)

В статье рассматриваются проблемы, связанные с выработкой единой версии учебника отечественной истории. Данный заказ власти интерпретируется как стремление использовать нарратив прошлого в целях конструирования новой макрополитической идентичности и легитимации власти и формирующегося режима.

Ключевые слова: учебник российской истории; миф о государстве; макрополитическая идентичность.

T.P. Vyazovik
Version of the past as state mif
(The question of writing a book one patriotic stories)

The article deals with the problems connected with writing of a unified version of the national history textbook. This idea of the Russian authorities to elaborate such «common» version of the national past is

considered as an attempt to use the past for construction of a new macropolitical identity and legitimation of the emerging political regime.

Keywords: Russian history textbook; the myth of the state; macropolitical identity.

В.М. Капицын
Прошлое, настоящее, будущее
в символической политике моногорода

Автор анализирует знаки и символы моногорода, ценностные коды и их место в семиотическом механизме, сочетающем знаки жизненных сфер, символы прошлого, настоящего и будущего для консолидации жителей, роль и особенности символической политики моногорода. Рассматриваются роль и особенности символической политики моногорода, значение символов прошлого, настоящего и будущего для консолидации жителей.

Ключевые слова: моногород; символическая политика; знаки жизненных сфер; политическая жизнь.

V.M. Kapitsyn
Past, present and future
in the symbolic politics of single-industry towns

The author analyses the signs and symbols single-industry towns, values, codes and their place in semiotic mechanism combining marks the life spheres, symbols of the past, present and future for the consolidation of the inhabitants, the role and features of character of the policy of single-industry towns. It discusses the role and features of the character of the policy of single-industry towns, the meaning of the symbols of the past, present and future for the consolidation of the residents.

Keywords: a single-industry town; the symbolic policy; signs of life spheres; the political life.

Д.Е. Москвин
«Долгая лениниана»: Эволюция образа Ленина
в отечественной визуальной культуре

Особое место в символическом пространстве современной России занимает «долгая лениниана» – культурно-политический феномен, заключающийся в постоянном воспроизведении обра-

зов Ленина преимущественно визуальными средствами. Будучи советским наследием, этот феномен адаптируется под новые контексты и запросы общества.

Ключевые слова: лениниана; образ Ленина; визуальные исследования; визуальные репрезентации.

D.E. Moskvina

**«Long-term Leniniana»: Evolution of the image of Lenin
in Russian visual culture**

The article analyses «long-term Leniniana» as a specific political and cultural phenomena in symbolic area of modern Russia which took its beginning soon after the death of Vladimir Lenin at 1924 and developed in the process of the permanent (re)construction of Lenin's images for ideological and political purposes. It is focused on interpretation of visual practices and representations.

Keywords: Leniniana; visual studies; visual image; Vladimir Lenin.

О.Ч. Реут, Т.П. Тетеревлева

**Репрезентации перестройки в протестном дискурсе
российского сегмента Интернета**

Гласность и перестройка открыли эпоху стремительных перемен в идеологической сфере. Они имели множество важных последствий, и прежде всего – оказались фактором радикальной трансформации общества, положившей конец существовавшему политическому режиму. В современной России особую актуальность эта проблематика обретает в условиях, когда национальная история, ее «знаковые события» превращаются в один из элементов новой медийной культуры, а интернет-ресурсы, в частности, становятся для поколения тех, кто родился в 1985–1990-х годах, главным источником знаний о «совке», гласности и перестройке, принимая на себя решающую роль в формировании массового исторического сознания. Среди механизмов представления и отображения прошлого на первый план выходят такие, как акцент на нарушениях норм, стремление развенчать миф, конфликтизация и развлекательность.

Ключевые слова: изучение репрезентации; перестройка; гласность; коллективная идентичность.

O.Ch. Reut, T.P. Teterevleva
Representations of perestroika in the protest discourse
of the Russian segment of the Internet

The policy of *glasnost* and *perestroika* opened up an era of rapid change in the ideological sphere. It had many significant consequences, having become a factor of the radical transformation of the society, which put an end to the existing political regime. These issues have become particularly topical in Russia today, while national history and its «symbolic events» being transformed into the elements of the new media culture. In particular, for the generation born in 1985–1990 s, Internet resources have become the main source of knowledge about the «sovietness», *glasnost* and *perestroika*, taking on a crucial role in the formation of the mass historical consciousness. The mechanisms for representation and reflection of the past include an emphasis on violations of norms, desire to debunk «myths», accents on «conflictization» and entertaining.

Keywords: representation studies; perestroika; glasnost; collective identity.

Дж. Александер
Новое символическое наполнение:
Барак Обама и последняя избирательная кампания

В докладе проанализирован процесс изменения стиля исполнения политической роли президента США Барака Обамы после неудачных для демократов промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2010 г. Взаимодействие лидера и его потенциальных избирателей рассматривается как символическая коммуникация, в ходе которой аудитории граждан реагируют на сложный и многоуровневый политический спектакль, исполняемый лидером и его командой. Автор демонстрирует, каким образом Обаме к моменту президентских выборов 2012 г. удалось наполнить свою роль новым символическим содержанием, скорректировать «историю», которую он рассказывает американскому народу, и переломить общественные настроения в свою пользу.

Ключевые слова: культурно-прагматический подход; культурсоциология; исполнение политических ролей; политическое лидерство; политическая коммуникация; Барак Обама.

J. Alexander

Symbolic re-inflation: Barack Obama and the last campaign

The plenary lecture analyzes the process of changing President Barak Obama's political performance after the Democrats' failure in the mid-term Congressional elections of November 2010. Communication between a leader and his potential electorate is considered a complex and multilayered performance. The author demonstrates how before the presidential election of 2012 Obama and his production team could change the narrative arc of Barack Obama story, re-inflate him as powerful symbol and win election.

Keywords: cultural-pragmatic perspective; cultural sociology; political performance; political leadership; political communication; Barack Obama.

А.И. Щербинин

**Игры с родиной: К вопросу о технологиях
конструирования политической реальности**

Автор обращает внимание на значение политической игры как средства конструирования политической реальности. В качестве одной из базовых тем политических игр анализируется тема Родины. В работе показывается процесс становления социалистической нации на примере изменения как тематики игр, так и смысловой нагруженности проблемами прошлого, настоящего и будущего.

Ключевые слова: политическая игра; конструирование; Родина.

A.I. Scherbinin

**Games with motherland: The question of technology
construction political reality**

The author regards the political game as a means construction of political reality. The subject of Motherland is analyzed as one of the main subjects of political games. Socialist nation formation process is demonstrated through the changes both in games' subjects and problems – those of past, present and future – been speculated on.

Keywords: political game; construction; Motherland.

Н.М. Мухарямов
«Планетарная вульгата»
как политико-лингвистический феномен

Цель статьи состоит в анализе феномена «планетарной вульгаты», ее лексико-семантических воздействий на современный российский общественно-политический язык в контексте глобализации.

Ключевые слова: язык; политика; глобализация; лексика.

N.M. Mukharyamov
«Planetary vulgate» as a politico-linguistic phenomenon

The aim of this article is to analyze the phenomenon of «planetary vulgate», its lexical and semantical affects towards contemporary socio-political language of Russia in the contexts of globalization.

Keywords: language; politics; globalization; lexis.

М.В. Гаврилова
Семантическое развитие понятия «демократия»
в русском политическом дискурсе

Статья описывает семантическое развитие понятия «демократия» в русском политическом дискурсе. Демократия как символически насыщенный термин активно участвует в идеологической борьбе. Политические акторы предлагают различные интерпретации понятия. Постоянными атрибутами демократии можно считать правовое государство, мир, выборы.

Ключевые слова: русский политический дискурс; идеология; демократия.

M.V. Gavrilova
Semantic development of the concept of «democracy»
in Russian political discourse

This article describes the development of the concept of «democracy» in Russian political discourse. Democracy as a symbolically rich term is actively involved in the ideological struggle. Political actors offer different interpretations of this concept. Permanent attributes of democracy are the conceptions of state of law (jural state), peace, elections.

Keywords: Russian political discourse; ideology; democracy.

О.В. Попова
**Система ценностей сотрудников региональной
исполнительной власти в современной России**

Статья посвящена актуальной проблеме – оценке системы ценностей современной российской субфедеральной управленческой элиты. Эмпирической основой статьи послужило Всероссийское социологическое исследование Российской ассоциации политической науки «Рекрутирование политических лидеров муниципального и регионального уровней в современной России: Проблемы оптимизации и повышения общественно-политической эффективности», выполненное в 2012 г. В ходе исследования использовались методы неформализованного глубинного интервью и фокус-группы. Автор обосновывает причины отсутствия значительных идеологических расколов в сознании представителей элиты и неизбежность межпоколенных различий смысло-жизненных ценностей представителей субфедеральной политической элиты. Общий вывод статьи заключается в признании ограниченности способности данной социальной группы к инновационной деятельности и модернизации России.

Ключевые слова: Россия; политическая региональная элита; ценности.

O.V. Popova
**The System of values employees
of the regional executive power in modern Russia**

The article is devoted to the results of empirical study of value orientations of subfederal modern Russian political elite conducted by scholars from the Russian Political Science Association based on non-formal interviews and focus groups. The author explains the lack of significant ideological divisions in the minds of the elite and the inevitable differences between the generations in basic values of the subfederal political elite. It argues for a limited ability of a given social group to innovate and modernize Russia.

Keywords: Russia; the political regional elite; values.

Л.С. Ланда, И.А. Яблоков
**Транзит символов в конспирологическом дискурсе
постсоветской России: Миф о Хазарском каганате
и межэтнические отношения на Северном Кавказе**

В статье проанализирован трансфер антиеврейской концепции заговора хазар из идеологии радикальных русских националистов в националистический дискурс народов Северного Кавказа. Конспирологическое восприятие истории Хазарского каганата, согласно исследованным источникам, является важной концепцией, способствующей социальной мобилизации и помогающей сформулировать собственную национальную идентичность как следствие краха СССР и последующих вооруженных конфликтов.

Ключевые слова: теория заговора; национализм; национальное строительство; Северный Кавказ; Хазарский каганат.

L.S. Landa, I.A. Yablokov
**Transit of symbols in conspiratorial discourse
in post-Soviet Russia: The Myth of the Khazar Khaganate
and interethnic relations in the North Caucasus**

The article analyzes the development of the anti-Jewish conspiracy theory about the Khazar Khaganate, the ancient state which is widely considered among Russian radical nationalists as a threat to Russian nation. In the 1990 s the aforementioned idea was transferred from the ideology of Russian nationalists to the nationalist discourse of the Northern Caucasian nations. As a result, the conspiracy myth about the Khazars boosts social mobilization and strongly influences the construction of national identity among the Caucasian nations.

Keywords: conspiracy theory; nationalism; nation building; Northern Caucasus; the Khazar Khaganate.

Т.Л. Барандова
**История и гендер в символических репрезентациях
акторов протеста**

В статье рассмотрены апелляции к контр истории и плюральности гендерных режимов в контексте российской политики через репрезентации несистемных акторов протеста 2011–2012 гг.

Анализируются взаимопересечение идеологически разнородных «дискурсов памяти» с репертуаром гендерных практик протеста.

Ключевые слова: символическая политика; история; гендер; репрезентации; протест.

T.L. Barandova
**History and Gender in the symbolic representations
of actors protest**

The paper considers appellations toward contr-history and plurality of gender regimes in the context of Russian politics through representations of non-systemic protesting actors during years 2011–2012. Author analyses the intersectionality of ideologically different «discourses of memory» with repertoire of gender protests.

Keywords: symbolic policy; history; gender; representations; protest.

Я.М. Щукин
Полстеры и средний класс

В статье рассматривается, как три полстерские организации – Левада-Центр, ВЦИОМ и ФОМ – используют понятие «средний класс» в своей работе, влияя тем самым на восприятие этого понятия российским обществом. Особое внимание уделяется интерпретации связи между средним классом и протестом 2011–2013 гг.

Ключевые слова: средний класс; теория российского общества; солидарность; протест 2011–2013.

Y.M. Shchukin
Polsters and middle class

This article looks at the way three Russian pollsters – Levada-Center, WCIOM and FOM – use the concept of «middle class» in their work and how they influence public debate on this topic. Also, the relationship between the middle-class and the protest of 2011–2013 is analyzed.

Keywords: middle class; theory of the Russian society; solidarity; protest 2011–2013.

О.Ю. Малинова, В.Н. Ефремова
Политические эксперты и «средний класс»:
Анализ публичных дискуссий

Анализируются публикации в печатных и электронных СМИ, отражающие экспертные дискуссии о «среднем классе» и политических последствиях его появления в постсоветской России. Показано влияние публичной репрезентации результатов исследований организаций, занимающихся политической экспертизой, на эволюцию социально разделяемых представлений о «среднем классе» в 2008–2012 гг.

Ключевые слова: анализ дискурса; политические эксперты; экспертно-аналитические организации; средний класс; социальное конструирование.

O.Yu. Malinova, V.N. Efremova
Political experts and «middle class»:
The analysis of public discussions

Authors analyze representations of expert discussions about «middle class» and political consequences of its rise in post-Soviet Russia in print and electronic media and demonstrate how they affected the evolution of shared ideas about this social group.

Keywords: discourse analysis; political experts; think tanks; middle class; social constructing.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Авдонин Владимир Сергеевич – доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН, e-mail: avdoninvla@mail.ru

Александр Джеффри К. (Alexander Jeffrey C.) – профессор социологии Йельского университета, содиректор Центра социологии культуры, e-mail: jeffrey.alexander@yale.edu

Бабайцев Андрей Владимирович – кандидат философских наук, доцент кафедры истории и культурологии Донского государственного технического университета (ДГТУ), социолог Управления по воспитательной работе и молодежной политике ДГТУ, e-mail: we20041@yandex.ru

Барандова Татьяна Леонидовна – магистр педагогики, магистр политических наук, старший преподаватель Отделения прикладной политологии НИУ-ВШЭ – Санкт-Петербург, e-mail: tbarandova@yandex.ru

Вязовик Татьяна Павловна – кандидат филологических наук, доцент кафедры книгоиздания и книжной торговли Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна, e-mail: samolva@list.ru

Гаврилова Марина Владимировна – доктор филологических наук, доцент НИУ-ВШЭ в Санкт-Петербурге, e-mail: mvlgavrilova@gmail.com

Ефремова Валентина Николаевна – аспирант, младший научный сотрудник ИНИОН РАН, e-mail: efremova-valentina@mail.ru

Завершинский Константин Федорович – доктор политических наук, профессор кафедры теории и философии политики факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета, e-mail: Zavershinskiy200@mail.ru

Капицын Владимир Михайлович – доктор политических наук, профессор, профессор кафедры сравнительной политологии факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, e-mail: kapizin@yandex.ru

Ланда Леонид Сергеевич – кавказовед, руководитель междисциплинарного лекционно-экскурсионного проекта «Красный верблюды», e-mail: landa-l@mail.ru

Малинова Ольга Юрьевна – доктор философских наук, главный научный сотрудник ИНИОН РАН, профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО (У) МИД России, профессор кафедры сравнительной политологии НИУ-ВШЭ, e-mail: omalinova@mail.ru

Мартынов Михаил Юрьевич – доктор политических наук, профессор кафедры политико-правовых дисциплин Сургутского государственного университета, e-mail: martinov.mu@gmail.com

Москвин Дмитрий Евгеньевич – кандидат политических наук, научный сотрудник Института философии и права УрО РАН (Екатеринбург), e-mail: dmitry_moskvin@mail.ru

Мухарямов Наиль Мидхатович – доктор политических наук, профессор, директор Института массовых коммуникаций и социальных наук Казанского федерального университета, e-mail: n.mukharyamov@yandex.ru

Попова Ольга Валентиновна – доктор политических наук, кандидат социологических наук, профессор, заведующая кафедрой политических институтов и прикладных политических исследований факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета, e-mail: pov_64@mail.ru

Реут Олег Чеславович – кандидат технических наук, доцент кафедры истории стран Северной Европы Петрозаводского государственного университета, e-mail: olegreut@psu.karelia.ru

Тетеревлева Татьяна Павловна – кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории Института социально-гуманитарных и политических наук Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова, e-mail: tat.tet2010@gmail.com

Фадеева Любовь Александровна – доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой политических наук историко-политологического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета, e-mail: lafadeeva2007@yandex.ru

Фомин Иван Владленович – младший научный сотрудник ИНИОН РАН, e-mail: fomin.i@gmail.com

Шестов Николай Игоревич – доктор политических наук, профессор кафедры политических наук юридического факультета Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, e-mail: nikshestov@mail.ru

Щербинин Алексей Игнатъевич – доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой политологии философского факультета Томского госуниверситета, e-mail: shai52@mail.ru

Щукин Яков Михайлович – Ph.D. по социологии, независимый исследователь, e-mail: shch0001@umn.edu

Яблоков Илья Александрович – кандидат исторических наук, докторант Университета Манчестера (Великобритания), e-mail: ilya.yablokov@postgrad.manchester.ac.uk

СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Вып. 2

**Споры о прошлом
как проектирование будущего**

Сборник научных трудов

Оформление обложки И.А. Михеев
Дизайн Л.А. Можаяева
Компьютерная верстка Н.В. Афанасьева
Корректор Н.И. Кузьменко

Адрес редколлегии: 117997, г. Москва, Нахимовский проспект 51/21.
ИНИОН РАН. Отдел политической науки. E-mail: politnauka@inion.ru

Гигиеническое заключение
№ 77.99.6.953.П.5008.8.99 от 23.08.1999 г.
Подписано к печати 24/VI – 2014 г. Формат 60x84/16
Бум. офсетная № 1. Печать офсетная Свободная цена
Усл. печ. л. 23,25 Уч.-изд. л. 20,5
Тираж 300 экз. Заказ № 35

**Институт научной информации по общественным наукам РАН,
Нахимовский проспект, д. 51/21, Москва, В-418, ГСП-7, 117997
Отдел маркетинга и распространения информационных изданий
Тел. / Факс: (499) 120-4514
E-mail: inion@bk.ru**

**E-mail: ani-2000@list.ru
(по вопросам распространения изданий)**

Отпечатано в ИНИОН РАН
Нахимовский проспект, д. 51/21
Москва, В-418, ГСП-7, 117997
042(02)9

